

Е. А. БАРАТЫНСКИЙ



Е.А. БАРАТЫНСКИЙ

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА МАКСИМОМ ГОРЬКИМ В 1931 ГОДУ

БОЛЬШАЯ СЕРИЯ

✲

ИЗДАНИЕ
ТРЕТЬЕ

С О В Е Т С К И Й   П И С А Т Е Л Ь

Е. А. БАРАТЫНСКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · 1989

ББК 84.Р1
Б 24

Вступительная статья *И. М. ТОЙБИНА*

Составление, подготовка текста
и примечания
В. М. СЕРГЕЕВА

Редактор В. С. Киселев

Б $\frac{4702010102-016}{083(02)-89}$ 426—89

ISBN 5-265-00973-6

Е. А. БАРАТЫНСКИЙ

Литературная судьба Баратынского исполнена глубокого драматизма. Его путь к читателю и прочному успеху оказался долог и тернист. Еще при жизни Баратынского произведения его становятся предметом острых споров, не прекращающихся по существу и теперь. Годы широкой известности и всеобщего признания сменяются периодами почти полного забвения. Каждая эпоха по-своему воспринимает его наследие,— выдвигаются прямо противоположные мнения.

С одной стороны, несомненно большой оригинальный поэт, а с другой — «поэт ли?»; романтик — и как будто реалист; провозвестник символизма — и предтеча натурализма; певец покорности, отчаяния — и глашатай духовного мужества; выразитель «мировой скорби» — и предшественник экзистенциализма — таким представляется «мерцающий» облик Баратынского, поэта «противочувствий» и вечного разлада.[1]

Литературная деятельность Баратынского продолжалась четверть века. За это время он проделал значительную идейную и художественную эволюцию.

В 1820-е годы известность и признание Баратынскому принесли его замечательные элегии — за ним прочно утвердилась слава первоклассного элегического поэта. И все-таки своих подлинных творческих вершин Баратынский достигает в 30-е годы. Именно в этот период он вырастает в самобытнейшего художника, одного из создателей философской лирики, полной трагизма, скорби и глубоких раздумий. В ней автор «Сумерек» обнажил «правду без покрова» — обратился к важнейшим проблемам бытия, с поистине пророческой силой заговорил о глобальных опасностях, подстерегающих человечество в условиях надвигающегося «железного», промышленного века.

---

[1] «Поэтом противочувствий, художником разлада» назвал Баратынского Ю. Н. Верховский во вступ. статье к сб.: Поэты пушкинской поры. М., 1919. С. 48.

Баратынского долго и упорно объявляли певцом пессимизма. Однако время, весь наш исторический опыт побуждают внести существенные коррективы в это традиционное однобокое представление о поэте.

Еще в 1944 году один из наиболее тонких и чутких исследователей русской классики Б. М. Эйхенбаум сказал о Баратынском: «...даже в самых интимных и личных его стихах звучит голос поколения, голос истории, а вовсе не отъединенной от мира личности. Он — человек мужественных, сильных, страстных чувств и глубоких дум о жизни».[1] Для верного понимания Баратынского слова эти и сейчас имеют ключевое значение.

1

Евгений Абрамович Баратынский родился в небогатой дворянской семье 7 марта 1800 года [2] в усадьбе Мара Кирсановского уезда Тамбовской губернии. Там же прошли его детские годы.

Отец поэта, Абрам Андреевич, сделал блестящую карьеру при Павле I, дослужился до генерал-лейтенанта, но затем впал в немилость и вышел в отставку. Он скончался, когда Евгению было десять лет. Большое влияние на формирование и воспитание будущего поэта имела мать, Аграфена Федоровна, урожденная Черепанова, женщина незаурядная, прекрасно образованная, наделенная возвышенным умом и душевным благородством.

Баратынский получил обычное для того времени в дворянских семьях домашнее образование, ориентированное преимущественно на усвоение французской культуры. Французским языком он владел наравне с родным. Одним из его учителей был итальянец Жьячинто Боргезе, пробудивший у него интерес к книге, а главное развивший в нем фантазию рассказами о далекой Италии. Добрую память о своем «дядьке-итальянце» Баратынский пронес через всю жизнь — ему он посвятил последнее свое стихотворение.

---

[1] Эйхенбаум Б. О поэзии. Л., 1969. С. 320.

[2] Дата установлена по записи в метрической книге Покровской церкви села Вяжля (см.: Шпильчин В. Когда родился Баратынский // «Тамбовская правда». 1976, 27 февраля). Наиболее значительные биографические работы о Баратынском: Медведева И. Ранний Баратынский; Купреянова Е. Баратынский тридцатых годов // Баратынский Е. А. Полн. собр. стихотворений. Л., 1936. Т. 1. С. XXXV—LXXVII, LXXVIII—CXVI (Б-ка поэта, БС); Хетсо Гейр. Евгений Баратынский: Жизнь и творчество. Осло; Берген; Тромсё, 1973.

В 1812 году, не без настойчивых усилий Аграфены Федоровны, сын ее был зачислен в Петербургский пажеский корпус — привилегированное военно-учебное заведение. Система воспитания в нем страдала, однако, серьезными изъянами, несла на себе печать формализма, казенщины, и это не могло пройти безболезненно для впечатлительного подростка.

В душе Баратынского, вопреки окружающей будничной обстановке, таились яркие мечты о морских путешествиях, его влечет романтика бурь и опасностей. Авантюрно-приключенческая, «разбойничья» литература, шиллеровский Карл Моор еще более разгорячили юное воображение. Вместе с несколькими друзьями он составил «Общество мстителей». Реально деятельность этих «нарушителей спокойствия» выражалась в разного рода шалостях и проделках, досаждавших корпусному начальству. Но кончились они весьма печально: один из «мстителей» похитил у своего отца золотую табакерку и крупную сумму денег. Соучастником в этом серьезном проступке был Баратынский. По личному распоряжению Александра I Баратынского не только исключили из Пажеского корпуса (в апреле 1816 года), но ему было запрещено поступление на какую-либо службу кроме как рядовым в армию. Для неоперившегося, оступившегося подростка с его тонкой впечатлительной душой событие это стало настоящей катастрофой, потрясением, последствия которого он ощущал всю свою жизнь.

Исключенный из корпуса, Баратынский был отдан на попечение дяди, с которым отправился в его имение Подвойское, Смоленской губернии. Здесь родственники и близкие окружили его вниманием и трогательной заботой. Баратынский много читает, интересуясь особенно моралистической литературой. Совершает поездку в Мару.

Между тем время шло. Надежда на скорое прощение царем не оправдалась. Оставался лишь один путь, чтобы утвердить себя в жизни и добиться общественной реабилитации,— путь медленный и трудный, но единственно реальный: служба рядовым солдатом в армии.

В 1818 году Баратынский возвращается в Петербург и в следующем 1819 году определяется рядовым в лейб-гвардии Егерский полк с правом жить на частной квартире. К этому времени у него уже явственно пробудился интерес к поэзии, к творчеству. Он заводит литературные связи, знакомится с видными столичными литераторами (В. А. Жуковский, Ф. Н. Глинка, Н. И. Гнедич, А. И. Одоевский), с кругом бывших лицеистов (Пушкин, Кюхельбекер). Особенно тесная дружба связала его с А. А. Дельвигом — они вместе поселяются на квартире в Пятой роте Семеновского полка.

В литературной судьбе Баратынского именно Дельвиг стал поистине его «добрым гением», заботливым покровителем и советчиком.

В 1819 году, без ведома Баратынского, он опубликовал первые его стихотворения в журналах «Благонамеренный» и «Сын отечества». Дельвиг помог Баратынскому окончательно утвердить свое поэтическое призвание, а вместе с тем — обрести в поэзии нравственную опору. Вскоре, в январе 1820 года, Баратынский был переведен унтер-офицером в пехотный Нейшлотский полк, расквартированный в Финляндии. Событие это ознаменовало начало одного из наиболее важных периодов в его биографии, длившегося более четырех лет (до октября 1825 года). Здесь его обступил по-своему экзотический и столь не похожий на родные тамбовские или смоленские края, вообще на среднюю полосу России, суровый романтический Север с его своеобразной красотой: дикие скалы, каменные валуны, хмурые волны холодного моря, водопад Иматра... Все это не могло не произвести сильнейшего впечатления на молодого поэта. Баратынский становится певцом Финляндии, романтического Севера (он пишет в 1820—1825 годах элегии «Финляндия», «Водопад», «Буря», поэму «Эда»).

Дольше всего местом службы Баратынского была крепость Кюмень, где располагался штаб полка, а в 1824 году в течение нескольких месяцев он жил в Гельсингфорсе.

Его армейская служба фактически была не столь уж обременительной, поэт пользовался относительной свободой — жил он на квартире полкового командира Г. А. Лутковского, человека просвещенного, чуждого педантизма, где к нему относились весьма участливо. С ротным командиром поэтом Н. М. Коншиным Баратынского связала тесная дружба, а позднее он близко сошелся с адъютантом генерал-губернатора Финляндии А. А. Закревского — Н. В. Путятой, с которым потом породнится. Неоднократно Баратынский выезжал в Петербург — в отпуск или вместе с полком, несшим там одно время караульную службу.

Уже вскоре после приезда в Финляндию поэт был заочно избран членом-корреспондентом Вольного общества любителей российской словесности, а через год, 28 марта 1821 года, переведен в действительные члены.

Но по мере роста известности Баратынского как поэта он все сильнее и острее ощущал себя изгнанником, жертвой режима, чрезмерно суровой, несправедливо деспотической судьбы. Таким воспринимался он и современниками — по аналогии с судьбой Пушкина, находившегося в это время в ссылке на юге России и неоднократно вспоминавшего в посланиях и письмах об участи своего поэтического собрата — «Овидия живого».

Только весной 1825 года пришло наконец долгожданное известие об утверждении Баратынского в офицерском звании (царский приказ

от 21 апреля), что открывало возможность выйти в отставку и переменить местожительство.

Перед Баратынским возникают разные планы — надлежало сделать свой выбор. Его творческие интересы, литературные связи, дружеское общение влекли в Петербург — центр тогдашней литературно-общественной жизни. Однако все повернулось иначе.

Приехав домой, в Москву, и застав мать обремененную большой семьей, нуждающуюся в поддержке и помощи, он принимает решение: уйти в отставку и поселиться в Москве, чтобы по мере сил помогать матери, братьям и сестрам. Никаких радужных надежд он не строил, напротив, по своему обыкновению, готов был встретить неясное, тревожное будущее сдержанно и мужественно. «Судьба, которую я предвижу,— писал он Н. В. Путяте в ноябре 1825 года,— будет подобна русским однообразным равнинам, как теперь покрытым снегом и представляющим одну вечно унылую картину.»[1]

Вскоре в личной жизни поэта произошло значительное событие: он женится на дочери отставного генерала Анастасии Львовне Энгельгардт (свадьба состоялась 9 июня 1826 года). Брак этот, вопреки многим предсказаниям, оказался удачным. В лице Анастасии Львовны Баратынский нашел истинно преданного друга, женщину высоких душевных, нравственных качеств, внушившую ему любовь и уважение.

Важным рубежом в литературной биографии Баратынского явился выход в свет первого, давно задуманного сборника стихотворений (хотя опубликован он был в 1827 году, но подготовлен гораздо раньше) — сборника, который подвел итоги первоначальному этапу творческого самоопределения поэта.

Все эти события совпали с драматическими потрясениями в общественной жизни России — с восстанием декабристов и последующей расправой царизма с его участниками, что создало совершенно новую атмосферу в стране.

2

Баратынский вступал в литературу в то время, когда ведущие позиции в ней все активнее завоевывал романтизм с его углубленным интересом к человеческой личности и ее внутреннему миру. В русском романтизме сложно переплетались различные течения и их модификации. Значительную роль в нем играли традиции просветительской мысли.

---

[1] Баратынский Е. Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма. М., 1951. С. 260. В дальнейшем это издание обозначается сокращенно: Изд. 1951 (с указанием страницы).

Всем характером своего поэтического мышления Баратынский сохраняет глубинные связи с рационалистической культурой прошлого. Баратынский всегда высоко интеллектуален, он знает силу и могущество мысли, он — художник могучего аналитического склада, бесстрашно исследующий глубины бытия, области «сияния и тьмы». Интеллектуальность Баратынского — это не банальная рассудочность, а проявление высочайшей духовности; она не только не убивала живой поэзии, но, напротив, стала источником ее обновления.

Баратынский — романтик, поэт нового времени, впитавший его горести и скорби, художник, при всей своей внешней сдержанности вкладывавший в искусство большую личную страсть, «судороги сердца». Мысль Баратынского, полная тревоги и беспокойства, тесно связана с глубоким внутренним чувством. Пушкин, проницательно уловивший главную особенность его поэзии, писал: «Он у нас оригинален, ибо мыслит». И тут же добавлял: «...между тем как чувствует сильно и глубоко».[1]

Это удивительное, выросшее на русской почве сплетение рационализма с возвышенной эмоциональностью и взволнованностью, присущими романтическому движению, породило и совершенно новое качество лиризма поэта.

Впоследствии, характеризуя поэзию нового времени, Белинский видел своеобразие ее в том, что ее лиризм «проникнут мыслительностью», что она отличается своей анализирующей, рефлектирующей сущностью. «Лирический поэт нашего времени,— писал он,— более грустит и жалуется, нежели восхищается и радуется, более спрашивает и исследует, нежели безотчетно восклицает... Мысль — вот предмет его вдохновения».[2] В русской литературе этот процесс кристаллизации нового качества лиризма наглядно отразился в творчестве Баратынского — одного из виднейших созидателей поэзии мысли.

Эпоха бурных потрясений и сдвигов первой четверти XIX века вторглась в самые сокровенные уголки человеческой жизни, разрушая одновременно метафизическую разъединенность эмоциональной и интеллектуальной сфер внутреннего мира человека. Перед искусством в целом, в том числе и перед поэзией, встала задача раскрыть всю сложность духовной жизни человека новой эпохи, не только чувствующего, но и остро мыслящего, создать образ интеллектуального героя.

---

[1] Баратынский // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: М.; Л., 1949. Т. 11. С. 185. В дальнейшем это издание (Т. 1—17. М.; Л., 1937—1959) обозначается сокращенно: Пушкин (с указанием тома и страницы).

[2] Белинский В. Г. О русской повести и повестях г. Гоголя // Полн. собр. соч. М., 1953. Т. 1. С. 268. В дальнейшем это издание (Т. 1—13. М., 1953—1959) обозначается сокращенно: Белинский (с указанием тома и страницы).

Задача эта, подсказанная временем, явственно осознавалась и Пушкиным, утверждавшим, что умы не могут «довольствоваться одними играми гармонии и воображения».[1] Пушкин, однако, на первых порах склонен был связать эту задачу главным образом с развитием прозы. Заявляя еще в 1822 году, что проза «требует мыслей и мыслей», Пушкин тут же оговаривал: «...стихи дело другое», при этом он, однако, добавлял: «...впрочем, в них не мешало бы нашим поэтам иметь сумму идей гораздо позначительнее, чем у них обыкнов⟨енно⟩ водится».[2]

Создав образ мыслящего, интеллектуального героя средствами лирики, Баратынский тем самым сделал очень важный шаг в развитии русской поэзии, он расширил ее границы, углубил ее возможности.

Раннее творчество Баратынского опиралось преимущественно на художественный опыт Карамзина, Жуковского и Батюшкова, на достижения «легкой поэзии» французских и русских авторов. Баратынский разрабатывает распространенные в то время жанры — дружеское и дидактическое послания, различные виды элегий, эпиграммы. Значительное внимание уделяется им альбомной, мадригальной поэзии, в которой он достигает значительного совершенства.

Обратившись к традиционным для карамзинизма формам, Баратынский с самого начала внутренне перестраивает их. Линия интимной, камерной лирики осложняется в его творчестве веяниями просветительской философской поэзии (например, «Истина»); жанры переплетаются, смешиваются, становятся текучими.

В раннем творчестве Баратынского наибольшее значение имели элегии. Именно элегия оказалась той емкой формой, которая в ее обновленном виде стала ведущим жанром романтической лирики, обращенной к миру чувств и переживаний «внутреннего человека». Развитие русской элегической поэзии начала века было тесно связано с именами Жуковского и Батюшкова, опыт которых не мог не учитывать Баратынский — поэт, которому суждено было вдохнуть в элегию новую жизнь, сделать ее необычайно гибкой, искренней, глубокой. Не случайно, определяя историческое место раннего Баратынского, Пушкин ставил его рядом с Жуковским и выше Батюшкова.

Влияние Батюшкова, а также Парни и других французских элегиков явно сказывается в ранней любовной лирике поэта; отзвуки батюшковских тем дают себя знать в элегиях медитативного типа (особенно в «Финляндии»), а также в дружеских посланиях, нередко окрашенных в элегические тона. Однако Баратынскому остались в сущности чужды изящный эпикуреизм «легкой поэзии» Батюшкова,

---

[1] О причинах, замедливших ход нашей словесности // Пушкин. Т. 11. С. 34.

[2] О прозе // Пушкин. Т. 11. С. 19.

ее культ вакхического упоения жизнью, бурного «языческого» сладострастия. В переплетении радостного приятия жизни с мотивами тоски, разочарования заключалась особая прелесть музы Баратынского — «певца Пиров и грусти томной» (по известному определению Пушкина в «Евгении Онегине»).

Стержневой темой, которая проходит через раннее творчество Баратынского, определяя особый ее драматизм, является столкновение героя, полного мечтательных идеалов и неясных стремлений, с суровой действительностью, с холодным опытом, вызывающим глубокое разочарование, тяжелые нравственные потрясения. Тема эта, подсказанная историей и приобретшая особую остроту в условиях развертывавшегося движения декабристов, сама по себе не была новой. Мимо нее не могли пройти ни Жуковский, ни Батюшков. Но именно сравнение ее интерпретации в творчестве названных поэтов и Баратынского особенно наглядно обнаруживает глубокое своеобразие последнего.

Элегический герой Жуковского уходит от жестокой действительности в мир меланхолических мечтаний, он бежит от ее ударов в «страну очарованья». В творчестве раннего Батюшкова лирический герой также стремится укрыться от реальных жизненных бурь в своей «хижине», в мире светлых видений. Иное решение проблемы идеала и действительности намечается у Баратынского. Герой его поэзии не может тешить себя иллюзиями, довольствоваться заоблачными грезами. «Всё можно возвратить — мечтанья невозвратны!» («К Креницыну»). Карточный домик наивного оптимизма, связанный с уходом от трагических сторон действительности в «счастливую Аркадию», в мир «золотых снов», бесповоротно рушился. Герой Баратынского взглянул на мир настороженно, без «сладостного» мечтательства, весь во власти холодной, анализирующей мысли: «Живых восторгов легкий рой Я заменю холодной думой» («Подражание Лафару»).

Сила Баратынского, его смелость как художника заключались в том, что уходу от действительности он предпочел верность нагой истине. Жизнь оказалась бесконечно сложнее, чем это представлялось прежде. Философия эпикуреизма обнаружила свою несостоятельность. Пора легких забав, шалостей безвозвратно ушла. Их сменили душевная горечь, холодная ирония. На этой основе и складывался новый характер лиризма. «Слепые ощущения» уже недостойны высокого искусства. Подлинное чувство — это не «чувственность», оно непременно должно быть осознанным, осмысленным. Мысль — вот что естественно выдвигается Баратынским на первый план.

В отличие от традиционной элегической поэзии с привычными для нее мотивами увядания, пресыщенности, неспособности к наслаждениям, в лирике Баратынского выдвигается принципиально иное понимание самого разочарования, вскрывается его жизненная подоснова.

Герой Баратынского сам стремится к радостям жизни, но действительность лишает его их:

И я, певец утех, пою утрату их,
И вкруг меня скалы суровы,
И воды чуждые шумят у ног моих,
И на ногах моих оковы.

(«Где ты, беспечный друг? Где ты, о Дельвиг мой?..»)

Уже один этот образ человека с оковами на ногах, томящегося среди «чуждых вод», вносит в характеристику героя Баратынского штрих столь необычный, что выводит его далеко за пределы привычной элегической традиции. Пусть таких образов немного, но они необычайно весомы и создают тот контекст, вне которого значение и содержание ранней лирики Баратынского было бы неизмеримо обеднено.

За столкновением героя с «враждебной судьбой», «самовластным роком», за образами «оков», «чуждых вод», «суровых скал» стоял реальный личный опыт автора — поэта с судьбой опального человека, изгнанника, и именно это, пережитое, выстраданное им, придавало его стихам особую внутреннюю убедительность, ту моральную силу, которая отделяла их резкой гранью от традиционной элегической лирики.

Покой, душевная апатия, умиротворенность навсегда покинули лирического героя Баратынского. Даже там, где, казалось бы, и говорится о душевном успокоении и примиренности, нельзя не почувствовать затаенной трагической иронии. Корни этой трагической интонации и внутренней противоречивости поэзии раннего Баратынского — в самой тогдашней действительности, в особенностях общественно-литературной позиции поэта.

Баратынский, росший в атмосфере зарождавшегося декабризма, вольнолюбивых надежд и политических споров, характеризовавших духовную жизнь молодого поколения, на всю жизнь возненавидел деспотизм, рабство, тиранию, произвол. Он был активным участником Вольного общества любителей российской словесности, дружески общался со многими декабристами. Рылееву и Бестужеву, издателям «Полярной звезды», в которой деятельно сотрудничал Баратынский, он доверил издание сборника своих стихотворений.

Свободолюбивые и оппозиционные настроения то сильнее, то глуше, но непрестанно звучат в его произведениях. Подобно поэтам-декабристам, он восхищался республиканскими доблестями героев Древнего Рима. Уже в вольном переводе отрывков из поэмы французского поэта Эрнеста Легуве «Воспоминания» юный Баратынский признает, что он «в восторге трепетал при имени Катона». Насколько близки

и дороги ему тоска по былой героике и мысли о «свободном, гордом Риме», выраженные в «Воспоминаниях», свидетельствует и его стихотворение «Рим», где звучат аналогичные мотивы: «Ты был ли, о свободный Рим?.. Где сильные твои, о родина мужей?». Этот «свободный Рим», словно «призрак-обвинитель», служит молчаливым укором современникам.

Наибольшей остроты оппозиционность Баратынского достигла в эпиграмме «Отчизны враг, слуга царя...», направленной против Аракчеева. А незадолго до событий на Сенатской площади, в 1824 году, Баратынский написал «Бурю» — стихотворение, насыщенное мятежным духом, жаждой бурь.

Баратынский стремится утвердить в своем раннем творчестве человеческое достоинство, честь, независимость свободной личности, ее влечение к дружбе, любви — ко всему тому, что противостояло развращающему влиянию светского общества и официального режима. Эти мотивы, связанные с традициями «легкой поэзии», в обстановке раннего декабризма приобретали несомненный оппозиционный и вольнолюбивый смысл. Это особенно видно на примере юношеской поэмы «Пиры» (1820), сконцентрировавшей в себе мотивы многих лирических стихотворений поэта.

Однако при всем своем вольнолюбии и отрицательном отношении к деспотическому режиму Баратынский, с его скептицизмом, остался в стороне от политической деятельности декабристов. Поэтому непосредственно политическая, гражданская тема занимает в его творчестве довольно скромное место.

По мере развития декабристского движения и усложнения общественно-политической обстановки в стране все сильнее проступала двойственность позиции Баратынского, его внутренние колебания.

Неприятие им действительности все больше переплетается с неверием в революционные пути и средства ее преобразования, с отсутствием определенных положительных идеалов. В связи с этим постепенно меняется интерпретация темы пиров и братства друзей. Герой Баратынского все сильнее ощущает свое внутреннее расхождение с друзьями — завсегдатаями пиров: поэт признает, что он «безрадостно с друзьями пел», восторги их ему «чужды были». Дело не ограничивается неприятием «чувственной», вакхической стороны пиров: «От всей души люблю я вас, Но ваши чужды мне забавы» («Товарищам»); он расходится с участниками пиров и в идейном плане, он не разделяет их программы, их политических бесед. Говоря о расхождении с кругом друзей, Баратынский замечает:

И с каждым днем я верой к ним бедней.
Что в пустоте несвязных их речей?

(«Элегия»)

Противоречивость позиции Баратынского достигает особой остроты в 1823—1824 годы, когда в связи с вступлением декабристского движения в высшую фазу и резким усилением идеологической борьбы в творчестве поэта назревает сознание исчерпанности прошлого, необходимости новых идеалов, жизненных целей. Вместе с тем отсутствие последних порождало то ощущение неразрешимой антиномии, которое составляет господствующее настроение лирики Баратынского этих лет («Истина», «Две доли», «Притворной нежности не требуй от меня...»). Оно сквозит в афористических формулах, составляющих смысловые центры его философских медитаций и элегических стихотворений.

Надежд своих лишен я прежней цели,
А новой цели нет.

(«Истина»)

Особенность позиции Баратынского заключалась в том, что отсутствие новых идеалов, «живой веры» не приводило его к примирению с действительностью. В стихотворениях Баратынского этих лет настойчиво подчеркивается, что в душе поэта нет полного разрыва с прошлым, что оно продолжает оставаться для него дорогим. Его «души разуверенье свершилось не вполне», в ней «слепое сожаленье живет о старине» («Истина»). Одной из основных тем его ранней лирики становится анализ собственной раздвоенности, противоречивости, колебаний — того, что объективно отражало состояние души человека, стоящего на историческом перепутье. Далекий от революционного энтузиазма декабристов, Баратынский на первый план выдвигает воспитание моральной силы и стойкости человека, мужества его духа перед лицом враждебных сил, способности пройти через нравственные испытания, сохранив чувство достоинства и чести: «Душа моя не ведает боязни, Души моей ничто не изменит!» («Дельвигу»).

Отсюда — настойчиво повторяющаяся в ранней лирике Баратынского мысль о том, что человеку необходимо испытать страдания,— они нужны в той мере, в какой столкновение с ними духовно закаляет его, укрепляет нравственно: «Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам. Не испытав его, нельзя понять и счастья». Подобный моральный анализ проблемы отношения личности к действительности, основанный не столько на идее активной борьбы против враждебных сил, сколько внутреннего сопротивления им, нравственной самозащиты, позднее, после 1825 года, в условиях жестокой реакции, приобретет новый смысл и значение.

Отмеченное выше своеобразие противоречивой позиции Баратынского все больше и больше преломлялось в его творчестве в форме раздора между мыслью и чувством, между началом субъективно-лирическим, безотчетно-чувственным — и объективным, сдерживаю-

щим и контролирующим «холодом ума». Баратынский неоднократно говорит о необходимости ограничения личного чувства и поверки его умом. «Иную пьесу любишь по воспоминанию чувства, с которым она написана. Переправкой гордишься потому, что победил умом сердечное чувство».[1] Истинный поэт, по мнению Баратынского, должен обладать не только «пламенем воображения творческого, но и холодом ума поверяющего».[2] В сущности, в системе поэзии Баратынского раздор между мыслью и чувством в конечном итоге оказывался эстетическим выражением его общественно-исторической позиции, противоречия между субъективным миром поэта и надличными законами объективной действительности.

3

В ранней поэзии Баратынского выделяются два основных раздела: лирика личная, психологическая, и лирика философская. Хотя они тесно связаны между собой — в интимную лирику нередко проникают философские раздумья, а в философских элегиях запечатлен опыт человека, испытавшего, наряду с общими жизненными потрясениями, тревоги сердца,— в каждом из них нашли выражение свои стороны дарования Баратынского, сумевшего, по словам Пушкина, слить «метафизику и поэзию».[3]

В начале 20-х годов известность Баратынского была связана в первую очередь с его любовными элегиями. Пораженный их своеобразием и совершенством, Пушкин 2 января 1822 года писал П. А. Вяземскому: «Но каков Баратынский? Признайся, что он превзойдет и Парни и Батюшкова... Оставим ему все эротическое поприще и кинемся каждый в свою сторону, а то спасенья нет».[4]

Любовная лирика Баратынского — явление совершенно необычное. Ее оригинальность, глубокая самобытность особенно очевидны на фоне достижений предшественников, в первую очередь Жуковского и Батюшкова, в поэзии которых лирика любви занимала исключительное место. Но лирика эта, при всей ее эмоциональности, оставалась более или менее отвлеченной, оторванной от конкретных человеческих характеров, лишенной аналитической мысли. Самый психологизм этой лирики оказывался ограниченным, ибо душевный мир героя был лишен внутренней противоречивости, подлинной сложности.

---

[1] Письмо к Н. В. Путяте от апреля? 1828 г. // Изд. 1951. С. 491.

[2] [Рецензия на сб. стихов А. Муравьева «Таврида». М., 1827] // Изд. 1951. С. 425.

[3] «Бал» Баратынского // Пушкин. Т. 11. С. 75.

[4] Пушкин. Т. 13. С. 34.

Баратынский же впервые в русской поэзии запечатлел в своей любовной лирике историю сложных человеческих отношений, раскрыв их через конкретные и разнообразные ситуации и коллизии. В его элегиях появляются, пусть пока еще намеченные пунктирно, подлинно драматические сюжеты. За каждой из его психологических миниатюр возникают подчас контуры целого романа. Обычно в элегиях Баратынского дается кульминация этих отношений, имевших свою длительную предысторию. Обстоятельства и причины, приведшие к ней, лишь намечаются.

Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей...

Здесь возникает вопрос о том, что предшествовало таким взаимоотношениям героев. Стихотворение вызывает у читателя раздумья, которые еще более усиливаются его концовкой:

В душе моей одно волненье,
А не любовь пробудишь ты.
(«Разуверение»)

В лирике Баратынского нет обычного для любовных элегий томления по недосягаемой любви с его неизбежным следствием — мечтательной меланхолией. Его лирика драматична, она повествует обычно о разлуке или о разрыве между героями. «Расстались мы» — уже это энергичное короткое заявление, открывающее одно из стихотворений 1820 года, намечает ситуацию, которая затрагивает обе стороны. Сложная история отношений героя и героини, завершающаяся разрывом, раскрывается и в элегии «Решительно печальных строк моих...» (первоначально опубликованной под заглавием «Оправдание»). Гордая, надменная, слишком обидчивая и холодная красавица, лишенная великодушия, не хочет ответить на письмо героя, в котором он объясняет ей свое поведение. Ну что ж, они расстанутся:

Прости ж навек! Но знай, что двух виновных,
Не одного, найдутся имена
В стихах моих, в преданиях любовных.

Заключительные строки эти особенно значительны: в пережитой драме виновны оба ее участника.

В противоположность традиционной элегической героине, Баратынский чаще всего рисует либо образ жестокой, бездушной красавицы, либо женщины, охваченной всепожирающим пламенем страсти, ставшей ее жертвой. Примечательно в этой связи стихотворение

«К...» («Как много ты в немного дней...»). В стихотворении «Делии» Баратынский несколькими строками обрисовал портрет светской красавицы, увлекающей своими чарами поклонников, «полуиссохших в страсти жадной», и обманывающей их, но и необычайно ярко представил ее собственную будущую судьбу — судьбу увядающей женщины, все еще жадно, хотя и безуспешно, пытающейся играть роль молодой кокетки.

Перед чувством любви, как показывает Баратынский, рассудок нередко оказывается бессильным. Любовь — «отрава сладкая», она сплетается с ненавистью, жестокостью, взаимными обидами, она вызывает одновременно радости и муки, к ней примешивается чувство горечи.

В отличие от лирических героев поэзии Жуковского и Батюшкова, для которых смысл жизни — в любви, герой Баратынского уже не может быть счастлив только одной любовью. В элегических стихотворениях поэта ощутима внутренняя полемика с Жуковским и ранним Батюшковым, прославлявшими в качестве высшей ценности жизни любовное чувство. «Она — в сем слове милом Вселенная твоя»,— писал Жуковский (послание «К Батюшкову»). У Батюшкова образ возлюбленной неотступно преследует героя, мысль последнего прикована к ней, в любви он находит моральную опору и спасенье.

Баратынскому это чуждо. Тщетны усилия воскрешать в памяти образ возлюбленной, утешаться им: «Напрасно я себе на память приводил И милый образ твой и прежние мечтанья: Безжизненны мои воспоминанья...» («Притворной нежности не требуй от меня...»). Веры в несокрушимую власть любви над человеческим сердцем у него нет: «Уж я не верую в любовь» («Разуверение»). Этот необычный поворот темы получил особенно яркое выражение в прославленных элегиях «Разуверение» и «Притворной нежности не требуй от меня...» (первоначально печатавшейся под заглавием «Признание»).

В последней, вызвавшей восторженную оценку Пушкина, перед нами — поразительная своей беспощадностью, суровой трезвостью исповедь лирического героя, обнажившего перед бывшей возлюбленной свою душу, тайное тайных в ней — неотвратимый процесс угасания любви, охлаждения чувств, причина которого — не увлечение другой женщиной («Я не пленен красавицей другой»), а общая атмосфера расхолаживающих будничных обстоятельств.

Опыт любовной лирики Баратынского оказался важным не только для последующего развития поэзии, но и русского психологического романа.

Подлинное своеобразие поэта, наметившееся уже в ранний период его творчества, выражалось в том, что личные темы у него пронизаны

стремлением к максимально обобщенному и в этом смысле философскому осмыслению жизни. Даже в любовных элегиях интимная тема нередко сплетается с более общими вопросами бытия. Так, элегия «Притворной нежности не требуй от меня...» завершается мыслью, которая объединяет психологическую драму героя с проблемой зависимости личности от власти «судьбы», соответственно с чем и сама драма получает более глубокий смысл:

Не властны мы в самих себе
И, в молодые наши леты,
Даем поспешные обеты,
Смешные, может быть, всевидящей судьбе.

Но то, что в любовных элегиях звучало приглушенно, как одна из особенностей поэта, развилось в полную меру в его философских медитациях.

Создавая их, Баратынский опирался на достижения всей предшествующей философской поэзии (Ломоносов, Державин, С. Бобров). В жанровом отношении его ранние опыты связаны в первую очередь с медитативной элегией начала века. Подготавливая сборник лирики, поэт включил все стихотворения медитативного типа в один раздел. Он открывался элегией «Финляндия» (1820), отразившей, как и ряд последующих произведений Баратынского («Водопад», «Буря», «Отъезд», поэма «Эда»), впечатления поэта от пребывания в «финляндском изгнании», с его суровой северной природой, бытом и нравами обитателей этой страны.

В стихотворении «Финляндия», открывающем раздел медитаций и восходящем к элегии Батюшкова «На развалинах замка в Швеции», появляется тема, которая станет ведущей в философской лирике Баратынского: человек и судьба, человек и время. Тема эта раскрыта Баратынским иначе, чем в медитативной лирике его предшественников. В названной элегии Батюшкова картины «угрюмой древности» призваны подтвердить мысль автора о сокрушительной силе времени и ничтожестве человека: «Все время в прах преобразило!» Стихотворение заканчивается дидактическим поучением: «Здесь тлеют праотцев останки драгоценны: Почти их гроб святой». Традиционная элегическая точка зрения о ничтожестве человека перед лицом всеразрушающего времени («Для всех один закон — закон уничтоженья») вызывает энергичное возражение Баратынского:

Но я, в безвестности, для жизни жизнь любя,
Я, беззаботливый душою,
Вострепещу ль перед судьбою?
Не вечный для времен, я вечен для себя...

В отличие от традиционной элегической поэзии тема смерти получает в лирике Баратынского иное освещение, иную интерпретацию. Ведь в мире светлых вымыслов и грез, в котором пребывал герой эпикурейской лирики Батюшкова, смерть воспринималась легко, без внушаемого ею ужаса и трагизма. Так, в стихотворении «Тень друга» поэту предстает образ его товарища, павшего в «роковом огне», чей «вид не страшен был». В поэзии Жуковского смерть воспринимается как переход в лучший мир. Отсюда: «Не ужас могилы узришь пред собою, Но глас восхищенный, поющий свободу...» («К Нине»). Баратынский же воспринимает и показывает смерть во всей ее жестокой наготе и беспощадности:

Ужасный вид! Как сильно поражен
Им мыслящий наследник разрушенья!
(«Череп»)

Она рассматривается им как неизбежное звено всеобщего потока жизни. В подобном толковании тема эта получит свое развитие в последующих произведениях поэта («Смерть», «Последняя смерть»).

Утверждая в качестве высшей ценности человеческую личность, Баратынский, как уже было сказано, приходит к идее зависимости ее от более могущественных законов, от власти судьбы («Не властны мы в самих себе»).

Тема столкновения героя с «судьбой», «роком» проходит через многие произведения поэта. Трагическая тема власти жестокого, злого рока над людьми в мире, где не остается места для обманчивой веры в благостное провидение, получила наиболее полное выражение в одном из самых значительных произведений ранней философской лирики Баратынского, обращенном к Дельвигу:

Напрасно мы, Дельвиг, мечтаем найти
В сей жизни блаженство прямое:
Небесные боги не делятся им
С земными детьми Прометея.

Баратынский проникновенно обнажил здесь трагедийность существования. На фоне тогдашней поэзии особенно значительно звучали полные невыразимой душевной горечи строки, поражающие особой серьезностью тона, упругостью ритмов, весомостью слов:

Нужды непреклонной слепые рабы,
Рабы самовластного рока!
Земным ощущеньям насильственно нас
Случайная жизнь покоряет.

Трагизм этих строк не означал примирения. Не случайно поэт называет здесь людей «земными детьми Прометея» — детьми титана, воплотившего мощь духа. Стихотворение проникнуто мужественным стоицизмом, который присущ Баратынскому с его призывом смотреть «бестрепетно в глаза судьбе», смело встречать ее удары: «Враждующей судьбы не страшен вам удар».

Уже в раннем творчестве Баратынского возникает проблема демонизма как своеобразное отражение сомнений, разочарований в процессе поисков истины. Проблема эта лежит в основе ряда философских стихотворений, таких как «Истина», «Две доли». Написанные в один год с пушкинским «Демоном», они развивали, хотя и в ином плане, во многом аналогичный комплекс мотивов — появление мучительных сомнений, разрушающих под влиянием отрезвляющего опыта непосредственную наивность восприятия мира, обостряющих его дисгармоничность. О «превратном гении», навещавшем поэта, «питавшем и раздувавшем» «несогласные восторги», напишет Баратынский, вспоминая эти годы, в стихотворении «В дни безграничных увлечений...» (1831). Образ «чадного демона» будет время от времени тревожить воображение поэта и далее.

4

Хотя собственно философских стихотворений в раннем творчестве Баратынского сравнительно немного, именно они выражают ведущую тенденцию его поэтического развития, связанную со все большим обогащением его лирики философскими раздумьями, именно в них проявляются наиболее характерные особенности художественного мышления поэта, определившие «необщее выраженье» его музы. Этот вид поэзии сам Баратынский вскоре начинает считать основным. Не случайно сборник стихотворений 1827 года открывался разделом лирических медитаций — элегий и философских стихотворений. Отсвет их падал и на другие произведения. Этот раздел представлял собой в сущности первую попытку создания единой лирической книги, то есть осуществления того художественного принципа, который найдет итоговое решение в «Сумерках».

Обращаясь в 1824 году к А. Бестужеву и Рылееву с просьбой взять на себя заботы по изданию сборника стихотворений, Баратынский писал им: «Я желал бы, чтобы мои пьесы по своему расположению представляли некоторую связь между собою, к чему они до известной степени способны».[1] Принцип связности, о котором писал Баратынский и который не мог еще быть осуществлен в полном виде в названном сборнике, не являлся чем-то случайным: он коренился в особенно-

---

[1] Изд. 1951. С. 469—470.

сти художественного мышления поэта, в общих тенденциях тогдашней поэзии.

Глубоко индивидуальная, неповторимая лирика Баратынского не скреплена единой личностью, биографически многогранным образом «автора». Ведь в ней по-своему преломилось движение поэта от душевности к духовности, к той сфере психологических коллизий, которые непосредственно не всегда связаны с бытовыми, чисто биографическими реалиями. Поэзия Баратынского — это не лирический дневник, по которому можно судить о биографии автора, ее конкретных событиях и фактах в их естественной хронологической последовательности и связи. Напротив, все реально-биографическое, бытовое в произведениях поэта, как правило, отсекается. Прослеживая эволюцию лирики Баратынского, можно заметить, как поэт настойчиво освобождал свои стихотворения от конкретно-биографических бытовых деталей, стремясь придать каждому факту максимально обобщенный смысл. Отдельные стихотворения в таком случае приобретают подлинное значение не изолированно, но в связи с другими, как этапы в процессе развития мысли, отражающие колебания, сомнения, взлеты и падения последней. В известной мере подобный характер определяет уже и раздел медитаций первого сборника 1827 года. Открываясь стихотворением «Финляндия» с его мужественным восклицанием «Вострепещу ль перед судьбой?», проводя далее читателя через тернии сомнений, колебаний, горечь отчаяния в стихотворениях «Истина», «Две доли», «Череп», цикл завершается символической «Бурей», насыщенной мятежным духом. Получается своеобразная сюита, в которой мотивы отчаяния неразрывно сплетаются с мотивами борьбы, которые в конечном итоге побеждают. Следовательно, что особенно примечательно, последние воспринимаются не как случайный вывод, а как результат напряженных поисков ищущей, пытливой и страдающей мысли поэта.

Своеобразие художественного мышления Баратынского, новое качество утверждаемого им лиризма обусловили и соответствующий характер стиля, стиховой речи, образного строя творчества поэта. Обнаженной эмоциональности, патетическому излиянию чувств Баратынский противопоставил максимальную сдержанность, сосредоточенность, силу внутреннего напряжения мысли и чувств. «И в сердце разуму отчет стараюсь дать»,— провозгласил он в послании Гнедичу 1823 года. Поэтому в противоположность «сладкопоющим» (по определению Баратынского) поэтам школы Жуковского (сюда следует отнести и Батюшкова с его «звуками италианскими» [1]), с их принципами «напевности», «пленительной сладости», песенного, мелодиче-

[1] Заметки на полях 2-й части «Опытов в стихах и прозе» К. Н. Батюшкова // Пушкин. Т. 12. С. 267.

ского звучания стиха, Баратынский в своем творчестве, полном внутреннего драматизма, ориентировался прежде всего на смысловую отягощенность слова.

В отличие от плавного течения, характерного для лирики Жуковского, стиховой мелодии, завершающейся обычно кадансом, у Баратынского стихотворение нередко завершается своеобразным интонационным взрывом, особой стиховой формулой (pointe) — афористической концовкой. Подобные формулы звучат либо как итог предшествующего, закономерный вывод, либо, напротив, как обрыв привычной интонационной линии. Стиховые формулы располагаются не только в конце стихотворения. Ранний Баратынский вообще тяготеет к афористическим речениям, выделяющимся на общем фоне стихотворной ткани и концентрирующим в себе энергию авторской мысли. Таковы его антитезы: «Я встретить радость мнил — нашел одну печаль»; «Я всё имел, лишился вдруг всего»; «Не вечный для времен, Я вечен для себя» и т. п. Как видим, чаще всего такие формулы строятся на основе приема контрастного сопоставления или противопоставления однотипных понятий или однородных слов. При этом, в отличие от принципа «сладкогласия» предшественников, Баратынский нередко прибегает к нарочито «жесткой» инструментовке стиха, подчеркивающей его смысловую весомость.

Лирика Баратынского резко отличается своим драматизмом: лирическая тема раскрывается в его стихотворениях через борьбу, столкновение идей, голосов, через внутренний диалог. Иногда форма спора, беседы или столкновения разных точек зрения присутствует в обнаженном, открытом виде. Например, в стихотворениях «Две доли», «Истина» сталкиваются на равных основаниях два голоса, два подхода, «тезис» и «антитезис»: надежда и безнадежность, волнение — покой. Но чаще столкновение носит характер внутреннего спора. В том и другом случае форма эта органична для Баратынского — в ней отражается самый процесс, движение авторской мысли, ее сомнения, колебания.

5

Катастрофа на Сенатской площади явилась для Баратынского огромным потрясением. «Часто думаю о друзьях испытанных, о прежних товарищах моей жизни — все они далеко! И когда увидимся?» — вырывается у него через месяц после декабрьских событий.[1] Перекликаясь с Пушкиным, Баратынский писал в 1827 году о друзьях — «братьях»:

---

[1] Письмо к Н. В. Путяте ок. 19 янв. 1826 // Изд. 1951. С. 487.

Я братьев знал; но сны младые
Соединили нас на миг:
Далече бедствуют иные,
И в мире нет уже других.

(«Судьбой наложенные цепи...»)

«Преданья молодости» продолжают, пусть подспудно, сопровождать музу Баратынского. Поэт тянется к тем, кто так или иначе был причастен к вольнолюбивому прошлому. Встречи с П. Я. Чаадаевым, М. Ф. Орловым, общение с П. А. Вяземским, Пушкиным, Дельвигом — таковы наиболее характерные связи Баратынского последекабрьских лет. Вместе с тем в поисках сил, оппозиционных, независимых по отношению к николаевскому режиму, Баратынский сближается одно время с деятелями нового поколения, с кругом так называемых любомудров, пропагандировавших шеллингианскую философию и группировавшихся вокруг журнала «Московский вестник». В обстановке общественного упадка, сложившейся после разгрома декабристов, московские шеллингианцы неизбежно оказались независимой культурной и идеологической силой.

Но отношения Баратынского с любомудрами отличались значительной сложностью. Полного единства между ними не было никогда, хотя в некоторых отношениях опыт их деятельности не прошел бесследно и для него. К философским, теоретическим доктринам любомудров Баратынский остался в сущности равнодушен. Сообщая Пушкину о том, что «московская молодежь помешана на трансцендентальной философии», Баратынский отметил: «Нравится в ней собственная ее поэзия, но начала ее, мне кажется, можно опровергнуть философически».[1]

Наметившееся уже тогда внутреннее расхождение Баратынского с любомудрами, все усиливаясь, привело в конце концов к полному разрыву между ними, особенно когда явственно обнаружился поворот «русского любомудрия» к славянофильству. Характерно, что даже в период наиболее интенсивного общения с И. В. Киреевским, проделавшим типичную для любомудров эволюцию, в то время издателем журнала «Европеец», пропагандистом просветительских идей, тонко чувствовавшим своеобразие поэзии Баратынского, последний все же осознавал, что оба они — люди разных поколений, разных исторических дорог. «Ты принадлежишь новому поколению,— писал он И. В. Киреевскому,— ... я — старому... Каждый из нас почерпнул сии мнения в своем веке. Но это — не только мнения, это — чувства».[2]

---

[1] Письмо от 5—20 янв. 1826 г. // Изд. 1951. С. 486.
[2] Письмо от 4 дек. 1833 г. // Там же. С. 523.

Ратуя еще задолго до знакомства с любомудрами за сближение поэзии с философской мыслью, за ее интеллектуальность и духовность, Баратынский само соотношение поэзии и философии, их связи между собой понимал иначе, чем они. Баратынский создал свою художественную систему, свою «поэзию мысли». Характерно, что когда в 1827 году вышел в свет сборник стихотворений Баратынского, то он был в целом отрицательно оценен на страницах «Московского вестника», органа шеллингианцев. С. П. Шевырев признал Баратынского «скорее поэтом выражения, нежели мысли и чувства».[1] Правда, впоследствии о произведениях позднего Баратынского он отзывался уже иначе. В «Осени», например, писал критик, «сходятся два поэта: прежний и новый, поэт формы и поэт мысли».[2] И все же Баратынский никогда не был для него чистым «поэтом мысли», в нем всегда продолжал сохраняться неприемлемый Шевыреву «поэт формы» — та реальная художественная система, которая роднила его с Пушкиным; ведь и Пушкина он считал «поэтом формы», а не мысли.

По словам Веневитинова, поэт «созидает свой собственный мир, независимый от того мира, где все ... казалось разноречием», душа его тогда «забывает все окружающее», обретает «истинную гармонию».[3] В отличие от творчества любомудров, отмечает Е. Н. Купреянова, «поздняя философская лирика» Баратынского была «прямым и страстным откликом на современность».[4] Баратынский, при всей его жажде гармонии, обращении к миру фантазии, вымыслов, осознает невозможность отрешения от реального мира. Какой бы буйной ни была фантазия поэта, она в конечном итоге неизбежно подчинена его законам. Об этом идет речь в стихотворении «Фея» (1829):

Знать, миру явному дотоле
Наш бедный ум порабощен,
Что переносит поневоле
И в мир мечты его закон!

Отдавая в художественном творчестве приоритет стихийному вдохновению, любомудры отвергали «гордый ум». Баратынский же глубоко рационалистичен — это трезвый исследователь жизни («Две области — сияния и тьмы — Исследовать равно стремимся мы»).

---

[1] Шевырев С. П. Обозрение русской словесности за 1827 год // «Московский вестник». 1828, № 1. С. 70—71.

[2] Шевырев С. П. Перечень «Наблюдателя» // «Московский наблюдатель». 1837, июнь, кн. 1. С. 321.

[3] Веневитинов Д. Утро, полдень, вечер и ночь // Избранное. М., 1956. С. 137—138.

[4] Купреянова Е. Н. Е. А. Баратынский // Баратынский Е. А. Полн. собр. стихотворений. Л., 1957. С. 33 (Б-ка поэта. БС).

Вряд ли присоединился бы Баратынский к мнению о том, что подлинное творчество нуждается в спокойствии духа, о котором писал Веневитинов в стихотворении «Поэт» (1826): «Всё чуждо, дико для него, На всё спокойно он взирает».

Может показаться, что, противопоставляя в своем творчестве поэта окружающему миру, Баратынский близок любомудрам. Но как это нередко бывает, внешнее сходство лишь подчеркивает их внутреннее различие. Его тонко подметила Л. Я. Гинзбург: «Для шеллингианцев противостояние поэта и общества — норма, для Баратынского — это духовная катастрофа».[1]

Спокойствию, умиротворенности Баратынский предпочитает страдания, волнения, горести. Он писал об этом не только в ранних стихотворениях, но и в годы общения с любомудрами: «Постигнул таинства страданья Душемутительный поэт!» («Подражателям», 1826). Жизнь в эти годы продолжает восприниматься им в ее реальных волнениях, конфликтах, борении страстей. «Где нет борьбы, там нет и заслуги»,— провозглашал он в предисловии к «Наложнице».[2] Поэтическая философия Баратынского допускала многое, но одно она исключала бесповоротно — покой: «Жизнь для волненья дана: жизнь и волненье — одно» («Мудрецу»). Эта поэтическая формула, провозглашенная в 1840 году, органически вытекала из всего творческого опыта Баратынского.

Эволюция Баратынского в известной мере шла параллельно пушкинской. И все-таки это были разные пути. Всеобъемлющий гений Пушкина и муза Баратынского по-разному отразили эпоху, общественные процессы, связанные с развитием и крушением декабризма. В отличие от Пушкина, Баратынский преимущественно тяготел к романтизму. Конкретный историзм, народность, широкое включение в сферу искусства картин реальной, социальной действительности, образов простых людей — все это лишь в незначительной степени, скорее косвенно, отразилось в творчестве поэта (преимущественно — в поэме), не затрагивая основ художественного метода Баратынского.

Отмеченные общественно-исторические условия определили особую трудность поэтического самоопределения Баратынского, продолжавшего упорно идти своим собственным непроторенным путем. Именно в эти годы Баратынский особенно резко ополчается против подражательства, отстаивает необходимость сохранения художником творческой индивидуальности: «Не подражай: своеобразен гений И собственным величием велик» — так начинается одно из стихотворений конца 20-х годов. Поэт — сторонник повышенной требовательности к себе — ему надлежит бояться не «едких осуждений,

---

[1] Гинзбург Л. О лирике: 2-е изд. Л., 1974. С. 81.
[2] Изд. 1951. С. 426.

но упоительных похвал» («К...»). Руководствуясь высочайшими критериями применительно к собственному творчеству, он признает: «Не ослеплен я музою моею». Его поэзия лишена внешнего блеска, но она выделяется внутренней оригинальностью — «лица необщим выраженьем» («Муза»). Крикливым, модным новациям, разного рода чисто внешним ухищрениям Баратынский противопоставляет искренний, «негромкий» голос души и сердца, запечатленную в стихах исповедь умудренной жизненным опытом личности.

6

Поиски поэтом новых тем, нового содержания сопровождались также и поисками новых форм, жанров, средств стилистической выразительности. Одной из них стал жанр лироэпической поэмы. Баратынский пришел к созданию особого типа романтической поэмы (сюжетно тяготеющей к стихотворной повести), в которой бытовой план переплетается с психологическим и социальным. В центре его эпоса стоят духовно-нравственные проблемы, связанные со стремлением показать особую сложность, раздвоенность, внутреннюю противоречивость современного человека и его душевной жизни, тесное переплетение в нем добра и зла.

Кроме стихотворных сказок «Телема и Макар» (перевод из Вольтера) и «Переселение душ», а также юношеских «Пиров», в тематическом и жанровом отношениях тяготеющих еще к дружеским посланиям, перу Баратынского принадлежат три законченные оригинальные поэмы: «Эда» (1824—1825), «Бал» (1825—1828), «Наложница» (1829—1830), позднее переименованная в «Цыганку». Каждая из них стала заметной вехой в творческих исканиях поэта.

Становление жанра лирической поэмы в европейской литературе было связано с романтическим движением, с деятельностью Байрона прежде всего, а на русской почве — с творчеством Пушкина. В этих условиях любые попытки в области эпоса неизбежно соотносились в сознании читателей и критики с пушкинскими поэмами, сравнивались, сопоставлялись с ними. Сам Баратынский, создавая «Эду», поставил перед собой задачу решить проблему произведения большой формы по-иному, чем она решалась у Пушкина. В предисловии к «Эде» Баратынский счел необходимым специально предупредить об этом читателя, особо оговаривая, что в противоположность направлению, избранному Пушкиным, он предпочел идти «новою собственною дорогою».

В пушкинском «Кавказском пленнике» герой доминирует. Иначе обстоит дело в поэме Баратынского.

В сюжетном и композиционном отношении герой и героиня в «Эде» уравнены. Внимание читателя сосредоточено на самой исто-

рии их взаимоотношений со всеми ее перипетиями.[1] Обычная в романтической поэме любовная коллизия в «Эде» получает новую интерпретацию. В основе поэмы история обольщения порочным героем, наделенным чертами хитрости, коварства, наивной «дочери природы». Бытовое, житейское происшествие используется в поэме как средство раскрытия философской темы. Гусар в поэме — шалун, повеса, но он же одновременно — обаятельный злодей, выступающий губителем невинной Эды. О нем говорится чуть ли не в интонациях будущего лермонтовского «Демона».

«Эда» Баратынского выделялась авторской установкой на изображение «очень простого», обыденного — в противоположность необыкновенному, исключительному. Объективно это, конечно, совпадало с общим движением литературы в сторону реализма, движением, которое наиболее полно выразил Пушкин с его «поэзией действительности» и «нагой простоты». Тем не менее, хотя точки соприкосновения здесь действительно были, основные тенденции в эпосе Баратынского имели иной характер и смысл: используемое Баратынским в «Эде» «совершенно простое» по своей функции, эстетическому эффекту, по результатам воздействия на читателя принципиально ничем не отличалось в сознании автора от того «очень необыкновенного», исключительного, которое характеризовало традиционную романтическую поэму. По словам самого Баратынского (в предисловии к «Эде»), в «поэзии две противоположные дороги приводят почти к той же цели: очень необыкновенное и совершенно простое, равно поражая ум и равно занимая воображение».[2] «Простое», следовательно, призвано поразить читателя в такой же степени, как и «необыкновенное», оно само оказывается отклонением от реальной действительности — нарочитым, необычным.

На фоне романтических поэм Пушкина «Эда» резко выделялась также и своей интонацией, особенностями авторского повествования. В предисловии к «Эде» Баратынский особо подчеркнул, что он «не принял лирического тона в своей повести, не осмеливаясь вступить в состязание с певцом „Кавказского пленника" и „Бахчисарайского фонтана"».[3] Баратынский стремится преодолеть субъективно-лирический характер повествования, присущий монологическому типу поэмы. Отказ от лирического тона в «Эде» подчеркнут объективным, внешне нейтральным авторским лицом, скрытым за фигурой рассказчика.

---

[1] См.: Манн Ю. В. Поэтика русского романтизма. М., 1976. С. 192.
[2] Изд. 1951. С. 419—420.
[3] Там же. С. 420.

Пушкин, выделявший в поэзии Баратынского творчески близкие ему тенденции, особенно восхищался стремлением автора объективировать в «Эде» своих героев. «Но какое разнообразие! — писал он в письме к А. Дельвигу 20 февраля 1826 года.— Гусар, Эда и сам поэт, всякий говорит по-своему».[1]

Романтизм обогатил литературу искусством воссоздания местного колорита. Пушкин в своих поэмах вводил изображение Кавказа и Юга России, картин природы, быта и нравов народов, населявших эти края. Пушкинскому Кавказу Баратынский, по существу тоже ссыльный поэт, противопоставляет в своей «Эде» финский быт и природу Севера. На эти биографические причины намекал, кстати, и эпиграф к поэме, относившийся не столько к ее сюжету, сколько к ее автору: «Где привязан — там и пасешься». Подразумевалось, что ссыльный Баратынский находился в Финляндии не по своей воле.

Конкретность, точность пушкинских описаний в «Кавказском пленнике» были столь велики, что, по словам самого поэта, они напоминали «географическую статью или отчет путешественника».[2] В поэме же Баратынского описания финской природы не выходят за рамки обычного «местного колорита» романтиков. Они в целом выдержаны в том оссиановском ключе, который был усвоен Баратынским в его ранней элегии «Финляндия».

Хотя многое в «Эде» оказалось еще недостаточно прояснено, тенденции, намеченные в ней, в целом были продуктивны, они вели — в дальнейшем своем развитии — к созданию весьма специфической разновидности романтического эпоса.[3]

Еще более решительно новаторство Баратынского проявилось в поэме «Бал», которая была начата также в Финляндии, вскоре после «Эды», а закончена в октябре 1828 года.

Новизна «Бала» бросалась в глаза: поэт демонстративно обратился к жизни современного великосветского общества. Здесь, в «большом свете» с его ничтожными и мелочными интересами, прозаичностью существования, развертывается драма героини Баратынского — княгини Нины, образ которой, нарисованный, по словам Пушкина, con amore (с любовью), являлся совершенно новым в тогдашней русской литературе. Это роковая, «эмансипированная» женщина, смело нарушающая принятые в свете нормы поведения, его внешние приличия и условности. Пафос анализа, проникновение в области, считавшиеся дотоле запретными для поэзии, расширение

---

[1] Пушкин. Т. 13. С. 262.

[2] Письмо Н. И. Гнедичу от 29 апр. 1822. Черновик // Пушкин. Т. 13. С. 371.

[3] Отзвуки «Эды» можно уловить в «Демоне» Лермонтова (в ред. 1838 г.): стихи «Лишь только ночь своим покровом» (и т. д.), сравнение зимнего пейзажа в горах с замерзшими водопадами.

круга привлекаемых жизненных явлений, тем — всем этим Баратынский в «Бале» объективно расчищал почву для развития романа, намечая пути, в чем-то — пусть косвенно — сходные с теми, что пролагал на Западе Бальзак (аналогия между Баратынским и Бальзаком возникла еще у современников поэта.[1])

Свойственная стихотворному эпосу Баратынского двуплановость, обнаружившаяся уже в «Эде», в гораздо большей степени дает себя знать в «Бале»: бытовой, реально-психологический план и здесь переключается в философский, предельно обобщенный, насыщенный символикой, высокой патетикой и эмоциональной напряженностью. Героиня, княгиня Нина, оказывается не столько обычной светской красавицей, переживающей житейскую драму ревности, сколько, по определению Белинского, «демоническим характером в женском образе», «страшной жрицей страстей».[2]

Страшись прелестницы опасной,
Не подходи: обведена
Волшебным очерком она;
Кругом ее заразы страстной
Исполнен воздух! Жалок тот,
Кто в сладкий чад его вступает...

То же самое может быть отнесено и к Арсению — он не столько любовник, то есть бытовая фигура, сколько «посланник рока».

В «Бале» нашла свое воплощение проблема, которая давно тревожила поэта,— проблема страстей, губительно однобокого развития человека, опасной разъединенности в нем «души» и «тела». Княгиня Нина — жертва роковой страсти. Не одухотворенное чувство любви, возвышающее душу, несущее радость и укрепляющее связи с людьми, владеет Ниной, но та страсть, которая опустошает душу, действует подобно разрушительной грозе, оказывается безжалостной и гибельной для нее самой и окружающих. Тема темной, неодухотворенной страсти соотносится в «Бале» с темой фатальности судьбы, неотвратимости ее власти.

«Бал» оказался на повороте творческих исканий Баратынского, совпавшем с общими глубинными изменениями, происходившими в тогдашней русской поэзии и смысл которых в наибольшей степени

---

[1] В книге Г. И. Кенига «Очерки русской литературы» («Literarische Bilder aus Russland». Stuttgart und Tübingen, 1837), написанной по материалам Н. Мельгунова, Баратынский назван русским Бальзаком в стихах. Сам Мельгунов не во всем соглашался с такой интерпретацией Баратынского.

[2] Белинский. Стихотворения Е. Баратынского // Т. 6. С. 483.

суждено было выразить Пушкину. Между Пушкиным и автором «Бала» было немало точек сопряжения (что было, кстати, демонстративно подчеркнуто самим фактом публикации «Бала» с «Графом Нулиным» под одной обложкой). Но близость не могла скрыть и принципиальных различий: по основам художественной методологии Баратынский остался в главном на романтических позициях.

Последнее звено стихотворного эпоса Баратынского — поэма «Цыганка». В определении жанровой природы произведения автор с самого начала испытывал колебания. С одной стороны, «Цыганка» чем-то напоминает «роман» — это поэма, «исполненная движения, как роман в прозе»,[1] с другой — это «поэма ультраромантическая».[2]

Совершенно очевидно, что для Баратынского исключительное значение имел опыт пушкинского «Онегина», точки соприкосновения с которым тотчас были отмечены критикой, обвинившей автора «Цыганки» даже в подражании. В герое поэмы Баратынского есть черты, напоминающие Онегина, но также свойственные грибоедовскому Чацкому.

С самого начала биография Елецкого строится на ассоциативном фоне пушкинского романа. Пустое светское времяпрепровождение героя поэмы сменяется (как и в «Евгении Онегине») разочарованием, чувством недовольства. Вместе с тем, сознательно отталкиваясь от онегинского типа, поэт одновременно наделяет его чертами, свойственными скорее грибоедовскому Чацкому.[3] Ведь Онегин — герой петербургского общества, порождение петербургского периода русской истории. Елецкий же, как и герой грибоедовской комедии,— москвич, и это имеет существенное значение. Картины Москвы, Кремля, колокольни Ивана Великого полны многозначительной символики.[4] Елецкий не только родился в Москве, но и «воскормлен» ею. У него, как и у Чацкого, резкий ум, его речи одушевлены негодованием против предрассудков света, он, как и грибоедовский герой, побывал за границей. В отличие от Онегина, бездеятельного, скучающего, подверженного хандре, Елецкий по-своему энергичен, активен. Баратынского весьма огорчило, что критика не заметила этого своеобразия его героя в отличие от онегинского типа. Он писал в статье

---

[1] Письмо к Н. В. Путяте от июня 1831 г. // Изд. 1951. С. 495.

[2] Письмо к И. В. Киреевскому от 29 ноября 1829 г. // Там же. С. 493.

[3] См. в этой связи: Пиксанов Н. К. «Горе от ума» и московские поэмы Баратынского // Проблемы теории и истории литературы: Сб. памяти А. И. Соколова. М., 1971.

[4] См.: Хетсо Гейр. Указ. соч. С. 402—403.

«Антикритика»: «Онегин — человек разочарованный, пресыщенный; Елецкий — страстный, романтический, Онегин отжил, Елецкий только начинает жить... Онегин неподвижен, Елецкий действует. Какое же между ними сходство?»[1]

Елецкий трагически одинок, он несет на себе бремя «странной доли». Разойдясь со светским обществом, он сошелся с цыганкой Сарой, близкой ему, как кажется, своею судьбой отверженного человека. Оказалось, однако, что «герою времени» обрести в любви необразованной цыганки душевную цельность, преодолеть внутренний разлад не суждено. Здесь, в этой коллизии, по-своему нашла продолжение проблема, поставленная Пушкиным еще в «Цыганах»; вместе с тем цыганская тема в поэме Баратынского в известной мере переключена в социальный план, обрела новые краски. На этот аспект освещения темы впоследствии обратил внимание Н. П. Огарев в предисловии к сборнику «Русская потаенная литература» (1861): «Баратынский затронул вопрос ... различия сословий».[2]

Вместе с тем Елецкий и Вера могут быть осмыслены и как носители демонического и ангельского начал — в соответствии с романтической традицией. Высокий философский план поэмы особенно проступает в сцене маскарада — здесь диалог героев во многих отношениях предвосхищает лермонтовского «Демона».[3]

Принцип романтической контрастности, разных светотеней, сцепление низкого и высокого, бытового и символического планов явственно ощущается в «Цыганке». Баратынский часто прибегает к использованию литературных реминисценций, призванных одновременно и разорвать привычные связи и представления и ассоциативно расширить их. В то же время в поэме сказалась недостаточность мотивировок. Особенно спорной, необязательной воспринималась ее развязка — случайная смерть героя, невольно отравленного Сарой. По словам Белинского, «отравительное зелье, данное старою цыганкою бедной Саре, ничем не объясняется и очень похоже на deus ex machina для трагической развязки во что бы то ни стало».[4]

В «Цыганке», как и в других поэмах Баратынского, сложно соотносятся между собой категории «простого» и «необыкновенного», которые, будучи относительными, переходят одна в другую.

---

[1] Изд. 1951. С. 444.

[2] Огарев Н. П. Избр. произв. М., 1956. Т. 2. С. 474.

[3] См.: Семенов Л. М. Ю. Лермонтов: Статьи и заметки. М., 1915. С. 233—235.

[4] Стихотворения Е. Баратынского // Белинский. Т. 6. С. 485.

После 14 декабря 1825 года, в условиях, когда, по словам Герцена, «людьми овладело глубокое отчаяние и всеобщее уныние»,[1] Баратынский продолжал утверждать высокую нравственную ответственность поэта, важную роль искусства в поддержании стойкости и бодрости духа человека, в противодействии разлагающей атмосфере реакции. «Совершим с твердостью наш жизненный подвиг,— призывал Баратынский.— Дарование есть поручение. Должно исполнить его несмотря ни на какие препятствия, а главное из них — унылость».[2]

Баратынский верит в огромную жизненную силу и могущество искусства, которое «утешает нас в печалях жизни. Выразить чувство — значит разрешить его, значит овладеть им. Вот почему самые мрачные поэты могут сохранить бодрость духа».[3] Мысль эта имеет прямое отношение к самому Баратынскому, объясняя, почему в самых трудных обстоятельствах, общественных и личных, он как поэт сохранял дух мужества. Искусство по своей природе — великий врачеватель: «Болящий дух врачует песнопенье...» (1832). Настоящий поэт в понимании Баратынского — не столько шеллингианский жрец-созерцатель, замкнувшийся в сфере «тихих снов», сколько пророк и наставник, учитель. «Прости, наставник и пророк!» — восклицает он в стихотворении «К...» («Не бойся едких осуждений...»). К фигуре поэта-пророка Баратынский вернется и позднее.

Огромное место в поэзии Баратынского этих лет занимает проблема высокого эстетического идеала, тема гармонии и красоты. Поэт неоднократно говорит о «законах вечной красоты», в душе его хранится идеал «соразмерностей прекрасных» («В дни безграничных увлечений...»), он ощущает «гармонии таинственную власть» («Болящий дух врачует песнопенье...»). Баратынский приходит к идее, согласно которой эстетическое и этическое неразделимы: он провозглашает единство «любви, добра и красоты». Эстетический идеал гармонии и красоты сливался с романтической мечтой о прекрасном мире, противостоящем холодному, прозаическому миру, реакционной действительности последекабрьских лет. Нередко Баратынский обращается к многократно воспетой в мировой литературе Италии («Княгине З. А. Волконской», «Небо Италии, небо Торквата...»). То душа его устремляется в «милую страну», овеянную воспоминаниями детства и юности: «Есть милая страна, есть угол на земле» («Запустение»). Здесь расцветают любовь, дружба и поэт надеется обрести вечную, «несрочную весну».

---

[1] Герцен А. И. О развитии революционных идей в России // Полн. собр. соч.: В 30-ти т. М., 1956. Т. 7. С. 214.

[2] Письмо к П. А. Плетневу от июля 1831 г. // Изд. 1951. С. 496.

[3] Там же. С. 496.

«Гамлетовские» раздумья, связанные с коренными проблемами бытия, наметившиеся еще в ранних медитациях Баратынского, теперь, на рубеже 20-х и 30-х годов, заметно углубляются, приобретая определенный философский и натурфилософский подтекст. Этим прежде всего характеризуются наиболее значительные философские стихотворения Баратынского переходных лет — своеобразный цикл о «трех смертях»: «Последняя смерть» (1827), «Смерть» (1828), «На смерть Гёте» (1832). Тема смерти рассматривается в нем в разных аспектах, с разных точек зрения: смерть как всеобщий закон природы и мироздания («Смерть»), ее место в судьбах человечества («Последняя смерть») и отдельного человека («На смерть Гёте»).

В истолковании Баратынского смерть отнюдь не просто зловещая, губительная сила, «дщерь тьмы», традиционно изображаемая с косой, а неизбежный и необходимый элемент бытия. Смерть предстает в качестве не только разрушительной, чисто отрицательной силы, но и силы ограничительной, смиряющей чрезмерное «буйство бытия» — одностороннее и бесконтрольное развитие стихийных начал жизни. Это она, смерть, «дочь верховного Эфира», укрощает ураган, ставит пределы растительному миру, человеческим страстям, выступая как олицетворение самой необходимости, как естественная регулирующая, защитная реакция природы, как носительница меры. Баратынский здесь своеобразно продолжил батюшковскую традицию («Без смерти жизнь не жизнь: и что она? Сосуд...»). Однако позиция Баратынского более сложна и трагична, чем позиция Батюшкова. Ведь стихотворение Баратынского «Смерть» завершается формулой, весьма далекой от однозначного вывода:

Недоуменье, принужденье —
Условье смутных наших дней,
Ты всех загадок разрешенье,
Ты разрешенье всех цепей.

Не только к природе подходил Баратынский с мерой гармонии, «соразмерностей прекрасных». Перед ним вставал также идеал гармонического человека. Наиболее отчетливо выразил он его в стихотворении «На смерть Гёте» (1832). Белинский писал, что в стихах Баратынского о Гёте «заключается высший идеал человеческой жизни и все, что можно сказать о жизни внутреннего человека».[1]

Итак, идеал не только творца, художника, но и человека: универсализм, всеохватность постижения тайн истории и природы, мира:

Погас! Но ничто не оставлено им
Под солнцем живых без привета;

[1] Стихотворения М. Лермонтова // Белинский. Т. 4. С. 488.

На всё отозвался он сердцем своим,
Что просит у сердца ответа;
Крылатою мыслью он мир облетел,
В одном беспредельном нашел он предел.

Баратынский видел, однако, что реальная действительность с ее неустроенностью разрушает гармоническую цельность человека, порождает «раздробленность», приводит к одностороннему развитию в нем одних качеств, страстей в ущерб другим. Баратынский скорбит о том, что «железный век», нарушая естественную гармонию, равновесие сил в человеке, порождает, в частности, и однобокое, а потому и гибельное развитие в нем интеллекта за счет чувства, гипертрофию «умственной» природы в ущерб телесной, чувственной. В этом Баратынский усматривал даже одну из возможных причин вырождения, грядущей гибели человечества. Тема эта, затронутая мельком еще в юношеском стихотворении «Н. И. Гнедичу» («Еще не породив прямого просвещенья, Избыток породил бездейственную лень»), была развернута с поразительной силой в стихотворении «Последняя смерть», перекликающемся в некоторых отношениях со стихотворениями Байрона «Сон» и «Мрак».

Стихотворение Баратынского — попытка заглянуть в будущее человечества, представить путь его развития: от яркого расцвета материальных и духовных сил и благ — к вырождению и гибели. Перед мысленным взором поэта предстает «последняя судьба всего живого».

Существовала устойчивая традиция литературных и философских утопий, рисовавших «золотой век» будущего расцвета и благоденствия человечества. Под влиянием астрономических и разного рода геологических теорий начали появляться и предсказания иного рода — гибели человечества в результате, например, космической катастрофы («Тьма» Байрона, «Потоп» А. де Виньи, «Два дня в жизни земного шара» В. Ф. Одоевского). Глубочайшее своеобразие пророческого «видéния» Баратынского в том, что в нем поэт рисует картину возможного грядущего одряхления и гибели человечества не как результат внешнего космического катаклизма, но как следствие внутренних причин — нарушения гармонии между умственным и телесным началами в человеке, крайне однобокого его развития.

Вначале перед взором поэта предстает «дивный век» торжества могучего разума, блистательной победы человека над стихиями: это он создал на морях искусственные острова («Уж он морей мятежные пучины На островах искусственных селил»), изобрел летательные аппараты, покоряющие воздушное пространство («Уж рассекал небесные равнины По прихоти им вымышленных крил»), научился управлять погодой, получать обильные урожаи и т. д. («Исчезнули бесплодные года, Оратаи по воле призывали Ветра, дожди, жары́ и

холода, И верною сторицей воздавали Посевы им...»). Поэт не в силах сдержать восторга перед такими достижениями: «Вот разума великолепный пир!» Но вслед за «дивным веком» наступает иная эпоха — обнаруживается катастрофический результат развития одной лишь «умственной природы» человека в ущерб телесной, горькое похмелье подобной однобокости: «Но по земле с трудом они ступали, И браки их бесплодны пребывали». Заканчивается стихотворение необыкновенно щемящей нотой, печальной картиной пустынной земли, лишенной людей; взошедшее солнце лишь острее подчеркивает ее осиротелость:

По-прежнему животворя природу,
На небосклон светило дня взошло,
Но на земле ничто его восходу
Произнести привета не могло.
Один туман над ней, синея, вился
И жертвою чистительной дымился.

Стихотворение Баратынского прозвучало как скорбное предупреждение человечеству о грозящей ему опасности. Предупреждение это, однако, не было понято современниками — для этого не пришло еще время. Должно было пройти немало десятилетий, чтобы тревога поэта стала по-настоящему актуальной и такой понятной...

Тема «раздробленности» человека, односторонности его развития, тревожившая не только одного Баратынского,[1] объективно отражала реальный исторический процесс, который вызывался наступлением буржуазных отношений, враждебных гармоническому развитию личности. В плену этой односторонности оказывался порой и сам поэт при всей его тяге к гармонии. Баратынский не делает различия между законами, направляющими развитие природы и человечества; история общества оказалась поэтому схематизированной, в ней не осталось места для социального развития. Слепая сила природы — смерть — открывает каждый раз начало новому циклу, новому кругообороту. Подобный круговорот природы и исторической

---

[1] Многие мысли фантазии «Последняя смерть» удивительно перекликаются, например, с раздумьями В. Ф. Одоевского, который в набросках к утопии «Петербургские письма» («4338-й год») писал: «Человечество достигает того сознания, что природный организм человека неспособен к тем отправлениям, которых требует умственное развитие...— человечество в своем общем составе занемогает предсмертною болезнью» (Одоевский В. Ф. Романтические повести. Л., 1929. С. 387).

жизни, лишенный реального прогресса, поступательного движения, невольно вызывает у Баратынского скорбную мысль о тягостном однообразии бытия, о некоей дурной бесконечности. «О, бессмысленная вечность!» — восклицает поэт в «Недоноске» (1835). Через некоторое время он вновь необычайно выразительно формулирует эту мысль:

> На что вы, дни! Юдольный мир явленья
> Свои не изменит!
> Все ведомы, и только повторенья
> Грядущее сулит.

Односторонность исторической философии Баратынского была вскрыта Белинским, который в своей статье о поэте особо останавливается, в частности, на принципиальном различии между исторической жизнью человеческого общества, движущегося по пути прогресса, и процессом развития природы, имеющим характер кругооборота. Но в своей полемической увлеченности Белинский прошел мимо того, что составило огромную силу поэта,— его тяготение к гармонии в сочетании с художественной интуицией, которые позволили ему, намного опередив свой век, провидеть оборотную сторону научно-технического прогресса, те грозные, глобальные опасности, которые он таит и которые с такой очевидностью обнаружились сейчас (экологические проблемы, однобокость интеллектуализма, ослабление человеческих связей и т. п.).

Среди философско-исторических проблем, приобретших особую остроту после 1825 года, одной из наиболее значительных была проблема соотношения свободной воли человека и необходимости. Сама жизнь обнаружила несостоятельность как рационалистических теорий, так и романтической веры во всемогущество индивидуальной героики. Все сильнее пробивает себе дорогу идея детерминированности истории, закономерности ее развития. Прямым откликом на полемику вокруг проблемы соотношения свободной воли человека и необходимости явилось стихотворение «К чему невольнику мечтания свободы?..» (1832). Построенное в обычной для Баратынского форме спора голосов, отражающего диалектику авторской мысли, стихотворение это с несомненностью свидетельствует, что толкование идеи необходимости в духе проповеди смирения и покорности вызывало внутреннее сопротивление поэта. В ответ на аргументы сторонников отречения человека от своих страстей, воли, желаний и призывы к смирению как якобы необходимому условию счастья, подкрепляемые ссылками на примеры из жизни природы (реки текут «в указанных брегах», небесные светила движутся «назначенным путем», даже ветер, традиционный символ свободы, «неволен, и закон его летучему дыханью положен»), следует резкое возражение:

Безумец! Не она ль, не вышняя ли воля
Дарует страсти нам? И не ее ли глас
В их гласе слышим мы?

Так же, как в ранних произведениях «Истина» и «Две доли», противоречие и здесь не снимается. Трагически звучит диссонирующий аккорд, которым завершается стихотворение:

О, тягостна для нас
Жизнь, в сердце бьющая могучею волною
И в грани узкие втесненная судьбою.

8

Никогда еще страстность философских раздумий, атмосфера интеллектуализма, высокой духовности не достигали у Баратынского такого напряжения, такой поразительной силы, как в книге «Сумерки», опубликованной в 1842 году. Именно в «Сумерках» — гениальной «сюите» философской лирики — наиболее полно раскрылись мощь и глубина поэзии Баратынского.[1]

За стихами «Сумерек» стоял опыт истории, слышалось холодное дыхание «железного века», образ которого не случайно становится главным в книге. «Железный век» — это не только «век-торгаш» с его властью денег и прозаичностью отношений, но одновременно и обобщенное выражение давящей атмосферы реакционных сил николаевского царствования.

Обстановка «промежуточной», кризисной эпохи с ее общей неустойчивостью, неясностью перспектив порождала «сумеречные» настроения — то тревожное состояние, когда наступает «страшное проясненье мысли», когда поэт «видит свет, другим не откровенный», а в его до предела обостренном сознании с жестокой беспощадностью обнажается «правда без покрова». О таком состоянии писал Баратынский еще в «Последней смерти»:

Есть бытие; но именем каким
Его назвать? Ни сон оно, ни бденье:
Меж них оно, и в человеке им
С безумием граничит разуменье.

---

[1] См: Альми И. Л. Сборник «Сумерки» Е. А. Баратынского как лирическое единство // Вопросы литературы: Метод. Стиль. Поэтика. Вып. 8. Владимир, 1973.

Подобное состояние было знакомо и Пушкину (ср. в «Страннике»: «Я оком стал глядеть болезненно-отверстым»; в «Медном всаднике»: «Прояснились в нем страшно мысли»); но особенно — раннему Лермонтову, который неоднократно писал о «сумерках души», о «страшном полусвете»: «Есть время — леденеет быстрый ум; Есть сумерки души...» («1831-го июня 11 дня»). На этой же почве вырастали и «Сумерки» Баратынского — «Сны зимней ночи», как хотел первоначально назвать свою книгу поэт.

В год появления книги Баратынского была написана статья Герцена «По поводу одной драмы», начинавшаяся словами: «Отличительная черта нашей эпохи есть grübeln.[1] Мы не хотим шага сделать, не выразумев его, мы беспрестанно останавливаемся, как Гамлет, и думаем, думаем... Это болезнь промежуточных эпох».[2] В «Сумерках» Баратынского эта «болезнь» новой эпохи также не могла не найти своего отражения. Но отразилась она глубоко своеобразно: вне традиционного «самопознанья» с его изощренным психологизмом, рефлектированием, самоанализом — всего того, что стало характерным для нового поколения русской интеллигенции и было, в общем, чуждым пушкинскому времени. В «Сумерках» нет «психологизма». Баратынский «возвел личную грусть до общего, философского значения, сделался элегическим поэтом современного человечества» (Н. Мельгунов).[3] Баратынский осуществил здесь свой давнишний принцип — он пришел к созданию «книги идей», где каждый единичный факт максимально обобщается, переключается в высокий план лирико-философских раздумий. Печать своеобразного «симфонизма» лежит на этой книге с ее максимализмом образов, грандиозностью развертывающихся картин, преобладающим трагическим восприятием мира.

Трагедийность «Сумерек» — это не просто «пессимизм». Корни ее не в случайных, сугубо личных переживаниях поэта, а в истории, в «железном веке», шаги которого наполняют эту книгу ощущением огромной тревоги.

Стихотворения, составившие «Сумерки», создавались в период с 1834—1835 по 1841 год. Характеризуя обстановку этих лет, Герцен писал: «Поэзия, проза, искусство и история показали нам образование и развитие этой нелепой среды, этих оскорбительных нравов, этой уродливой власти, но никто не указал выхода».[4] Неприятие действи-

---

[1] Раздумывать (нем.).

[2] Герцен А. И. Полн. собр. соч.: В 30-ти т. М., 1954. Т. 2. С. 49.

[3] Цит. по: Купреянова Е. Н. Баратынский тридцатых годов // Баратынский Е. А. Полн. собр. стихотворений. Л., 1936. Т. 1. С. 101 (Б-ка поэта, БС).

[4] О развитии революционных идей в России // Герцен А. И. Полн. собр. соч. М., 1956. Т. 7. С. 230.

тельности и ощущение отсутствия выхода характеризует также и книгу «Сумерки».

Главная тема поздней лирики поэта, отмечает Л. Я. Гинзбург,— «трагическое самосознание человека, отторгнутого от общих ценностей. В этом социальный смысл проблематики позднего Баратынского, ее историческая конкретность, поскольку за нею стояла судьба сломленного поколения».[1]

Далекий от вызревавших в недрах общества прогрессивных демократических сил, автор «Сумерек» защищает завоевания передовой дворянской культуры от захлестывающей ее стихии буржуазного «мещанства», продолжая сохранять — пусть в неявной форме — связи с вольнолюбивыми настроениями отошедшей декабристской эпохи. Не случайно, конечно, «Сумерки» открываются посвящением «Князю Петру Андреевичу Вяземскому» — «звезде разрозненной плеяды». Для понимания позиции Баратынского посвящение это имеет принципиальное значение: поэт демонстративно подчеркивает свою связь с пушкинским окружением, свою верность памяти декабристского поколения. К ним обращена его мысль:

Ищу я вас, гляжу: что с вами?
Куда вы брошены судьбами,
Вы, озарявшие меня
И дружбы кроткими лучами,
И светом высшего огня?

«Свет высшего огня», свет славного прошлого продолжает озарять и в новых условиях сумеречную музу поэта.

Судьбы поэзии, искусства, духовной культуры в целом в условиях надвигающегося «железного века», несущего разрыв гармонических связей,— такова стержневая тема, которая проходит через наиболее значительные, опорные произведения книги «Сумерки». Возникнув в первом же стихотворении «Последний поэт», она затем усложняется, варьируется, обрастает все новыми и новыми мотивами («Приметы», «Недоносок», «Бокал», «Ахилл», «Толпе тревожный день приветен...»), затем снова постепенно суживается («Что за звуки...», «Всё мысль да мысль! Художник бедный слова...», «Скульптор») и после предфинальной «Осени», в которой как бы кратко повторяются главные мотивы всего цикла, завершается «Рифмой», возвращающей читателя, но уже на иной основе, к исходной теме. Поэт проводит читателя через тернии сомнений, колебаний, раздумий, через весь трудный путь познания — от «Последнего поэта» к «Рифме»,— стихотворений, выполняющих роль композиционного обрамления.

---

[1] Гинзбург Л. О лирике. С. 81—82.

Подобное построение книги стало возможным потому, что проблема искусства, поэзии имеет для Баратынского всеобъемлющее значение, она вбирает и своеобразно преломляет актуальнейшие антитезы современности: «поэзия» и «проза», идеал и действительность, художник и общество. Этот расширительный и глубоко проблемный характер книги определяется уже в самом начале ее, в стихотворении «Последний поэт», являющемся в известном отношении ключевым для всего сборника.

Век шествует путем своим железным;
В сердцах корысть, и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчетливей, бесстыдней занята.
Исчезнули при свете просвещенья
Поэзии ребяческие сны,
И не о ней хлопочут поколенья,
Промышленным заботам преданы.

Стихотворение это — страстный отклик поэта на тему, подсказанную всем ходом русской жизни, в которую все ощутимее вторгались буржуазные отношения, несшие с собой власть чистогана, дух торгашества, корыстолюбия. Тема эта, затронутая Баратынским еще в юношеском послании «Богдановичу» («Торговой логики смышленый приговор»), стала одной из наиболее значительных в литературе и публицистике этих лет, в том числе в творчестве ведущих писателей эпохи (Пушкина, Гоголя). Самый образ «железного века», идущего на смену «золотому», получает широкое распространение. К нему обращаются и Пушкин («Наш век торгаш; в сей век железный Без денег и свободы нет»,— писал он в «Разговоре книгопродавца с поэтом»), и Дельвиг (в идиллии «Конец золотого века»), и П. А. Вяземский (в стихотворении «Три века поэтов»). Но, пожалуй, ни у кого из русских поэтов того времени тема эта не получила столь философски значительного и беспощадно трагического освещения, как в названном стихотворении Баратынского. В «Последнем поэте» Баратынский отразил одну из важных сторон исторического процесса: буржуазный, промышленный век действительно нес с собой сугубую прозаичность отношений, холодный расчет, меркантильность — все то, что противоречило высоким духовным устремлениям, он оказывался в этом смысле действительно враждебным поэзии жизни. Все это Баратынский передал в своих стихах с необычайной художественной зоркостью, языком точным и сильным. Он говорит об увлечении одним «насущным» и «полезным», о роскоши и богатстве, прикрывающих внешней позолотой, словно мишурой, прозаичность и наготу человеческих отношений.

«Какие чудные, гармонические стихи!» — восклицал Белинский по поводу стихотворения «Последний поэт». Но, соглашаясь с Баратынским, что «дух меркантильности уже чересчур овладел» веком, что он «слишком низко поклоняется златому тельцу», Белинский вместе с тем решительно выступил против общей философско-исторической концепции поэта, его попыток односторонне абсолютизировать наблюдаемые факты. Если наступление «железного века» воспринимается Баратынским как величайшая трагедия, то Белинский, напротив, рассматривает его с точки зрения поступательного движения человечества, прогресса, лишь как один из этапов на пути к будущему. И все же в пылу полемики Белинский сам впал в односторонность. Сосредоточив внимание на «ложных идеях» стихотворения, он не почувствовал актуальности предупреждений поэта о грозных опасностях, подстерегающих человечество.

«Последний поэт» в чем-то перекликается со стихотворением «Последняя смерть». Уже само определение «последний», вынесенное в их заголовки, настраивает на тревожный, роковой исход. В обоих стихотворениях к такому исходу ведет фабульное их построение. И хотя в одном из них события переносятся в будущее, развертываясь как «видéние», своеобразная «утопия», а в другом — проецируются на условное прошлое, мир Эллады, «золотого века», оба проникнуты болью и тревогой за судьбы человечества, оба предупреждают о грозящей опасности вырождения и гибели: в «Последней смерти» физическая гибель наступает в результате крайне однобокого развития «умственной природы»; в «Последнем поэте» гибель поэзии, духовности является результатом чрезмерного распространения «промышленных» забот, «меркантильности», утилитаризма. Действительность, лишенная «поэзии», духовности, сама превращается в «безжизненный скелет».[1]

Художественный мир «Последнего поэта» строится не только на контрастном противопоставлении современности древней Элладе, но одновременно на их сопряжении, переплетении. Судьбы поэзии извечно трагичны. Об этом свидетельствует как участь Сафо, древнегреческой поэтессы, бросившейся со скалы Левкада в море из-за неразделенной любви, так и современного «последнего» поэта.

Исключительно существенна в художественной структуре стихотворения многозначительная тема моря, морской стихии, наделенной свободой, не подвластной человеку, мифологический образ извечной полноты жизни, любви, поэзии, красоты, не случайно освященный образами Афродиты и Аполлона. Вот почему гибель «последнего поэта», исчезновение поэзии, любви, духовности, превращающее

---

[1] См.: Хетсо Гейр. Указ. соч. С. 465.

существование в холодный «безжизненный скелет», вызывает в человеческой душе «смущение» и «тоску», внутреннее беспокойство, исходящее от волн моря, влекущего тайнами романтического инобытия и надежды:

Но в смущение приводит
Человека вал морской,
И от шумных вод отходит
Он с тоскующей душой!

Такая концовка говорит не только об утрате духовных ценностей, но и о другом — о таящемся где-то в глубинах души неистребимом стремлении человека к ним, о его извечной тоске по этим ценностям, о вечном море, символизирующем продуцирующую, творящую силу жизни, ее обновления.

Сознание неумолимой власти истории и ее законов приводит автора «Сумерек» к выводу: возврат к идеализированному, патриархальному прошлому невозможен; с наивными иллюзиями не считается история, шествующая «путем своим железным». Это относится и к простодушному поэту, чье отвлеченное, мечтательное искусство оказывается несостоятельным перед лицом новых задач. Наивный поэт — мечтатель, «питомец Аполлона», идеализирующий «дни незнанья», желающий вопреки всему сохранить «поэзии ребяческие сны», стремящийся найти некую «немую глушь», с тем чтобы уйти от общества или создать в своем воображении отъединенный мир, в котором хранит «свои мечты, свой бесполезный дар»,— исторически обречен. Скрыться от истории нельзя:

Стопы свои он в мыслях направляет
В немую глушь, в безлюдный край; но свет
Уж праздного вертепа не являет,
И на земле уединенья нет!

Даже в Элладе (Греции), этом «первобытном рае муз», все неузнаваемо изменилось: «Но не слышно лиры звуки В первобытном рае муз!»

Эта неотвратимость поступи истории передается в стихотворении всей его художественной структурой, самой ритмической организацией. Пятистопный ямб с самого начала подчеркивает ее торжественную размеренность: «Век шествует путем своим железным» (примечателен глагол «шествует»,— не просто идет, но — торжественно, возвышенно, размеренно). Стихотворение написано с оглядкой

на структуру античной трагедии: основные строфы, выполненные пятистопным ямбом, чередуются с хореическими строфами, которые звучат аналогично «хору». Внутренний драматизм и напряжение усугубляются в стихотворении столкновением двух голосов: чем легче, чем подвижней наивный голос простодушного поэта («И зачем не предадимся Снам улыбчивым своим?»), тем резче сменой ритма оттеняется контрастный голос толпы, «поклонников Урании холодной»: «Суровый смех ему ответом...»

Обнажая в «Последнем поэте» разрыв между толпой, занятой «насущным и полезным», и мечтательным поэтом с его «бесполезным даром», Баратынский далек от прямолинейной идеализации последнего и огульного осуждения толпы. Он видит слабость и самого поэта, и его искусства. Ведь поэт этот «простодушный», наивный, витающий в мире грез, призывающий предаться «снам улыбчивым», верить «откровеньям сострадательных небес». Такой художник несостоятелен перед новым веком; характер самого искусства неизбежно должен измениться. Белинский в этой связи заметил: «Впрочем, поэт говорит не о поэзии, но о *ребяческих снах поэзии*, а это — другое дело!»[1]

Тема поэта и толпы получила новый поворот и дальнейшее развитие в стихотворении «Толпе тревожный день приветен, но страшна...» (1839). Баратынский раскрывает здесь чрезвычайно усложнившийся характер отношений поэта и толпы: обнаруживается, что у каждой из сторон есть своя относительная правда. При этом указанная тема переплетается неразделимо с романтической антитезой дня и ночи. Толпа прозаична и деловита, она погрязла в «заботах юдольных», ее пугает мир таинственных романтических видений, мечты, грез. Напротив, поэта больше пугают не близкие ему таинственные ночные видения, но «виденья дня» — мир прозаических повседневных забот, мелочных «людских сует». Баратынский предупреждает поэта о необходимости являть подлинное душевное мужество не в столкновении с ночной стихией, но именно во встрече с «прозой» повседневности.

Необычный поворот традиционной темы поэта и толпы дан Баратынским в стихотворении «Что за звуки? Мимоходом...» (1841). Написанное в один год с лермонтовским «Пророком», оно перекликается с ним характеристикой толпы, здесь уже — злобной «черни», издевающейся над поэтом — «старцем нищим и слепым». Отношение автора к «черни» несомненно резко отрицательно. Его симпатии явно на стороне певца. И все же, размышляя над отчуждением между «старцем», наделенным подлинным поэтическим чувством, и слушателями, требующими овладения формой искусства, «выучкой» («Но

---

[1] Стихотворения Е. Баратынского // Белинский. Т. 6. С. 467.

искусство... Старцев старее оно»), Баратынский взывал: «Опрокинь же свой треножник! Ты избранник, не художник!»

За темой трагического разрыва между поэтом и толпой (в разных ее вариантах), художником и действительностью стоял личный опыт Баратынского. Сам поэт все больше и больше тяготился своим общественным и литературным одиночеством, отсутствием связи с живой почвой, широкой читательской аудиторией. Противоречивое, неустойчивое состояние духа поэта нашло отражение и в стихотворении «Недоносок» (1835).

В центре стихотворения — метафорический образ существа, олицетворяющего духовное начало («Я из племени духов»). «Перед нами,— замечает И. Л. Альми,— не человек в маске, в роли духа, но действительно особое существо, чье бытие определено сочетанием парадоксальных качеств — слабости и бессмертия».[1] Обычно романтики стремились всячески продемонстрировать и прославить безграничные возможности, яркую мощь субъективного человеческого духа (герои Байрона, Демон Лермонтова и др.). Баратынский же, напротив, создает образ Недоноска, отличающегося своеобразной ущербностью, обнаруживающего слабость и бессилие духа. «Человеческий дух — тот самый, о котором столь много мнили романтики,— оказывается у Баратынского „мал“ и „плох“»,— пишет И. М. Семенко.[2] Он остро ощущает безмерные муки одиночества, боль и скорбь, вызванные обреченностью на вечные колебания между небом и землей. «Промежуточность», сознание бессилия тяготят и мучают Недоноска, мечущегося между ними. Он весь — во власти летучих вихрей, не будучи в состоянии как-то противостоять им, проявить свою собственную волю. Жалкий, бесконечно слабый, безутешный, он сам нуждается в ласке, защите.

Если в «Недоноске» перед нами — страдания существа, олицетворяющего собой духовное начало человека, то в стихотворении «На что вы, дни! Юдольный мир явленья...» (1840) представлен иной, не менее трагический вариант утраты человеком гармонического единства духовной и телесной природы, рокового разрыва между ними,— такого, при котором «тело» оказывается лишенным духовности; выясняется, что такое существование не менее тягостно и трагично, чем существование Недоноска.

За всеми этими стихотворениями, по-своему отразившими горестный, трагический опыт последекабрьского «сломленного поколения», очутившегося на историческом перепутье, стоял и личный опыт

[1] Альми И. Л. Метод и стиль лирики Е. А. Баратынского // «Рус. литература». 1968, № 1. С. 106.
[2] Семенко И. М. Поэты пушкинской поры. М., 1970. С. 257.

поэта, неоднократно задумывавшегося над вопросом: где пути преодоления тягостного состояния духовного бессилия и одиночества?

Еще в декабре 1832 года Баратынский писал П. А. Вяземскому: «Время поэзии индивидуальной прошло, другой еще не созрело».[1] А в письме к И. В. Киреевскому в том же году: «Для создания новой поэзии... недоставало новых сердечных увлечений, просвещенного фанатизма». Усматривая пример подобной поэзии в гражданской лирике О. Барбье, Баратынский тут же оговаривался: «Но вряд ли он найдет в нас отзыв. Поэзия веры не для нас».[2]

Баратынский сознает, что только «живая вера», «просвещенный фанатизм», то есть гражданский энтузиазм, может дать поэту необходимую для большого активного искусства идейную и моральную силу. В стихотворении «Ахилл» он сравнивает поэта — «бойца духовного», сына «купели новых дней»— с древнегреческим героем — воплощением богатырской силы, делая при этом глубоко примечательный вывод: «И одной пятой своею Невредим ты, если ею На живую веру стал!»

Не обретя такой «живой веры», Баратынский, однако, до конца сохранил свою оппозиционность. В самый разгар николаевской реакции он продолжает находить опору в воспоминаниях о вольнолюбивой поре своей молодости. Чем ярче были эти воспоминания, тем резче оттенялось трагическое одиночество и душевная скорбь поэта в настоящем. На этом контрастном сопоставлении строится стихотворение «Бокал» (1835), в котором заново возникает тема юношеских «Пиров». «Полный влагой искрометной» бокал напоминает поэту «сердцу милые преданья». Но тогда, в прошлом, поэт имел возможность встречаться на «пирах» с «братьей шумной», теперь же перед ним — увы! — «бокал уединенья».

Тема «немотствующей пустыни», отсутствия живой среды, аудитории, внимающей поэту,— тема пушкинского «Эхо» («Тебе ж нет отзыва») — проходит через «Сумерки» и примыкающие к ним стихотворения. Соответственно этому приобретают особую значительность и смысловую емкость образы «сеятеля» и «жатвы», которые становятся опорными в ряде произведений Баратынского. На них и связанных с ними ассоциациях основано одно из центральных произведений книги — «Осень» (1836—1837). Большое, в шестнадцать строф, оно вобрало в себя многие из мотивов предшествующего творчества поэта. Стихотворение это построено на соотнесении двух планов — реального и метафорического: «досужий селянин», «ора-

---

[1] Изд. 1951. С. 521.
[2] Письмо от 29 июня (?) 1832 г. // Там же. С. 520.

тай», сбирающий осенью свой урожай, «плод годовых трудов», и поэт — «оратай жизненного поля», вступивший в «осень дней» с надеждой собрать «жатву дорогую» в «зернах дум». «За осенью природы,— писал С. П. Шевырев,— рисует поэт осень человечества, нам современную, время разочарований, жатву мечтаний».[1]

Эта метафорическая двуплановость резко выделяет его на фоне предшественников и современников, в том числе — Пушкина. Выделяет, впрочем, не только философской символикой и смысловой емкостью, но и глубиной и беспредельностью переполняющих его скорбных раздумий.

Пушкинская «Осень», воссоздающая картины времен года во всей их реальности, неповторимости, пронизана ощущением неотвратимого обновления жизни, обновления души самого поэта, расцвета его сил. Совсем другую философско-поэтическую и метафорическую интерпретацию образов сеятеля и жатвы дал в стихотворении «Осень» Баратынский. Обращаясь к вступающему «в осень дней» «оратаю жизненного поля», Баратынский вопрошает:

Ты так же ли, как земледел, богат?
И ты, как он, с надеждой сеял;
И ты, как он, о дальнем дне наград
Сны позлащенные лелеял...

Увы, надежды поэта-сеятеля оказались обманутыми, тщетными: он — лишь «бесплодных дебрей созерцатель», в удел ему достался лишь «дар опыта, мертвящий душу хлад». Это был опыт не только личный, но и исторический. Душа поэта переполнена огромной невыразимой болью; в глубинах его сердца — с трудом сдерживаемый «вопль тоски великой».

Но, может быть, «страшнее самого опыта,— пишет И. М. Семенко,— оказывается то, что его *нельзя сообщить*»,[2]— люди неконтактны, взаимно далеки и одиноки — подобно падающим в космических просторах звездам.

Особенно трагичен финал стихотворения, который писался под непосредственным впечатлением вести о гибели Пушкина, явившейся для Баратынского наглядным подтверждением горестной участи поэта в условиях николаевской России.

Для верного понимания «Сумерек» чрезвычайно важно учитывать эстетическую функцию трагического в этой книге, ее подлинный смысл. В стихотворении «Осень» Баратынский писал: «Иль, отряхнув видения

---

[1] Шевырев С. П. Перечень «Наблюдателя» // «Моск. наблюдатель». 1837, июнь, кн. 1. С. 321.

[2] Семенко И. М. Поэты пушкинской поры. С. 272.

земли Порывом скорби животворной...» Почему так многозначительно охарактеризована им эта скорбь: *животворная*?[1]

В том-то и дело, что безмерная (сверх меры) скорбь по законам трагедии, трагической диалектики, становится скорбью очищающей, укрепляющей душу человека. Ведь трагедия — это всегда предельное напряжение противоборствующих сил. Принцип трагедии — борьба. На этом принципе и строятся стихи Баратынского: «Я клятвы дал, но дал их *выше сил*» («Признание»); «*Мужайся*, не слабей душою Перед заботою земною» («Толпе тревожный день приветен...»); «Свой *подвиг* ты свершила прежде тела, Безумная душа!» («На что вы, дни!..»). Трагическое в искусстве осуществляет функцию катарсиса — нравственного потрясения и очищения. Сгущая, предельно концентрируя силу трагической эмоции в образе, художник «высвобождает» и «просветляет» себя, а следовательно и читателя. Об этой функции поэзии неоднократно писал Баратынский: «Болящий дух врачует песнопенье... Душа певца, согласно излитая, Разрешена от всех своих скорбей» («Болящий дух врачует песнопенье...»). В скорби его поэзии заключен не банальный «пессимизм»: она выполняет всеобщую функцию «просветления», духовного очищения. Отсюда — мотив «животворной скорби», пройдя через которую человек обновляется душевно, эмоционально, обретает духовную крепость, обретает надежду.

Тема жатвы, о которой мечтает Баратынский, его представление о взаимоотношениях между поэтом и читателями выражены наиболее полно в стихотворении «Рифма», не случайно завершающем собой сборник «Сумерки». Здесь дан идеал поэта — вождя, оратора, трибуна, управляющего народным мнением. Такой поэт пел среди «валов народа», он ощущал живое сочувствие широкой аудитории, и потому «Свободным и широким метром, Как жатва, зыблемая ветром, Его гармония текла». По сравнению с этим идеалом, воссозданным на материале античности (самое начало стихотворения — «Когда на играх Олимпийских» — удивительно перекликается не только со стихотворением К. Н. Батюшкова «К творцу „«Истории Государства Российского“», но и — по своей интонации — с тютчевским «Цицероном»), особенно остро ощущает Баратынский отсутствие живого человеческого отклика поэту в современном мире, «средь гробового хлада света»:

---

[1] См. в этой связи: Ф р и з м а н Л. Г. Творческий путь Баратынского. М., 1966. С. 122—124. О катарсической функции трагического в поэзии Баратынского см.: Р а с с а д и н С т. Возвращение Баратынского // «Вопросы литературы». 1970. № 7. С. 102; К о ж и н о в В. Книга о русской лирической поэзии. М., 1978. С. 100; Х е т с о Г е й р. Указ. соч. С. 459 и др.

А нынче кто у наших лир
Их дружелюбной тайны просит?
Кого за нами в горний мир
Опальный голос их уносит?
Меж нас не ведает поэт,
Его полет высок иль нет!

Подобная ситуация, обрекающая поэта на горечь одиночества, пагубна для его творческого дара, ибо лишает его возможности поверять свой «глагол» живым, непосредственным читательским откликом. Поэт невольно оказывается в положении одновременно «судьи и подсудимого». И все же в стихотворении явно звучит тема надежды — не случайно оно завершается многозначительным образом рифмы, радующей поэта, подобно библейскому «голубю», несущему «с родного брега живую ветвь...».

9

Художественный мир «Сумерек», полный диссонансов, словно просвечивается образами и мотивами иного плана. Чем сильнее разлад и дисгармония окружающего мира, чем острее душевная боль, вызванная им, тем неотразимей свет идеала «соразмерностей прекрасных», к которому устремлен поэт. С этим тяготением к идеалу связана одна весьма существенная особенность образного строя «Сумерек».

По существу весь сборник пронизан античными ассоциациями, придающими ему строгий «классический» облик, резко выделяющий его на фоне тогдашней романтической поэзии 30-х годов. Задача поэта — не конкретно-историческое воспроизведение картин древности. Образы и ассоциации античного мира служат у Баратынского утверждению высокого эстетического идеала, возвышающегося среди хаоса и трагического разлада современной ему действительности.

Сложность и своеобразие общественно-литературной позиции позднего Баратынского (все усиливающийся разлад с современностью и неясность перспектив) нашли свое отражение в самом характере образной и стилистической системы, претерпевших значительные изменения по сравнению с юношеским творчеством, характеризовавшимся еще ощутимым влиянием традиций карамзинизма. Резко усилилась общая метафоризация поэзии Баратынского. Пересечение двух планов: прямого и переносного, слом привычных ассоциаций и связей, усложненность синтаксических оборотов, употребление необычных лексических форм, преимущественно с архаической окраской,— таковы основные черты своеобразного индививидуального стиля позднего Баратынского. Тенденция к высокой философской

символике, к насыщению образов зыбкими, смутными, до конца не определяемыми ассоциациями наметилась в творчестве Баратынского еще с середины 20-х годов. В «Сумерках» она резко усиливается.

Через творчество позднего Баратынского проходят, варьируясь, неоднократно повторяющиеся образы и понятия, полные многозначных ассоциаций: буря, звезда, пир, бокал, жатва, но особенно настойчиво — тема «золотых снов»: «Душевных снов, высоких снов призыв» («Последняя смерть»); «Минувшее минуло сном летучим» («Запустение»); «И зачем не предадимся снам улыбчивым своим» («Последний поэт»); «И свободны сны мои» («Бокал»); «Веселый сон минутных летних нег» («Осень»). Образы эти, рассеянные по всему творчеству поэта, в сконцентрированном виде находятся в стихотворении «Осень» — одном из наиболее характерных с точки зрения поэтической системы позднего Баратынского. В нем мы находим и звезду («Звезда небес в бездонность утечет»), и пир («Проси, сажай гостей своих за пир, Затейливый, замысловатый»), и бурю («И пенится, и ходит океан»), и жатву («И спеет жатва дорогая»), и многочисленные варианты снов («Сны позлащенные лелеял»; «благовестящим снам Доверясь чувством обновленным»).

Хотя поздняя лирика Баратынского основана преимущественно на смысловых ассоциациях, на неожиданных поворотах мысли, в ней рассеяны также отдельные, необычайно яркие, зримые, конкретно-чувственные образы: «Хрустела под ногой замерзлая трава» («Запустение»), «И красен круглый лист осины», «и с шумом жернова Ожившей мельницы крутятся» («Осень»).

В позднем творчестве Баратынский особенно часто обращается к ораторской, патетической интонации, его стих звучит необычайно торжественно, величественно. Фразы, а нередко и целые строфы строятся как сложные синтаксические периоды, подобно могучим словесным глыбам, требующим от читателя определенных усилий («Осень»). Преодолевая стилистическую сглаженность, Баратынский ориентируется на необычный, затрудненный язык, в котором в органическом единстве причудливо сочетаются разнообразные элементы. Поэт широко пользуется славянизмами («днесь», «стогны», «град», «врата») или словами с архаическим оттенком. Часто Баратынский прибегает к сложным эпитетам, придающим речи торжественный характер («золотоверхий», «златочешуйчатый», «бурнопогодный», «душемутительный»). Но, может быть, наибольшее своеобразие стилистической системы позднего Баратынского заключается (как это отмечено, в частности, Е. Н. Купреяновой) [1] в удивительно смелом

---

[1] См.: Купреянова Е. Н. Е. А. Баратынский // Баратынский Е. А. Полн. собр. стихотворений. Л., 1957. С. 39 (Б-ка поэта, БС).

сочетании высокой патетики с сугубо прозаическими, казалось бы самыми обыденными словами и выражениями, которые используются в непривычном смысловом и стилистическом значении; будучи включенными в особый поэтический лексикон, они теряют свою бытовую окраску, свою обыденность. В контексте стихов Баратынского естественными оказываются и «ухо мира», и «вой... падения» звезды, и «лысина бессилья», и «ощупай возмущенный мрак», и многое другое. Все эти и подобные им образы, появление которых стало возможным в связи с особым пониманием Баратынским соотношения между простым и необыкновенным, неизменно воспринимаются читателем в высоком трагическом ключе.

Хотя высокий трагический пафос, смелая метафоризация слога и общая синтаксическая усложненность составляют наиболее характерные черты «Сумерек», ими далеко не исчерпывается стилистическая структура книги. Наряду с такими стихотворениями, как «Осень», где названные особенности проявились наиболее обнаженно, в «Сумерки» вошли и произведения строгого антологического стиля, слышатся здесь также отзвуки одических или, напротив, бытовых, разговорных интонаций. Все это, однако, не приводит к стилистическому разнобою — в отмеченном качестве нашла свое выражение соответствующая содержанию книги ее эмоциональная и стилистическая полифония.

Не находя отзыва в настоящем, поэт все чаще обращается мыслью к будущему.

В написанном вскоре же после опубликования «Сумерек» стихотворении «На посев леса» символическая картина зимы получает уже другой смысл и толкование: «Уж та зима главу мою сребрит, Что греет сев для будущего мира». Пусть его трагедийная лира не понята современниками, плоды, взращенные поэтом, не исчезнут. С верой в торжество жизни, в грядущую жатву засевает он «зародыши елей, дубов и сосен». Как и в пушкинском стихотворении «...Вновь я посетил...», образы сосен заключают и здесь идею неодолимого потока жизни, обращенного в будущее. Для Баратынского они — «могучие и сумрачные дети» его скорбной поэзии.

Постепенно, вместе с усилением общественного подъема, взгляд Баратынского на жизнь, его мироощущение становятся более светлыми, особенно под влиянием заграничного путешествия, предпринятого в 1843 году, и встреч с русской эмиграцией на Западе, в том числе с друзьями Герцена — Н. М. Сатиным, Н. П. Огаревым, Н. И. Сазоновым и другими.

В одном из писем от конца декабря 1843 года он писал из Парижа друзьям, выражая веру в Россию и ее будущее: «Поздравляю вас с будущим, ибо у нас его больше, чем где-либо; поздравляю вас

с нашими степями, ибо это простор, который ничем не заменят здешние науки; поздравляю вас с нашей зимой, ибо она бодра и блистательна и красноречием мороза зовет нас к движению лучше здешних ораторов; поздравляю вас с тем, что мы в самом деле моложе 12-ю днями других народов и посему переживем их, может быть, 12-ю столетиями».[1]

Таким светлым, бодрым настроением проникнуто и замечательное стихотворение «Пироскаф», написанное на пути в Италию и оказавшееся волею судьбы последним (наряду со стихотворением «Дядьке-итальянцу») в творчестве поэта. В «Пироскафе», кажется, и следа не осталось от скорбного надрыва, характерного для «Сумерек». Сердце поэта широко открыто навстречу безбрежной дали океана. Морская стихия здесь уже лишена злобы, ненависти, как то было в ранней «Буре». Здесь, напротив, она полна «грозной ласки»: «Пеною здравия брызжет мне вал». А пироскаф, детище человеческого разума, создание его научного гения, гармонично сливается с природой.

Никогда еще прежде у Баратынского сама музыка стиха не звучала так мажорно, открыто, светло, как в «Пироскафе», стихотворении, исполненном предощущения предстоящей встречи поэта с «земным Элизием» — краем райского блаженства:

Нужды нет, близко ль, далеко ль до брега!
В сердце к нему приготовлена нега.
Вижу Фетиду; мне жребий благой
Емлет она из лазоревой урны:
Завтра увижу я башни Ливурны,
Завтра увижу Элизий земной!

«Элизий», увы, обернулся в биографии Баратынского смертью: он внезапно скончался в Неаполе 29 июня (11 июля) 1844 года; тело его было перевезено в Россию и погребено в Петербурге на кладбище Александро-Невской лавры.

Творчество Баратынского, большого и чуткого художника, одного из создателей философской лирики, оказывало и продолжает оказывать заметное влияние на развитие отечественной поэзии. Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Блок, Брюсов, Ахматова, Мандельштам, Заболоцкий — каждый из них так или иначе учитывал литературный опыт Баратынского — поэта, чье наследие, бесспорно, составляет одну из важных и значительных страниц русской литературы.

И. М. Тойбин

---

[1] Изд. 1951. С. 533.

СТИХОТВОРЕНИЯ

1

Взгляните: свежестью младой
И в осень лет она пленяет,
И у нее летун седой
Ланитных роз не похищает;
Сам побежденный красотой,
Глядит — и путь не продолжает!

1818?

2

Вчера ненастливая ночь
Меня застала у Лилеты.
Остаться ль мне, идти ли прочь,
Меж нами долго шли советы.

Но, в чашу светлого вина
Налив с улыбкою лукавой,
«Послушай,— молвила она,—
Вино советник самый здравый».

Я пил; на что ж решился я
Благим внушеньем полной чаши?
Побрел по слякоти, друзья,
И до зари сидел у Паши.

1818 или 1819

3. К АЛИНЕ

Тебя я некогда любил,
И ты любить не запрещала;
Но я дитя в то время был,
Ты в утро дней едва вступала.
Тогда любим я был тобой,
И в дни невинности беспечной
Алине с детской простотой
Я клятву дал уж в страсти вечной.

Тебя ль, Алина, вижу вновь?
Твой голос стал еще приятней;
Сильнее взор волнует кровь;
Улыбка, ласки сердцу внятней;
Блестящих на груди лилей
Все прелести соединились,
И чувства прежние живей
В душе моей возобновились.

Алина! чрез двенадцать лет,
Всё тот же сердцем, ныне снова
Я повторяю свой обет.
Ужель не скажешь ты полслова?
Прелестный друг! чему ни быть,
Обет сей будет свято чтимым.
Ах! я могу еще любить,
Хотя не льщусь уж быть любимым.

⟨1819⟩

4. ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА

(В альбом)

Любовь и дружбу различают,
Но как же различить хотят?
Их приобресть равно желают,
Лишь нам скрывать одну велят.
Пустая мысль! Обман напрасный!
Бывает дружба нежной, страстной,
Стесняет сердце, движет кровь,
И хоть таит свой огнь опасный,
Но с девушкой она прекрасной
Всегда похожа на любовь.

⟨1819⟩

5. ЭПИГРАММА

Дамон! ты начал — продолжай,
Кропай экспромты на досуге;
Возьмись за гений свой: пиши, черти, марай;
У пола нежного в бессменной будь услуге;
Наполни вздохами растерзанную грудь;
Ни вкусу не давай, ни разуму потачки —
И в награждение любимцем куклы будь
Или соперником собачки.

⟨1819⟩

6. ПРОЩАНЬЕ

Простите, милые досуги
Разгульной юности моей,
Любви и радости подруги,
Простите! Вяну в утро дней!
Не мне стезею потаенной,
В ночь молчаливую, тишком,
Младую деву под плащом
Вести в альков уединенный.
Бежит изменница любовь!
Светильник дней моих бледнеет,
Ее дыханье не согреет
Мою хладеющую кровь.
Следы печалей, изнуренья
Приметит в страждущем она.
Не смейтесь, девы наслажденья,
И ваша скроется весна,
И вам пленять недолго взоры
Младою пышной красотой;
За что ж в болезни роковой
Я слышу горькие укоры?
Я прежде бодр и весел был,
Зачем печального бежите?
Подруги милые! вздохните:
Он сколько мог любви служил.

⟨1819⟩

7. К КРЕНИЦЫНУ

Товарищ радостей младых,
Которые для нас безвременно увяли,
Я свиделся с тобой! В объятиях твоих
Мне дни минувшие, как смутный сон, предстали!
О милый! я с тобой когда-то счастлив был!
Где время прежнее, где прежние мечтанья?
И живость детских чувств и сладость упованья?
Всё хладный опыт истребил.
Узнал ли друга ты? Болезни и печали
Его состарили во цвете юных лет;
Уж много слабостей, тебе знакомых, нет,
Уж многие мечты ему чужими стали!
Рассудок тверже и верней,
Поступки, разговор скромнее;
Он осторожней стал, быть может, стал умнее,
Но, верно, счастием теперь стократ бедней.
Не подражай ему! Иди своей тропою!
Живи для радости, для дружбы, для любви!
Цветок нашел — скорей сорви!
Цветы прелестны лишь весною!
Когда рассеянно, с унынием внимать
Я буду снам твоим о будущем, о счастье,
Когда в мечтах твоих не буду принимать,
Как прежде, пылкое, сердечное участье,
Не сетуй на меня, о друге пожалей:
Всё можно возвратить — мечтанья невозвратны!
Так! были некогда и мне они приятны,
Но быстро скрылись от очей!
Я легковерен был: надежда, наслажденье
Меня с улыбкою манили в темну даль,
Я встретить радость мнил — нашел одну печаль,
И сердцу милое исчезло заблужденье.
Но для чего грустить? Мой друг еще со мной!
Я не всего лишен судьбой ожесточенной!
О дружба нежная! останься неизменной!
Пусть будет прочее мечтой!

⟨1819⟩

8

Тебя ль изобразить и ты ль изобразима?
Вчера задумчива, я помню, ты была,
Сегодня ветрена, забавна, весела,
Понятна сердцу ты, уму непостижима.
Не все ль противности в характере твоем?
В тебе чувствительность с холодностью совместна,
Непостоянна ты во всем,
И постоянно ты прелестна.

⟨1819⟩, 1823—1824

9. ДЕЛЬВИГУ

Так, любезный мой Гораций,
Так, хоть рад, хотя не рад,
Но теперь я муз и граций
Променял на вахтпарад;
Сыну милому Венеры,
Рощам Пафоса, Цитеры,
Приуныв, прости сказал;
Гордый лавр и мирт веселый
Кивер воина тяжелый
На главе моей измял.
Строю нет в забытой лире,
Хладно день за днем идет,
И теперь меня в мундире
Гений мой не узнает!

Мне ли думать о куплетах?
За свирель... а тут беды!
Марс затянутый, в штиблетах
Обегает уж ряды,
Кличет ратников по-свойски...
О судьбы переворот!
Твой поэт летит геройски
Вместо Пинда — на развод.

Вам, свободные пииты,
Петь, любить; меня же вряд
Иль камены, иль хариты
В карауле навестят.

Вольный баловень забавы,
Ты, которому дают
Говорливые дубравы
Поэтический приют,
Для кого в долине злачной,
Извиваясь, ключ прозрачный
Вдохновительно журчит,
Ты, кого зовут к свирели
Соловья живые трели,
Пой, любимец аонид!
В тихой, сладостной кручине
Слушать буду голос твой,
Как внимают на чужбине
Языку страны родной.

1819, ⟨1826⟩

10. ОТРЫВКИ ИЗ ПОЭМЫ «ВОСПОМИНАНИЯ»

Посланница небес, бессмертных дар счастливый,
Подруга тихая печали молчаливой,
О память! ты одна беседуешь со мной,
Ты возвращаешь мне отъятое судьбой;
Тобою счастия мгновенья легкокрылы,
Давно протекшие, в мечтах мне снова милы.
Еще в забвении дышу отрадой их;
Люблю, задумавшись, минувших дней моих
Воспоминать мечты, надежды, наслажденья,
Минуты радости, минуты огорченья.
Не раз, волшебною взлелеянный мечтой,
Я в ночь безмолвную беседовал с тобой;
И, в дни счастливые на час перенесенный,
Дремал утешенный и с жизнью примиренный.

Так, всем обязан я твоим приветным снам.
Тебя я петь хочу; дай жизнь моим струнам,
Цевнице вторь моей; твой голос сердцу внятен,
И резвой радости, и грусти он приятен.
Ах! кто о прежних днях порой не вспоминал?
Кто жизнь печальную мечтой не украшал?
Смотрите: вот старик седой, изнеможенный,
На ветхих костылях, под ношей лет согбенный,

Он с жизнью сопряжен страданием одним;
Уже могилы дверь отверста перед ним,
Но он живет еще! Он помнит дни златые!
Он помнит резвости и радости младые!
С товарищем седым, за чашей круговой,
Мечтает о былом и вновь цветет душой;
Светлеет взор его, весельем дух пылает,
И руку друга он с восторгом пожимает.
. . . .
. . . .

Наскучив странствием и жизни суетою,
Усталый труженик под кровлею родною
Вкушает сладостный бездействия покой;
Благодарит богов за мирный угол свой;
Забытый от людей, блажит уединенье,
Где от забот мирских нашел отдохновенье;
Но любит вспоминать он были прежних лет,
И море бурное, и столь же бурный свет,
Мечтанья юности, восторги сладострастья,
Обманы радости и ветреного счастья;
Милее кажется ему родная сень,
Покой отраднее, приятней рощи тень,
Уединенная роскошнее природа,
И тихо шепчет он: «Всего милей свобода!»

О дети памяти! О Фебовы сыны!
Певцы бессмертные! Кому одолжены
Вы силой творческой небесных вдохновений?
— Отзыву прежних чувств и прежних впечатлений.
Они неопытный развить умели ум,
Зажгли, питали в нем, хранили пламень дум.
Образовала вас природа — не искусство:
Так чувство выражать одно лишь может чувство.
Когда вы кистию волшебною своей
Порывы бурные, волнение страстей
Прелестно, пламенно и верно выражали,
Вы отголоску их в самих себе внимали.
Ах, скольких стоит слез бессмертия венец!
. . . .
. . . .
. . . .
Но всё покоится в безмолвии ночном,
И вежды томные сомкнулись тихим сном.

Воспоминания небесный, светлый гений
К нам ниспускается на крыльях сновидений.
В пленительных мечтах, одушевленных им,
И к играм и к трудам обычным мы спешим:
Пастух берет свирель, владелец — багряницу,
Художник — кисть свою, поэт — свою цевницу,
Потомок рыцарей, взлелеянный войной,
Сверкающим мечом махает над главой.

. . . .

. . . .

Доколе памяти животворящий свет
Еще не озарил туманной бездны лет,
Текли в безвестности века и поколенья;
Всё было жертвою безгласного забвенья:
Дела великие не славились молвой,
Под камнем гробовым незнаем тлел герой.
Преданья свет блеснул — и камни глас прияли,
Века минувшие из тьмы своей восстали;
Народы поздние урокам внемлют их,
Как гласу мудрому наставников седых.

Рассказы дивные! Волшебные картины!
Свободный, гордый Рим! Блестящие Афины!
Великолепный ряд триумфов и честей!
С каким волнением внимал я с юных дней
Бессмертным повестям Плутарха, Фукидида!
Я персов поражал с дружиной Леонида;
С отцом Виргинии отмщением пылал,
Казалось, грудь мою пронзил его кинжал;
И, подданный царя, защитник верный трона,
В восторге трепетал при имени Катона.

. . . .

. . . .

Но любопытный ум в одной ли тьме преданий
Найдет источники уроков и познаний?
Нет; всё вокруг меня гласит о прежних днях.
Блуждая странником в незнаемых краях,
Я всюду шествую, минувшим окруженный.
Я вопрошаю прах дряхлеющей вселенной:
И грады, и поля, и сей безмолвный ряд
Рукою времени набросанных громад.
Событий прежних лет свидетель молчаливый,
Со мной беседует их прах красноречивый.

Здесь отвечают мне оракулы времен:
Смотрите — видите ль, дымится Карфаген!
Полнеба Африки пожарами пылает!
С протяжным грохотом Пальмира упадает!
Как волны дымные бегущих облаков,
Мелькают предо мной события веков.
Печать минувшего повсюду мною зрима...
Поля Авзонии! Державный пепел Рима!
Глашатаи чудес и славы прежних лет!
С благословеньем вас приветствует поэт.
Смотрите, как века, незримо пролетая,
Твердыни древние и горы подавляя,
Бросая гроб на гроб, свергая храм на храм,
Остатки гордые являют Рима нам.
Великолепные, бессмертные громады!
Вот здесь висящих рек шумели водопады,
Вот здесь входили в Рим когорты плебеян,
Обремененные богатством дальних стран;
Чертогов, портиков везде я зрю обломки,
Где начертал резец римлян деянья громки.
Не смела времени разрушить их рука,
И возлегли на них усталые века.
Всё, всё вещает здесь уму, воображенью.
Внимайте времени немому поученью!
Познайте тления незыблемый закон!
Из-под развалин сих вещает глухо он:
«Всё гибнет, всё падет — и грады, и державы...»
О колыбель наук, величия и славы!
Отчизна светлая героев и богов!
Святая Греция! Теперь толпы рабов
Блуждают на брегах божественной Эллады;
Ко храму ветхому Дианы иль Паллады
Шалаш пристроил свой ленивый рыболов!
Ты б не узнал, Солон, страну своих отцов:
Под чуждым скипетром главой она поникла;
Никто не слышит там о подвигах Перикла;
Всё губит, всё мертвит невежества ярем.
Но неужель для нас язык развалин нем?
Нет, нет, лишь понимать умейте их молчанье —
И новый мир для вас создаст воспоминанье.
. . . .
. . . .

Счастлив, счастлив и тот, кому дано судьбою
От странствий отдохнуть под кровлею родною,

Увидеть милую, священную страну,
Где жизни он провел прекрасную весну,
Провел невинное, безоблачное детство.
О край моих отцов! О мирное наследство!
Всегда присутственны вы в памяти моей:
И в берегах крутых сверкающий ручей,
И светлые луга, и темные дубравы,
И сельских жителей приветливые нравы.
Приятно вспоминать младенческие дни...
. . . .
. . . .
Когда, едва вздохнув для жизни неизвестной,
Я с тихой радостью взглянул на мир прелестный,—
С каким восторгом я природу обнимал!
Как свет прекрасен был! Увы! тогда не знал
Я буйственных страстей в беспечности невинной:
Дитя, взлелеянный природою пустынной,
Ее одну лишь зрел, внимал одной лишь ей;
Сиянье солнечных, торжественных лучей
Веселье тихое мне в сердце проливало;
Оно с природою в ненастье унывало;
Не знал я радостей, не знал я мук других,
За мигом не умел другой предвидеть миг;
Я слишком счастлив был спокойствием незнанья;
Блаженства чуждые и чуждые страданья,
Часы невидимо мелькали надо мной...
О, суждено ли мне увидеть край родной,
Друзей оставленных, друзей всегда любимых,
И сердцем отдохнуть в тени дерев родимых?..
Там счастье я найду в отрадной тишине.
Не нужны почести, не нужно злато мне;
Отдайте прадедов мне скромную обитель.
Забытый от людей, дубрав безвестных житель,
Не позавидую надменным богачам;
Нет, нет, за тщетный блеск я счастья не отдам;
Не стану жертвовать фортуне своевольной.
Спокойный совестью, судьбой своей довольный,
И песни нежные, и мирный фимиам
Я буду посвящать отеческим богам.

Так, перешедши жизнь незнаемой тропою,
Свой подвиг совершив, усталою главою
Склонюсь я наконец ко смертному одру;
Для дружбы, для любви, для памяти умру;

И всё умрет со мной! Но вы, любимцы Феба,
Вы, вместе с жизнию принявшие от неба
И дум возвышенных и сладких песней дар!
Враждующей судьбы не страшен вам удар:
Свой век опередив, заране слышит гений
Рукоплескания грядущих поколений.
. . . .
. . . .

1819

11

Тебе на память в книге сей
Стихи пишу я с думой смутной.
Увы! в обители твоей
Я, может статься, гость минутный!
С изнемогающей душой,
На неизвестную разлуку
Не раз трепещущей рукой
Друзьям своим сжимал я руку.
Ты помнишь милую страну,
Где жизнь и радость мы узнали,
Где зрели первую весну,
Где первой страстию пылали?
Покинул я предел родной!
Так и с тобою, друг мой милый,
Здесь проведу я день-другой,
И — как узнать? — в стране чужой
Окончу я мой век унылый;
А ты прибудешь в дом отцов,
А ты узришь поля родные
И прошлых сча́стливых годов
Вспомянешь были золотые.
Но где товарищ, где поэт,
Тобой с младенчества любимый?
Он совершил судьбы завет,
Судьбы, враждебной с юных лет
И до конца непримиримой!
Когда ж стихи мои найдешь,
Где складу нет, но чувство живо,
Глаза потупишь молчаливо...
И тихо лист перевернешь.

1819, ⟨1826⟩

12

Итак, мой милый, не шутя,
Сказав прости домашней неге,
Ты, ус мечтательный крутя,
На шибко скачущей телеге
От нас, увы! далеко прочь,
О нас, увы! не сожалея,
Летишь курьером день и ночь
Туда, туда, к шатрам Арея!
Итак, в мундире щегольском
Ты скоро станешь в ратном строе
Меж удальцами удальцом!
О милый мой! Согласен в том:
Завидно счастие такое!
Не приобщуся невпопад
Я к мудрецам, чрез меру важным.
Иди! Воинственный наряд
Приличен юношам отважным.
Люблю я бранные шатры,
Люблю беспечность полковую,
Люблю красивые смотры́,
Люблю тревогу боевую,
Люблю я храбрых, воин мой,
Люблю их видеть, в битве шумной
Летящих в пламень роковой
Толпой веселой и безумной!
Священный долг за ними вслед
Тебя зовет, любовник брани;
Ступай, служи богине бед,
И к ней трепещущие длани
С мольбой подымет твой поэт.

1819, ⟨1826⟩

13

Он близок, близок, день свиданья,
Тебя, мой друг, увижу я!
Скажи: восторгом ожиданья
Что ж не трепещет грудь моя?
Не мне роптать, но дни печали,
Быть может, поздно миновали:

С тоской на радость я гляжу,
Не для меня ее сиянье,
И я напрасно упованье
В больной душе моей бужу.
Судьбы ласкающей улыбкой
Я наслаждаюсь не вполне:
Всё мнится, счастлив я ошибкой
И не к лицу веселье мне.

1819, ⟨1826⟩

14

Поэт Писцов в стихах тяжеловат,
Но я люблю незлобного собрата:
Ей-ей! не он пред светом виноват,
А перед ним природа виновата.

1819, ⟨1826⟩

15

Незнаю? Милая Незнаю!
Краса пленительна твоя:
Незнаю я предпочитаю
Всем тем, которых знаю я.

⟨1820⟩

16

Расстались мы; на миг очарованьем,
На краткий миг была мне жизнь моя,
Словам любви внимать не буду я,
Не буду я дышать любви дыханьем!
Я всё имел, лишился вдруг всего;
Лишь начал сон... исчезло сновиденье!
Одно теперь унылое смущенье
Осталось мне от счастья моего.

⟨1820⟩, ⟨1826⟩

17. К⟨РЫЛО⟩ВУ

Любви веселый проповедник,
Всегда любезный говорун,
Глубокомысленный шалун,
Назона правнук и наследник!

Дана на время юность нам;
До рокового новоселья
Пожить не худо для веселья.
Товарищ милый, по рукам!
Наука счастья нам знакома,
Часы летят! Скорей зови
Богиню милую любви!
Скорее ветреного Мома!
Альков уютный приготовь!
Наполни чаши золотые!
Изменят скоро дни младые,
Изменит скоро нам любовь!
Летящий миг лови украдкой —
И Гея, Вакх еще с тобой!
Еще полна, друг милый мой,
Пред нами чаша жизни сладкой;
Но смерть, быть может, сей же час
Ее с насмешкой опрокинет —
И мигом в сердце кровь остынет,
И дом подземный скроет нас!

1—15 января 1820

18

Где ты, беспечный друг? Где ты, о Дельвиг мой,
Товарищ радостей минувших,
Товарищ ясных дней, недавно надо мной
Мечтой веселою мелькнувших?

Ужель душе твоей так скоро чуждым стал
Друг отлученный, друг далекий,
На финских берегах между пустынных скал
Бродящий с грустью одинокой?

Где ты, о Дельвиг мой! Ужель минувших дней
Лишь мне чувствительна утрата,
Ужель не ищешь ты в кругу своих друзей
Судьбой отторженного брата?

Ты помнишь ли те дни, когда рука с рукой,
Пылая жаждой сладострастья,
Мы жизни вверились и общею тропой
Помчались за мечтою счастья?

«Что в славе? Что в молве? На время жизнь дана!» —
За полной чашей мы твердили
И весело в струях блестящего вина
Забвенье сладостное пили.

И вот сгустилась ночь — и всё в глубоком сне,
Лишь дышит влажная прохлада;
На стогнах тишина! Сияют при луне
Дворцы и башни Петрограда.

К знакомцу доброму стучится Купидон —
Пусть дремлет труженик усталый!
«Проснися, юноша, отвергни,— шепчет он,—
Покой бесчувственный и вялый.

Взгляни! Ты видишь ли: покинув ложе сна,
Перед окном, полуодета,
Томленья страстного в душе своей полна,
Счастливца ждет моя Лилета?»

Толпа безумная! Напрасно ропщешь ты!
Блажен, кто легкою рукою
Весной умел срывать весенние цветы
И в мире жил с самим собою;

Кто без уныния глубоко жизнь постиг
И, равнодушием богатый,
За царство не отдаст покоя сладкий миг
И наслажденья миг крылатый!

Давно румяный Феб прогнал ночную тень,
Давно проснулися заботы,
А баловня забав еще покоит лень
На ложе неги и дремоты.

И Лила спит еще; любовию горят
Младые свежие ланиты,
И, мнится, поцелуй сквозь тонкий сон манят
Ее уста полуоткрыты.

И где ж брега Невы? Где чаш веселый стук?
Забыт друзьями друг заочный,
Исчезли радости, как в вихре слабый звук,
Как блеск зарницы полуночной!

И я, певец утех, пою утрату их,
И вкруг меня скалы суровы,
И воды чуждые шумят у ног моих,
И на ногах моих оковы.

10—15 января 1820, ⟨1826⟩

19. К КЮХЕЛЬБЕКЕРУ

Прости, поэт! Судьбина вновь
Мне посох странника вручила,
Но к музам чистая любовь
Уж нас навек соединила!

Прости! Бог весть когда опять,
Желанный друг в гостях у друга,
Я счастье буду воспевать
И негу праздного досуга!

О милый мой! Всё в дар тебе —
И грусть, и сладость упованья!
Молись невидимой судьбе:
Она приблизит час свиданья.

И я, с пустынных финских гор,
В отчизне бранного Одена,
К ней возведу молящий взор,
Упав смиренно на колена.

Строга ль богиня будет к нам,
Пошлет ли весть соединенья?
Пускай пред ней сольются *там*
Друзей согласные моленья!

18 января 1820

20. ПОДРАЖАНИЕ ЛАФАРУ

Свободу дав тоске моей,
Уединенный, я недавно
О наслажденьях прежних дней
Жалел и плакал своенравно.

«Всё обмануло,— думал я,—
Чем сердце пламенное жило,
Что восхищало, что томило,
Что было цветом бытия!
Наставлен истиной угрюмой,
Отныне с праздною душой
Живых восторгов легкий рой
Я заменю холодной думой
И сердца мертвой тишиной!»
Тогда с улыбкою коварной
Предстал внезапно Купидон.
«О чем вздыхаешь,— молвил он,—
О чем грустишь, неблагодарный?
Забудь печальные мечты:
Я вечно юн и я с тобою!
Воскреснуть сердцем можешь ты;
Не веришь мне? Взгляни на Хлою!»

15 марта 1820

21. ВЕСНА

(Элегия)

Мечты волшебные, вы скрылись от очей!
Сбылися времени угрозы!
Хладеет в сердце жизнь, и юности моей
Поблекли утренние розы!

Благоуханный май воскреснул на лугах,
И пробудилась Филомела,
И Флора милая на радужных крылах
К нам обновленная слетела.

Вотще! Не для меня долины и леса
Одушевились красотою
И светлой радостью сияют небеса!
Я вяну,— вянет всё со мною!

О, где вы, призраки невозвратимых лет,
Богатство жизни — вера в счастье?
Где ты, младого дня пленительный рассвет?
Где ты, живое сладострастье?

В дыхании весны всё жизнь младую пьет
И негу тайного желанья!
Всё дышит радостью и, мнится, с кем-то ждет
Обетованного свиданья!

Лишь я как будто чужд природе и весне:
Часы крылатые мелькают;
Но радости принесть они не могут мне
И, мнится, мимо пролетают.

1—20 марта 1820

22. ФИНЛЯНДИЯ

В свои расселины вы приняли певца,
Граниты финские, граниты вековые,
Земли ледя́ного венца
Богатыри сторожевые.
Он с лирой между вас. Поклон его, поклон
Громадам, миру современным;
Подобно им, да будет он
Во все годины неизменным!

Как всё вокруг меня пленяет чудно взор!
Там необъятными вода́ми
Слилося море с небесами;
Тут с каменной горы к нему дремучий бор
Сошел тяжелыми стопами,
Сошел — и смотрится в зерцале гладких вод!
Уж поздно, день погас, но ясен неба свод;
На скалы финские без мрака ночь нисходит,
И только что себе в убор
Алмазных звезд ненужный хор
На небосклон она выводит!
Так вот отечество Одиновых детей,
Грозы народов отдаленных!
Так это колыбель их беспокойных дней,
Разбоям громким посвященных!

Умолк призывный щит, не слышен скальда глас,
Воспламененный дуб угас,
Развеял буйный ветр торжественные клики;
Сыны не ведают о подвигах отцов;
И в дольном прахе их богов
Лежат низверженные лики!

И всё вокруг меня в глубокой тишине!
О вы, носившие от брега к брегу бои,
Куда вы скрылися, полночные герои?
Ваш след исчез в родной стране.
Вы ль, на скалы ее вперив скорбящи очи,
Плывете в облаках туманною толпой?
Вы ль? Дайте мне ответ, услышьте голос мой,
Зовущий к вам среди молчанья ночи.
Сыны могучие сих грозных вечных скал!
Как отделились вы от каменной отчизны?
Зачем печальны вы? Зачем я прочитал
На лицах сумрачных улыбку укоризны?
И вы сокрылися в обители теней!
И ваши имена не пощадило время!
Что ж наши подвиги, что ж слава наших дней,
Что наше ветреное племя?
О, всё своей чредой исчезнет в бездне лет!
Для всех один закон — закон уничтоженья,
Во всем мне слышится таинственный привет
Обетованного забвенья!

Но я, в безвестности, для жизни жизнь любя,
Я, беззаботливый душою,
Вострепещу ль перед судьбою?
Не вечный для времен, я вечен для себя:
Не одному ль воображенью
Гроза их что-то говорит?
Мгновенье мне принадлежит,
Как я принадлежу мгновенью!
Что нужды для былых иль будущих племен?
Я не для них бренчу незвонкими струнами;
Я, невнимаемый, довольно награжден
За звуки звуками, а за мечты мечтами.

Март — первая половина апреля 1820 ⟨1826⟩

23. ФИНСКИМ КРАСАВИЦАМ

(Мадригал)

Так, ваш язык еще мне нов,
Но взоры милых сердцу внятны
И звуки незнакомых слов
Давно душе моей понятны.

Я не умел еще любить —
Опасны сердцу ваши взгляды!
И сын Фрегеи, может быть,
Сильнее будет сына Лады!

Март — первая половина апреля 1820

24

Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам;
Не испытав его, нельзя понять и счастья:
Живой источник сладострастья
Дарован в нем его сынам.
Одни ли радости отрадны и прелестны?
Одно ль веселье веселит?
Бездейственность души счастливцев тяготит;
Им силы жизни неизвестны.
Не нам завидовать ленивым чувствам их:
Что в дружбе ветреной, в любви однообразной
И в ощущениях слепых
Души рассеянной и праздной?
Счастливцы мнимые, способны ль вы понять
Участья нежного сердечную услугу?
Способны ль чувствовать, как сладко поверять
Печаль души своей внимательному другу?
Способны ль чувствовать, как дорог верный друг?
Но кто постигнут роком гневным,
Чью душу тяготит мучительный недуг,
Тот дорожит врачом душевным.
Что, что дает любовь веселым шалунам?
Забаву легкую, минутное забвенье;
В ней благо лучшее дано богами нам
И нужд живейших утоленье!
Как будет сладко, милый мой,
Поверить нежности чувствительной подруги —
Скажу ль? — все раны, все недуги,
Всё расслабление души твоей больной,
Забыв и свет, и рок суровый,
Желанья смутные в одно желанье слить
И на устах ее, в ее дыханье пить

Целебный воздух жизни новой!
Хвала всевидящим богам!
Пусть мнимым счастием для света мы убоги,
Счастливцы нас бедней, и праведные боги
Им дали чувственность, а чувство дали нам.

1820

25

Когда неопытен я был,
У красоты самолюбивой,
Мечтатель слишком прихотливый,
Я за любовь любви молил;
Я трепетал в тоске желанья
У ног волшебниц молодых,
Но тщетно взор во взорах их
Искал ответа и узнанья!
Огонь утих в моей крови;
Покинув службу Купидона,
Я променял сады любви
На верх бесплодный Геликона.
Но светлый мир уныл и пуст,
Когда душе ничто не мило:
Руки пожатье заменило
Мне поцелуй прекрасных уст.

1820 или 1821

26. ЛАГЕРЬ

Рассеивает грусть пиров веселый шум.
Вчера, за чашей круговою,
Средь братьев полковых, в ней утопив мой ум,
Хотел воскреснуть я душою.

Туман полуночный на холмы возлегал;
Шатры над озером дремали,
Лишь мы не знали сна — и пенистый бокал
С весельем буйным осушали.

Но что же? Вне себя я тщетно жить хотел:
Вино и Вакха мы хвалили,
Но я безрадостно с друзьями радость пел —
Восторги их мне чужды были.

Того не приобресть, что сердцем не дано.
Рок злобный к нам ревниво злобен:
Одну печаль свою, уныние одно
Унылый чувствовать способен!

⟨1821⟩

27

Я возвращуся к вам, поля моих отцов,
Дубравы мирные, священный сердцу кров!
Я возвращуся к вам, домашние иконы!
Пускай другие чтут приличия законы;
Пускай другие чтут ревнивый суд невежд;
Свободный наконец от суетных надежд,
От беспокойных снов, от ветреных желаний,
Испив безвременно всю чашу испытаний,
Не призрак счастия, но счастье нужно мне.
Усталый труженик, спешу к родной стране
Заснуть желанным сном под кровлею родимой.
О дом отеческий! О край, всегда любимый!
Родные небеса! Незвучный голос мой
В стихах задумчивых вас пел в стране чужой,
Вы мне повеете спокойствием и счастьем.
Как в пристани пловец, испытанный ненастьем,
С улыбкой слушает, над бездною воссев,
И бури грозный свист, и волн мятежный рев,
Так, небо не моля о почестях и злате,
Спокойный домосед, в моей безвестной хате,
Укрывшись от толпы взыскательных судей,
В кругу друзей своих, в кругу семьи своей,
Я буду издали глядеть на бури света.
Нет, нет, не отменю священного обета!
Пускай летит к шатрам бестрепетный герой;
Пускай кровавых битв любовник молодой
С волненьем учится, губя часы златые,
Науке размерять окопы боевые —
Я с детства полюбил сладчайшие труды.
Прилежный, мирный плуг, взрывающий бразды,
Почтеннее меча; полезный в скромной доле,
Хочу возделывать отеческое поле.
Оратай, ветхих дней достигший над сохой,
В заботах сладостных наставник будет мой;

Мне дряхлого отца сыны трудолюбивы
Помогут утучнять наследственные нивы.
А ты, мой старый друг, мой верный доброхот,
Усердный пестун мой, ты, первый огород
На отческих полях разведший в дни былые!
Ты поведешь меня в сады свои густые,
Деревьев и цветов расскажешь имена;
Я сам, когда с небес роскошная весна
Повеет негою воскреснувшей природе,
С тяжелым заступом явлюся в огороде,
Приду с тобой садить коренья и цветы.
О подвиг благостный! Не тщетен будешь ты:
Богиня пажитей признательней Фортуны!
Для них безвестный век, для них свирель и струны;
Они доступны всем и мне за легкий труд
Плодами сочными обильно воздадут.
От гряд и заступа спешу к полям и плугу;
А там, где ручеек по бархатному лугу
Катит задумчиво пустынные струи,
В весенний ясный день я сам, друзья мои,
У брега насажу лесок уединенный,
И липу свежую, и тополь осребренный;
В тени их отдохнет мой правнук молодой;
Там дружба некогда сокроет пепел мой
И вместо мрамора положит на гробницу
И мирный заступ мой, и мирную цевницу.

⟨1821⟩

28

В своих стихах он скукой дышит,
Жужжаньем их наводит сон.
Не говорю: зачем он пишет,
Но для чего читает он?

⟨1821⟩

29

Напрасно мы, Дельвиг, мечтаем найти
В сей жизни блаженство прямое:
Небесные боги не делятся им
С земными детьми Прометея.

Похищенной искрой созданье свое
Дерзнул оживить безрассудный;
Бессмертных он презрел — и страшная казнь
Постигнула чад святотатства.

Наш тягостный жребий: положенный срок
Питаться болезненной жизнью,
Любить и лелеять недуг бытия
И смерти отрадной страшиться.

Нужды непреклонной слепые рабы,
Рабы самовластного рока!
Земным ощущеньям насильственно нас
Случайная жизнь покоряет.

Но в искре небесной прияли мы жизнь,
Нам памятно небо родное,
В желании счастья мы вечно к нему
Стремимся неясным желаньем!..

Вотще! Мы надолго отвержены им!
Сияет красою над нами,
На бренную землю беспечно оно
Торжественный свод опирает...

Но нам недоступно! Как алчный Тантал
Сгорает средь влаги прохладной,
Так, сердцем постигнув блаженнейший мир,
Томимся мы жаждою счастья.

⟨1821⟩

30. ЭЛЕГИЯ

Нет, не бывать тому, что было прежде!
Что в счастье мне? Мертва душа моя!
«Надейся, друг!» — сказали мне друзья.
Не поздно ли вверяться мне надежде,
Когда желать почти не в силах я?
Я бременюсь нескромным их участьем,
И с каждым днем я верой к ним бедней.
Что в пустоте несвязных их речей?
Давным-давно простился я со счастьем,
Желательным слепой душе моей!

Лишь вслед ему с унылым сладострастьем
Гляжу я в даль моих минувших дней.
Так нежный друг, в бесчувственном забвенье,
Еще глядит на зыби синих волн,
На влажный путь, где в темном отдаленье
Давно исчез отбывший дружний челн.

⟨1821⟩

31. РАЗУВЕРЕНИЕ

Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей:
Разочарованному чужды
Все обольщенья прежних дней!
Уж я не верю увереньям,
Уж я не верую в любовь
И не могу предаться вновь
Раз изменившим сновиденьям!
Слепой тоски моей не множь,
Не заводи о прежнем слова
И, друг заботливый, больного
В его дремоте не тревожь!
Я сплю, мне сладко усыпленье;
Забудь бывалые мечты:
В душе моей одно волненье,
А не любовь пробудишь ты.

⟨1821⟩

32. БОЛЬНОЙ

Други! радость изменила,
Предо мною мрачен путь,
И болезнь мне положила
Руку хладную на грудь.
Други! станьте вкруг постели.
Где утех златые дни?
Быстро, быстро пролетели
Тенью легкою они.
Всё прошло; ваш друг печальный
Вянет в жизни молодой,
С новым утром погребальный,
Может быть, раздастся вой,—

И раздвинется могила,
И заснет, недвижный, он,
И твое лобзанье, Лила,
Не прервет холодный сон.

Что нужды! До новоселья
Поживем и пошалим,
В память прежнего веселья
Шумный кубок осушим.
Нам судьба велит разлуку...
Как же быть, друзья? — Вздохнуть,
На распутье сжать мне руку
И сказать: счастливый путь!

⟨1821⟩

33

Твой детский вызов мне приятен,
Но не желай моих стихов:
Не многим избранным понятен
Язык поэтов и богов.
Когда под звонкие напевы,
Под звук свирели плясовой,
Среди полей, рука с рукой,
Кружатся юноши и девы,
Вмешавшись в резвый хоровод,
Хариты, ветреный Эрот,
Дриады, фавны пляшут с ними
И гонят прочь толпу забот
Воскликновеньями своими.
Поодаль музы между тем,
Таяся в сумраке дубравы,
Глядят, не зримые никем,
На их невинные забавы,
Но их собор в то время нем.
Певцу ли ветрено бесславить
Плоды возвышенных трудов
И легкомыслие забавить
Игрою гордою стихов?
И той нередко, чье воззренье
Дарует лире вдохновенье,

Не поверяет он его:
Поет один, подобный в этом
Пчеле, которая со цветом
Не делит меда своего.

⟨1821⟩, ⟨1826⟩

34. ПЕСНЯ

Страшно воет, завывает
Ветр осенний;
По поднéбесью далече
Тучи гонит.

На часах стоит печален
Юный ратник;
Он уносится за ними
Грустной думой.

«О, куда, куда вас, тучи,
Ветер гонит?
О, куда ведет судьбина
Горемыку?

Тошно жить мне: мать родную
Я покинул!
Тошно жить мне: с милой сердцу
Я расстался!»

«Не грусти! — душа-девица
Мне сказала.—
За тебя молиться будет
Друг твой верный».

«Что в молитвах? я в чужбине
Дни скончаю.
Возвращусь ли? взор твой друга
Не признает.

Не видать в лицо мне счастья;
Жить на что мне?
Дай приют, земля сырая,
Расступися!»

Он поет, никто не слышит
Слов печальных...
Их разносит, заглушает
Ветер бурный.

⟨1821⟩

35

Приятель строгий, ты не прав,
Несправедливы толки злые;
Друзья веселья и забав,
Мы не повесы записные!
По своеволию страстей
Себе мы правил не слагали,
Но пылкой жизнью юных дней,
Пока дышалося, дышали;
Любили шумные пиры;
Гостей веселых той поры,
Забавы, шалости любили
И за роскошные дары
Младую жизнь благодарили.
Во имя лучших из богов,
Во имя Вакха и Киприды,
Мы пели счастье шалунов,
Сердечно презря крикунов
И их ревнивые обиды.
Мы пели счастье дней младых,
Меж тем летела наша младость;
Порой задумывалась радость
В кругу поклонников своих;
В душе больной от пищи многой,
В душе усталой пламень гас,
И за стаканом в добрый час
Застал нас как-то опыт строгой.
Наперсниц наших, страстных дев
Мы поцелуи позабыли
И, пред суровым оробев,
Утехи крылья опустили.
С тех пор, любезный, не поем
Мы безрассудные забавы,
Смиренно дни свои ведем
И ждем от света доброй славы.

Теперь вопрос я отдаю
Тебе на суд. Подумай, мы ли
Переменили жизнь свою
Иль годы нас переменили?

⟨1821⟩

36

Живи смелей, товарищ мой,
Разнообразь досуг шутливый!
Люби, мечтай, пируй и пой,
Пренебреги молвы болтливой
И порицаньем и хвалой!
О, как безумна жажда славы!
Равно исчезнут в бездне лет
И годы шумные побед
И миг незнаемый забавы!
Всех смертных ждет судьба одна,
Всех чередом поглотит Лета:
И филосо́фа-болтуна,
И длинноусого корнета,
И в молдаванке шалуна,
И в рубище анахорета.
Познай же цену срочных дней,
Лови пролетное мгновенье!
Исчезнет жизни сновиденье:
Кто был счастливей, кто умней.
Будь дружен с музою моею,
Оставим мудрость мудрецам,—
На что чиниться с жизнью нам,
Когда шутить мы можем с нею?

⟨1821⟩

37

Один, и пасмурный душою,
Я пред окном сидел;
Свистела буря надо мною,
И глухо дождь шумел.

Уж поздно было, ночь спустилась,
Но сон бежал очей.
О днях минувших пробудилась
Тоска в душе моей.

«Увижу ль вас, поля родные,
Увижу ль вас, друзья?
Губя печалью дни младые,
Приметно вяну я!

Дни пролетают, годы тоже;
Меж тем беднеет свет!
Давно ль покинул вас — и что же?
Двоих уж в мире нет!

И мне назначена могила!
Умру в чужой стране,
Умру, и ветреная Лила
Не вспомнит обо мне!»

Душа стеснилася тоскою;
Я грустно онемел,
Склонился нá руку главою,
В окно не зря глядел.

Очнулся я; румян и светел,
Уж новый день сиял,
И громкой песнью ранний петел
Мне утро возвещал.

Январь — февраль 1821

38. В АЛЬБОМ

Вы слишком многими любимы,
Чтобы возможно было вам
Знать, помнить всех по именам;
Сии листки необходимы;
Они не нужны были встарь:
Тогда не знали дружбы модной,
Тогда, бог весть! иной дикарь
Сердечный адрес-календарь
Почел бы выдумкой негодной.

Что толковать о старине!
Стихи готовы. Может статься,
Они для справки обо мне
Вам очень скоро пригодятся.

Январь — февраль 1821

39

Приманкой ласковых речей
Вам не лишить меня рассудка!
Конечно, многих вы милей,
Но вас любить — плохая шутка!

Вам не нужна любовь моя,
Не слишком заняты вы мною,
Не нежность — прихоть вашу я
Признаньем страстным успокою.

Вам дорог я, твердите вы,
Но лишний пленник вам дороже.
Вам очень мил я, но, увы!
Вам и другие милы тоже.

С толпой соперников моих
Я состязаться не дерзаю
И превосходной силе их
Без битвы поле уступаю.

Январь — февраль 1821

40

Шуми, шуми с крутой вершины,
Не умолкай, поток седой!
Соединяй протяжный вой
С протяжным отзывом долины!

Я слышу: свищет аквилон,
Качает елию скрыпучей,
И с непогодою ревучей
Твой рев мятежный соглашен.

Зачем с безумным ожиданьем
К тебе прислушиваюсь я?
Зачем трепещет грудь моя
Каким-то вещим трепетаньем?

Как очарованный стою
Над дымной бездною твоею
И, мнится, сердцем разумею
Речь безглагольную твою.

Шуми, шуми с крутой вершины,
Не умолкай, поток седой!
Соединяй протяжный вой
С протяжным отзывом долины!

Апрель — начало мая 1821

41

Прощай, отчизна непогоды,
Печальная страна,
Где, дочь любимая природы,
Безжизненна весна;
Где солнце нехотя сияет,
Где сосен вечный шум,
И моря рев, и всё питает
Безумье мрачных дум;
Где, отлученный от отчизны
Враждебною судьбой,
Изнемогал без укоризны
Изгнанник молодой;
Где, позабыт молвой гремучей,
Но всё душой пиит,
Своею музою летучей
Он не был позабыт!
Теперь для сладкого свиданья
Спешу к стране родной;
В воображенье край изгнанья
Последует за мной:
И камней мшистые громады,
И вид полей нагих,
И вековые водопады,
И шум угрюмый их!

Я вспомню с тайным сладострастьем
Пустынную страну,
Где я в размолвке с тихим счастьем
Провел мою весну,
Но где порою, житель неба,
Наперекор судьбе,
Не изменил питомец Феба
Ни музам, ни себе.

Между 1 и 15 мая 1821

42

Пора покинуть, милый друг,
Знамена ветреной Киприды
И неизбежные обиды
Предупредить, пока досуг.
Чьих ожидать увещеваний!
Мы лишены старинных прав
На своеволие забав,
На своеволие желаний.
Уж отлетает век младой,
Уж сердце опытнее стало:
Теперь ни в чем, любезный мой,
Нам исступленье не пристало!
Оставим юным шалунам
Слепую жажду сладострастья;
Не упоения, а счастья
Искать для сердца должно нам.
Пресытясь буйным наслажденьем,
Пресытясь ласками цирцей,
Шепчу я часто с умиленьем
В тоске задумчивой моей:
Нельзя ль найти любви надежной?
Нельзя ль найти подруги нежной,
С кем мог бы в сча́стливой глуши
Предаться неге безмятежной
И чистым радостям души;
В чье неизменное участье
Беспечно веровал бы я,
Случится ль вёдро иль ненастье
На перепутье бытия?
Где ж обреченная судьбою?

На чьей груди я успокою
Свою усталую главу?
Или с волненьем и тоскою
Ее напрасно я зову?
Или в печали одинокой
Я проведу остаток дней
И тихий свет ее очей
Не озарит их тьмы глубокой,
Не озарит души моей!..

Май? 1821

43. ЦВЕТОК

С восходом солнечным Людмила,
    Сорвав себе цветок,
Куда-то шла и говорила:
    «Кому отдам цветок?

Что торопиться? Мне ль наскучит
    Лелеять свой цветок?
Нет! недостойный не получит
    Душистый мой цветок».

И говорил ей каждый встречный:
    «Прекрасен твой цветок!
Мой милый друг, мой друг сердечный,
    Отдай мне твой цветок».

Она в ответ: «Сама я знаю,
    Прекрасен мой цветок,
Но не тебе, и это знаю,
    Другому мой цветок».

Красою яркой день сияет,—
    У девушки цветок;
Вот полдень, вечер наступает,—
    У девушки цветок!

Идет. Услада повстречала,
    Он прелестью цветок.
«Ты мил! — она ему сказала.—
    Возьми же мой цветок!»

Он что же деве? Он спесиво:
«На что мне твой цветок?
Ты даришь мне его — не диво:
Увянул твой цветок».

Июнь — июль? 1821

44

Ты был ли, гордый Рим, земли самовластитель,
Ты был ли, о свободный Рим?
К немым развалинам твоим
Подходит с грустию их чуждый навеститель.

За что утратил ты величье прежних дней?
За что, державный Рим, тебя забыли боги?
Град пышный, где твои чертоги?
Где сильные твои, о родина мужей?

Тебе ли изменил победы мощный гений?
Ты ль на распутии времен
Стоишь в позорище племен,
Как пышный саркофаг погибших поколений?

Кому еще грозишь с твоих семи холмов?
Судьбы ли всех держав ты грозный возвеститель?
Или, как призрак-обвинитель,
Печальный предстоишь очам твоих сынов?

Июль — первая половина августа 1821

45

Чтоб очаровывать сердца,
Чтоб возбуждать рукоплесканья,
Я слышал, будто для певца
Всего нужнее дарованья.
Путей к Парнасу много есть:
Зевоту можно произвесть
Поэмой длинной, громкой одой,
И ввек того не приобресть,
Чего нам не дано природой.

Когда старик Анакреон,
Сын верный неги и прохлады,
Веселый пел амфоров звон
И сердцу памятные взгляды,
Вслед за толпой младых забав,
Богини песней, миновав
Певцов усерднейших Эллады,
Ему внимать исподтишка
С вершины Пинда поспешали
И балагура-старика
Венком бессмертья увенчали.

Так своенравно Аполлон
Нам раздает свои награды;
Другому богу Геликон
Отдать хотелось бы с досады!
Напрасно дó поту лица
О славе Фофанов хлопочет:
Ему отказан дар певца,
Трудится он, а Феб хохочет.
Меж тем, даря веселью дни,
Едва ли Батюшков, Парни
О прихотливой вспоминали,
И что ж? нечаянно они
Ее в Цитере повстречали.

Пленен ли Хлоей, Дафной ты,
Возьми Тибуллову цевницу,
Воспой победы красоты,
Воспой души своей царицу;
Когда же любишь стук мечей,
С высокой музою Омира
Пускай поет вражды царей
Твоя воинственная лира.
Равны все музы красотой,
Несходство их в одной одежде.
Старайся нравиться любой,
Но помолися Фебу прежде.

1821?

Так! отставного шалуна
Вы вновь шалить не убеждайте
Иль золотые времена
Младых затей ему отдайте!

Переменяют годы нас
И с нами вместе наши нравы:
От всей души люблю я вас,
Но ваши чужды мне забавы.

Уж Вакх, увенчанный плющом,
Со мной по улицам не бродит
И к вашим нимфам вечерком
Меня, шатаясь, не заводит.

Весельчакам я запер дверь,
Я пресыщен их буйным счастьем
И заменил его теперь
Пристойным, тихим сладострастьем.

В пылу начальном дней младых
Неодолимы наши страсти:
Проказим мы, но мы у них,
Не у себя тогда во власти.

В своей отваге молодой
Товарищ ваш блажил довольно;
Не видит он нужды большой
Вновь сумасбродить добровольно.

1821?

47. ДЕЛЬВИГУ

Дай руку мне, товарищ добрый мой,
Путем одним пойдем до двери гроба,
И тщетно нам за грозною бедой
Беду грозней пошлет судьбины злоба.
Ты помнишь ли, в какой печальный срок
Впервые ты узнал мой уголок?
Ты помнишь ли, с какой судьбой суровой
Боролся я, почти лишенный сил?

Я погибал — ты дух мой оживил
Надеждою возвышенной и новой.
Ты ввел меня в семейство добрых муз;
Деля досуг меж ими и тобою,
Я ль чувствовал ее свинцовый груз
И перед ней унизился душою?
Ты сам порой глубокую печаль
В душе носил, но что? Не мне ли вверить
Спешил ее? И дружба не всегда ль
Хоть несколько могла ее умерить?
Забытые фортуною слепой,
Мы ей назло друг в друге всё имели
И, дружества твердя обет святой,
Бестрепетно в глаза судьбе глядели.

О! верь мне в том: чем жребий ни грозит,
Упорствуя в старинной неприязни,
Душа моя не ведает боязни,
Души моей ничто не изменит!
Так, милый друг! позволят ли мне боги
Ярмо забот сложить когда-нибудь
И весело на светлый мир взглянуть,
По-прежнему ль ко мне пребудут строги —
Всегда я твой. Судьей души моей
Ты должен быть и в вёдро и в ненастье,
Удвоишь ты моих счастливых дней
Неполное без разделенья счастье;
В дни бедствия я знаю, где найти
Участие в судьбе своей тяжелой;
Чего ж робеть на жизненном пути?
Иду вперед с надеждою веселой.
Еще позволь желание одно
Мне произнесть: молюся я судьбине,
Чтоб для тебя я стал хотя отныне,
Чем для меня ты стал уже давно.

1821?

48. ЭЛИЗИЙСКИЕ ПОЛЯ

Бежит неверное здоровье,
И каждый час готовлюсь я
Свершить последнее условье,
Закон последний бытия;

Ты не спасешь меня, Киприда!
Пробьют урочные часы,
И низойдет к брегам Аида
Певец веселья и красы.

Простите, ветреные други,
С кем беззаботно в жизни сей
Делил я шумные досуги
Разгульной юности моей!
Я не страшуся новоселья;
Где ни жил я, мне всё равно:
Там тоже славить от безделья
Я стану дружбу и вино.
Не изменясь в подземном мире,
И там на шаловливой лире
Превозносить я буду вновь
Покойной Дафне и Темире
Неприхотливую любовь.

О Дельвиг! слезы мне не нужны;
Верь, в закоцитной стороне
Прием радушный будет мне:
Со мною музы были дружны!
Там, в очарованной тени,
Где благоденствуют поэты,
Прочту Катуллу и Парни
Мои небрежные куплеты,
И улыбнутся мне они.

Когда из та́инственной сени,
От темных Орковых полей,
Здесь навещать своих друзей
Порою могут наши тени,
Я навещу, о други, вас,
Сыны забавы и веселья!
Когда для шумного похмелья
Вы соберетесь в праздный час,
Приду я с вами Вакха славить;
А к вам молитва об одном:
Прибор покойнику оставить
Не позабудьте за столом.

Меж тем за тайными брегами
Друзей вина, друзей пиров,

Веселых, добрых мертвецов
Я подружу заочно с вами.
И вам, чрез день или другой,
Закон губительный Зевеса
Велит покинуть мир земной;
Мы встретим вас у врат Айдеса
Знакомой дружеской толпой;
Наполним радостные чаши,
Хвала свиданью возгремит,
И огласят приветы наши
Весь необъемлемый Аид!

1821?

49

Любви приметы
Я не забыл,
Я ей служил
В былые леты!
В ней говорит
И жар ланит,
И вздох случайный...
О! я знаком
С сим языком
Любови тайной!
В душе твоей
Уж нет покоя;
Давным-давно я
Читаю в ней:
Любви приметы
Я не забыл,
Я ей служил
В былые леты!

⟨1822⟩

50

Сей поцелуй, дарованный тобой,
Преследует мое воображенье:
И в шуме дня, и в тишине ночной
Я чувствую его напечатленье!

Сойдет ли сон и взор сомкнет ли мой,
Мне снишься ты, мне снится наслажденье;
Обман исчез, нет счастья! и со мной
Одна любовь, одно изнеможенье.

⟨1822⟩

51

На кровы ближнего селенья
Нисходит вечер, день погас.
Покинем рощу, где для нас
Часы летели как мгновенья!
Лель, улыбнись, когда из ней
Случится де́вице моей
Унесть во взорах пламень томный,
Мечту любви в душе своей
И в волосах листок нескромный.

⟨1822⟩

52

Зачем, о Делия! сердца младые ты
    Игрой любви и сладострастья
Исполнить силишься мучительной мечты
    Недосягаемого счастья?
Я видел вкруг тебя поклонников твоих,
    Полуиссохших в страсти жадной:
Достигнув их любви, любовным клятвам их
    Внимаешь ты с улыбкой хладной.
Обманывай слепцов и смейся их судьбе;
    Теперь душа твоя в покое;
Придется некогда изведать и тебе
    Очарованье роковое!
Не опасаяся насмешливых сетей,
    Быть может, избранный тобою
Уже не вверится огню любви твоей,
    Не тронется ее тоскою.
Когда ж пора придет и розы красоты,
    Вседневно свежестью беднея,
Погибнут, отвечай: к чему прибегнешь ты,
    К чему, бесчарная Цирцея?

Искусством округлишь ты высохшую грудь,
  Худые щеки нарумянишь,
Дитя крылатое захочешь как-нибудь
  Вновь приманить... но не приманишь!
Взамену снов младых тебе не обрести
  Покоя, поздних лет отрады;
Куда бы ни пошла, взроятся на пути
  Самолюбивые досады!
Немирного душой на мирном ложе сна
  Так убегает усыпленье,
И где для каждого доступна тишина,
  Страдальца ждет одно волненье.

⟨1822⟩, ⟨1826⟩

53

На звук цевницы голосистой,
Толпой забав окружена,
Летит прекрасная весна;
Благоухает воздух чистый,
Земля воздвиглась ото сна.

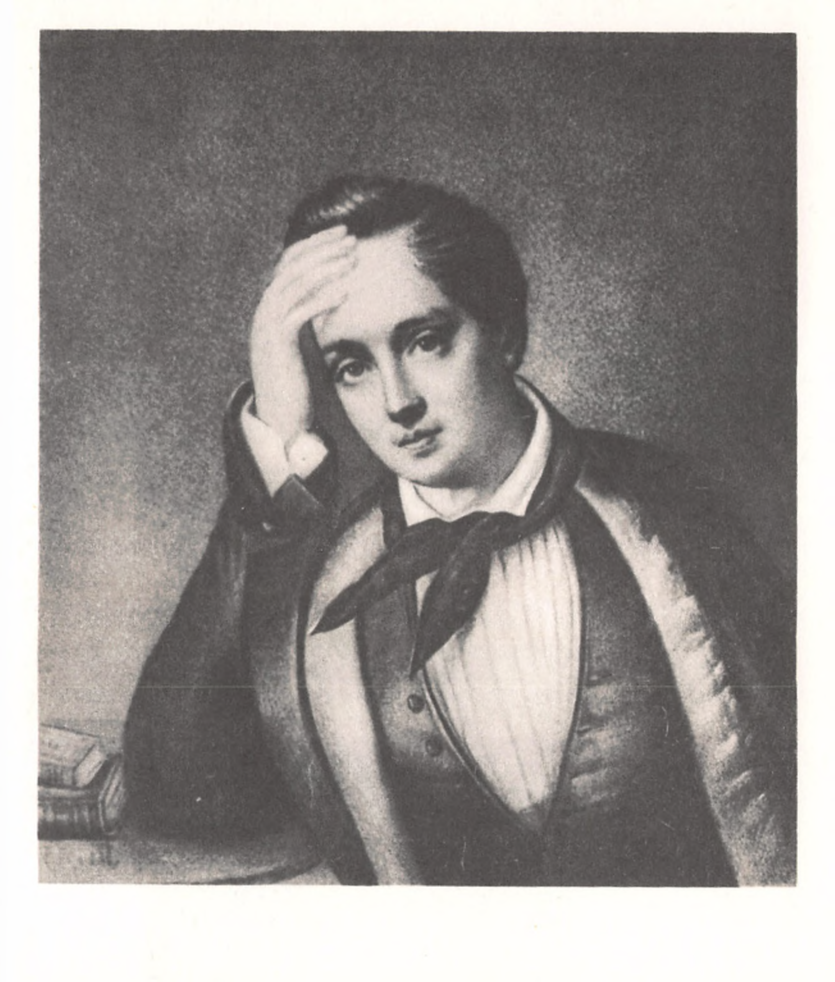
Утихли вьюги и метели,
Текут потоками снега;
Опять в горах трубят рога,
Опять зефиры налетели
На обновленные луга.

Над урной мшистою наяда
Проснулась в сумраке ветвей,
Стрясает инеи с кудрей,
И, разломав оковы хлада,
Заговорил ее ручей.

Восторги дух мой пробудили!
Звучат и блещут небеса;
Певцов пернатых голоса,
Пастушьи песни огласили
Долины, горы и леса.








А. А. Дельвиг


Н. И. Гнедич







Дом Баратынских в имении Мара

Дом Баратынского в Муранове

Лишь ты, увядшая Климена,
Лишь ты, в печаль облечена,
Весны не празднуешь одна!
Тобою младости измена
Еще судьбе не прощена!

Унынье в грудь к тебе теснится,
Не видишь ты красы лугов.
О, если б щедростью богов
Могла ко смертным возвратиться
Пора любви с порой цветов!

Март — первая половина апреля 1822

54. СЕСТРЕ

И ты покинула семейный мирный круг!
Ни степи, ни леса тебя не задержали;
И ты летишь ко мне на глас моей печали —
О милая сестра, о мой вернейший друг!
Я узнаю тебя, мой ангел-утешитель,
Наперсница души от колыбельных дней;
Не тщетно нежности я веровал твоей,
Тогда еще, тогда достойный их ценитель!..
Приди ж — и радость призови
В приют мой, радостью забытый;
Повей отрадою душе моей убитой
И сердце мне согрей дыханием любви!
Как чистая роса живит своей прохладой
Среди нагих степей,— спасительной усладой
Так оживишь мне чувства ты.

Июль 1822

55. ЭПИГРАММА

Везде бранит поэт Клеон
Мою хорошенькую музу;
Всё обернуть умеет он
В бесславье нашему союзу.
Морочит добрых он людей,
А слыть красоточке моей
У них негодницей обидно.
Поэт Клеон смешной злодей;
Ему же после будет стыдно.

1822?

Неизвинительной ошибкой,
Скажите, долго ль будет вам
Внимать с холодною улыбкой
Любви укорам и мольбам?
Одни победы вам известны;
Любовь нечаянно узнав,
Каких лишитеся вы прав
И меньше ль будете прелестны?
Ко мне, примерно, нежной став,
Вы наслажденья лишены ли
Дурачить пленников других
И гордой быть, как прежде были,
К толпе соперников моих?
Еще же нужно размышленье!
Любви простое упоенье
Вас не довольствует вполне;
Но с упоеньем поклоненье
Соединить не трудно мне;
И, ваш угодник постоянный,
Попеременно я бы мог —
Быть с вами запросто в диванной,
В гостиной быть у ваших ног.

1822 или 1823

57. ПАДЕНИЕ ЛИСТЬЕВ

Желтел печально злак полей,
Брега взрывал источник мутный,
И голосистый соловей
Умолкнул в роще бесприютной.
На преждевременный конец
Суровым роком обреченный,
Прощался так младой певец
С дубравой, сердцу драгоценной:

«Судьба исполнилась моя,
Прости, убежище драгое!
О прорицанье роковое!
Твой страшный голос помню я:
„Готовься, юноша несчастный!

Во мраке осени ненастной
Глубокий мрак тебе грозит;
Уж он сияет из Эрева,
Последний лист падет со древа,
Твой час последний прозвучит!“
И вяну я: лучи дневные
Вседневно тягче для очей;
Вы улетели, сны златые
Минутной юности моей!
Покину всё, что сердцу мило.
Уж мглою небо обложило,
Уж поздних ветров слышен свист!
Что медлить? время наступило:
Вались, вались, поблеклый лист!
Судьбе противиться бессильный,
Я жажду ночи гробовой.
Вались, вались! мой холм могильный
От грустной матери сокрой!
Когда ж вечернею порою
К нему пустынною тропою,
Вдоль незабвенного ручья,
Придет поплакать надо мною
Подруга нежная моя,
Твой легкий шорох в чуткой сени,
На берегах Стигийских вод,
Моей обрадованной тени
Да возвестит ее приход!»

Сбылось! Увы! судьбины гнева
Покорством бедный не смягчил,
Последний лист упал со древа,
Последний час его пробил.
Близ рощи той его могила!
С кручиной тяжкою своей
К ней часто матерь приходила...
Не приходила дева к ней!

⟨1823⟩, ⟨1826⟩

58

Чувствительны мне дружеские пени,
Но искренне забыл я Геликон
И признаюсь: неприхотливой лени
Мне нравится приманчивый закон;

Охота петь уж не владеет мною:
Она прошла, погасла, как любовь.
Опять любить, играть струнами вновь
Желал бы я, но утомлен душою.
Иль жить нельзя отрадою иною?
С бездействием любезен мне союз;
Лелеемый счастливым усыпленьем,
Я не хочу притворным исступленьем
Обманывать ни юных дев, ни муз.

⟨1823⟩

59. ЛЕТА

Душ холодных упованье,
Неприязненный ручей,
Чье докучное журчанье
Усыпляет Элизей!
Так! достоин ты укора:
Для чего в твоих водах
Погибает без разбора
Память горестей и благ?
Прочь с нещадным утешеньем!
Я минувшее люблю
И вовек утех забвеньем
Мук забвенья не куплю.

⟨1823⟩

60

Дало две доли провидение
    На выбор мудрости людской:
Или надежду и волнение,
    Иль безнадежность и покой.

Верь тот надежде обольщающей,
    Кто бодр неопытным умом,
Лишь по молве разновещающей
    С судьбой насмешливой знаком.

Надейтесь, юноши кипящие!
    Летите, крылья вам даны;
Для вас и замыслы блестящие,
    И сердца пламенные сны!

Но вы, судьбину испытавшие,
Тщету утех, печали власть,
Вы, знанье бытия приявшие
Себе на тягостную часть!

Гоните прочь их рой прельстительный:
Так! доживайте жизнь в тиши
И берегите хлад спасительный
Своей бездейственной души.

Своим бесчувствием блаженные,
Как трупы мертвых из гробов,
Волхва словами пробужденные,
Встают со скрежетом зубов,—

Так вы, согрев в душе желания,
Безумно вдавшись в их обман,
Проснетесь только для страдания,
Для боли новой прежних ран.

⟨1823⟩

61. РАЗМОЛВКА

Мне о любви твердила ты шутя
И холодно сознаться можешь в этом.
Я исцелен; нет, нет, я не дитя!
Прости, я сам теперь знаком со светом.
Кого жалеть? Печальней доля чья?
Кто отягчен утратою прямою?
Легко решить: любимым не был я;
Ты, может быть, была любима мною.

⟨1823⟩, ⟨1826⟩

62

Желанье счастия в меня вдохнули боги:
Я требовал его от неба и земли
И вслед за призраком, манящим издали,
Жизнь перешел до полдороги;
Но прихотям судьбы я боле не служу:
Счастливый отдыхом, на счастие похожим,
Отныне с рубежа на поприще гляжу
И скромно кланяюсь прохожим.

⟨1823⟩

63. Н. И. ГНЕДИЧУ

Нет! в одиночестве душой изнемогая
Средь каменных пустынь противного мне края,
Для лучших чувств души еще я не погиб,
Я не забыл тебя, почтенный Аристипп,
И дружбу нежную, и русские Афины!
Не Вакховых пиров, не лобызаний Фрины,
В нескромной юности нескромно петых мной,
Не шумной суеты, прославленной толпой,—
Лишенье тяжко мне в краю, где финну нищу
Отчизна мертвая едва дарует пищу.
Нет, нет! мне тягостно отсутствие друзей,
Лишенье тягостно беседы мне твоей,
То наставительной, то сладостно отрадной:
В ней, сердцем жадный чувств, умом познаний жадный,
И сердцу и уму я пищу находил.

Счастливец! дни свои ты музам посвятил
И бодро действуешь прекрасные полвека
На поле умственных усилий человека;
Искусства нежные и деятельный труд
Твой независимый украсили приют.
Податель сердца — труд, искусства — наслажденья

Еще не породив прямого просвещенья,
Избыток породил бездейственную лень.
На мир снотворную она нагнала тень,
И чадам роскоши, обремененным скукой,
Довольство бедности тягчайшей стало мукой;
Искусства низошли на помощь к ним тогда;
Уже отвыкнувших от грубого труда
К трудам возвышенным они воспламенили
И праздность упражнять роскошно научили;
Быть может, счастием обязаны мы им.

Как беден, кто больной бездействием своим!
Занятья бодрого цены не постигает,
За часом час другой глазами провожает,
Скучает в городе и бедствует в глуши,
Употребления не ведая души,
И плачет, сонных дней снося насилу бремя,
Что жизни краткое в них слишком длится время.

Они в углу моем не длятся для меня.
Судьбу младенчески за строгость не виня
И взяв тебя в пример, поэзию, ученье
Призвал я украшать мое уединенье.
Леса угрюмые, громады мшистых гор,
Пришельца нового пугающие взор,
Свинцовых моря вод безбрежная равнина,
Напев томительный протяжных песен финна —
Не долго, помню я, в печальной стороне
Печаль холодную вливали в душу мне.

Я победил ее и не убит неволей,
Еще я бытия владею лучшей долей,
Я мыслю, чувствую: для духа нет оков;
То вопрошаю я предания веков,
Паденья, славы царств читаю в них причины,
Наставлен давнею превратностью судьбины,
Учусь покорствовать судьбине я моей;
То занят свойствами и нравами людей,
В их своевольные вникаю побужденья,
Слежу я сердца их сокрытые движенья
И разуму отчет стараюсь в сердце дать!
То вдохновение, Парнаса благодать,
Мне душу радует восторгами своими;
На миг обворожен, на миг обманут ими,
Дышу свободно я и, лиру взяв свою,
И дружбу, и любовь, и негу я пою.

Осмеливаясь петь, я помню преткновенья
Самолюбивого искусства песнопенья;
Но всякому свое, и мать племен людских,
Усердья полная ко благу чад своих,
Природа, каждого даря особой страстью,
Нам разные пути прокладывает к счастью:
Кто блеском почестей пленен в душе своей;
Кто создан для войны и любит стук мечей;
Любезны песни мне. Когда-то для забавы
Я, праздный, посетил Парнасские дубравы
И воды светлые Кастальского ручья;
Там к хорам чистых дев прислушивался я,
Там, очарованный, влюбился я в искусство
Другим передавать в согласных звуках чувство,
И, не страшась толпы взыскательных судей,
Я умереть хочу с любовию моей.

Так, скуку для себя считая бедством главным,
Я духа предаюсь порывам своенравным;
Так, без усилия ведет меня мой ум
От чувства к шалости, к мечтам от важных дум!
Но ни души моей восторги одиноки,
Ни любомудрия полезные уроки,
Ни песни мирные, ни легкие мечты,
Воображения случайные цветы,
Среди глухих лесов и скал моих унылых
Не заменяют мне людей, для сердца милых,
И часто, грустию невольною объят,
Увидеть бы желал я пышный Петроград,
Вести желал бы вновь свой век непринужденный
В кругу детей искусств и неги просвещенной,
Апелла, Фидия желал бы навещать,
С тобой желал бы я беседовать опять,
Муж, дарованьями, душою превосходный,
В стихах возвышенный и в сердце благородный!
За то не в первый раз взываю я к богам:
Свободу дайте мне — найду я счастье сам!

⟨1823⟩

64

О счастии с младенчества тоскуя,
  Всё счастьем беден я,
Или вовек его не обрету я
  В пустыне бытия?

Младые сны от сердца отлетели,
  Не узнаю я свет;
Надежд своих лишен я прежней цели,
  А новой цели нет.

«Безумен ты и все твои желанья»,—
  Мне тайный голос рек;
И лучшие мечты моей созданья
  Отвергнул я навек.

Но для чего души разуверенье
  Свершилось не вполне?
Зачем же в ней слепое сожаленье
  Живет о старине?

Так некогда обдумывал с роптаньем
Я тяжкий жребий свой,
Вдруг Истину (то было не мечтаньем)
Узрел перед собой.

«Светильник мой укажет путь ко счастью! —
Вещала.— Захочу —
И, страстного, отрадному бесстрастью
Тебя я научу.

Пускай со мной ты сердца жар погубишь,
Пускай, узнав людей,
Ты, может быть, испуганный, разлюбишь
И ближних и друзей.

Я бытия все прелести разрушу,
Но ум наставлю твой;
Я оболью суровым хладом душу,
Но дам душе покой».

Я трепетал, словам ее внимая,
И горестно в ответ
Промолвил ей: «О гостья неземная!
Печален твой привет.

Светильник твой — светильник погребальный
Последних благ моих!
Твой мир, увы! могилы мир печальный
И страшен для живых.

Нет, я не твой! В твоей науке строгой
Я счастья не найду;
Покинь меня: кой-как моей дорогой
Один я побреду.

Прости! иль нет: когда мое светило
Во звездной вышине
Начнет бледнеть и всё, что сердцу мило,
Забыть придется мне,

Явись тогда! Раскрой тогда мне очи,
Мой разум просвети,
Чтоб, жизнь презрев, я мог в обитель ночи
Безропотно сойти».

⟨*1823*⟩

О своенравная Софи́я!
От всей души я вас люблю,
Хотя и реже, чем другие,
И неискусней вас хвалю.
На ваших ужинах веселых,
Где любят смех и даже шум,
Где не кладут оков тяжелых
Ни на уменье, ни на ум;
Где, для холопа иль невежды
Не притворяясь, часто мы
Браним указы и псалмы,
Я основал свои надежды
И счастье нынешней зимы.
Ни в чем не следуя пристрастью,
Даете цену вы всему:
Рассудку, шалости, уму,
И удовольствию, и счастью;
Свет пренебрегши в добрый час
И утеснительную моду,
Всему и всем забавить вас
Вы дали полную свободу;
И потому далеко прочь
От вас бежит причудниц мука,
Жеманства пасмурная дочь,
Всегда зевающая скука.
Иной порою, знаю сам,
Я вас браню по пустякам,—
Простите мне мои укоры:
Не ум один дивится вам,
Опасны сердцу ваши взоры...
Они лукавы, я слыхал,
И, всё предвидя осторожно,
От власти их, когда возможно,
Спасти рассудок я желал.
Я в нем теперь едва ли волен,
И часто, пасмурный душой,
За то я вами недоволен,
Что недоволен сам собой.

⟨1823⟩

66. ЛУТКОВСКОМУ

Влюбился я, полковник мой,
В твои военные рассказы:
Проказы жизни боевой —
Никак, веселые проказы!
Не презрю я в душе моей
Судьбою мирного лентяя;
Но мне война еще милей,
И я люблю, тебе внимая,
Жужжанье пуль и звук мечей.
Как сердце жаждет бранной славы,
Как дух кипит, когда порой
Мне хвалит ратные забавы
Мой беззаботливый герой!
Прекрасный вид! В веселье диком
Вы мчитесь грозно... дым и гром!
Бегущий враг покрыт стыдом,
И страшный бой с победным кликом
Вы запиваете вином!
А епендорфские трофеи?
Проказник, счастливый вполне,
С веселым сыном Цитереи
Ты дружно жил и на войне!
Стоят враги толпою жадной
Кругом окопов городских;
Ты, воин мой, защитник их;
С тобой семьею безотрадной
Толпа красавиц молодых.
Ты сна не знаешь; чуть проглянул
День лучезарный сквозь туман,
Уж рыцарь мой на вражий стан
С дружиной быстрою нагрянул:
Врагам иль смерть, иль строгий плен!
Меж тем красавицы младые
Пришли толпой с высоких стен
Глядеть на игры боевые;
Сраженья вид ужасен им,
Дивятся подвигам твоим,
Шлют к небу теплые молитвы:
Да возвратится невредим
Любезный воин с лютой битвы!
О! кто бы жадно не купил
Молитвы сей покоем, кровью!

Но ты не раз увенчан был
И бранной славой, и любовью.
Когда ж певцу дозволит рок
Узнать, как ты, веселье боя
И заслужить хотя листок
Из лавров милого героя?

⟨1823⟩

67

Притворной нежности не требуй от меня:
Я сердца моего не скрою хлад печальный.
Ты пра́ва, в нем уж нет прекрасного огня
Моей любви первоначальной.
Напрасно я себе на память приводил
И милый образ твой, и прежние мечтанья:
Безжизненны мои воспоминанья,
Я клятвы дал, но дал их свыше сил.

Я не пленен красавицей другою,
Мечты ревнивые от сердца удали;
Но годы долгие в разлуке протекли,
Но в бурях жизненных развлекся я душою.
Уж ты жила неверной тенью в ней;
Уже к тебе взывал я редко, принужденно,
И пламень мой, слабея постепенно,
Собою сам погас в душе моей.
Верь, жалок я один. Душа любви желает,
Но я любить не буду вновь,
Вновь не забудусь я: вполне упоевает
Нас только первая любовь.

Грущу я, но и грусть минует, знаменуя
Судьбины полную победу надо мной.
Кто знает? Мнением сольюся я с толпой;
Подругу без любви — кто знает? — изберу я.
На брак обдуманный я руку ей подам
И в храме стану рядом с нею,
Невинной, преданной, быть может, лучшим снам,
И назову ее моею;
И весть к тебе придет, но не завидуй нам:
Обмена тайных дум не будет между нами,

[illegible] не требуй [illegible]:
И сердцу [illegible] в [illegible].
[illegible]
[illegible]!
[illegible]
[illegible]:
[illegible]
[illegible]

Я не ищу [illegible],
Мечты ревнивые от сердца удаля,
Во тайне [illegible],
Но в бурях [illegible],
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Верь [illegible] душа любви [illegible]
Но и любви не буду рад;
Я вновь не избуду [illegible]
[illegible] только первая любовь

[illegible]
[illegible]
[illegible]
Кто такой [illegible]
Подругу, богиня любви, [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Сердечный [illegible]
[illegible]
[illegible]
Прощай, [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Душевным прихотям мы воли не дадим,
Мы не сердца под брачными венцами,
Мы жребии свои соединим.
Прощай! Мы долго шли дорогою одною;
Путь новый я избрал, путь новый избери;
Печаль бесплодную рассудком усмири
И не вступай, молю, в напрасный суд со мною.
Не властны мы в самих себе
И, в молодые наши леты,
Даем поспешные обеты,
Смешные, может быть, всевидящей судьбе.

⟨1823⟩, *⟨1832⟩*

68. Г⟨НЕДИ⟩ЧУ

Враг суетных утех и враг утех позорных,
Не уважаешь ты безделок стихотворных;
Не угодит тебе сладчайший из певцов
Развратной прелестью изнеженных стихов:
Возвышенную цель поэт избрать обязан.

К блестящим шалостям, как прежде, не привязан,
Я правилам твоим последовать бы мог,
Но ты ли мне велишь оставить мирный слог
И, едкой желчию напитывая строки,
Сатирою восстать на глупость и пороки?
Миролюбивый нрав дала судьбина мне,
И счастья моего искал я в тишине;
Зачем я удалюсь от столь разумной цели?
И, звуки легкие затейливой свирели
В неугомонный лай неловко превратя,
Зачем себе врагов наделаю шутя?
Страшусь их множества и злобы их опасной.

Полезен обществу сатирик беспристрастный;
Дыша любовию к согражданам своим,
На их дурачества он жалуется им:
То, укоризнами восстав на злодеянье,
Его приводит он в благое содроганье,
То едкой силою забавного словца
Смиряет попыхи надутого глупца;
Он нравов опекун и вместе правды воин.

Всё так; но кто владеть пером его достоин?
Острот затейливых, насмешек едких дар,
Язвительных стихов какой-то злобный жар
И их старательно подобранные звуки —
За беспристрастие забавные поруки!
Но если полную свободу мне дадут,
Того ль я устрашу, кому не страшен суд,
Кто в сердце должного укора не находит,
Кого и божий гнев в заботу не приводит,
Кого не оскорбит язвительный язык!
Он совесть усыпил, к позору он привык.

Но слушай: человек, всегда корысти жадный,
Берется ли за труд, наверно безнаградный?
Купец расчетливый из добрых барышей
Вверяет корабли случайности морей;
Из платы, отогнав сладчайшую дремоту,
Поденщик до зари выходит на работу;
На славу громкую надеждою согрет,
В трудах возвышенных возвышенный поэт.
Но рвенью моему что будет воздаяньем:
Не слава ль громкая? Я беден дарованьем.
Стараясь в некий ум соотчичей привесть,
Я благодарность их мечтал бы приобресть,
Но, право, смысла нет во слове «благодарность»,
Хоть нам и нравится его высокопарность.
Когда сей редкий муж, вельможа-гражданин,
От века сих вельмож оставшийся один,
Но смело дух его хранивший в веке новом,
Обширный разумом и сильный, громкий словом,
Любовью к истине и к родине горя,
В советах не робел оспоривать царя;
Когда, к прекрасному влечению послушный,
Внимать ему любил монарх великодушный,
Из благодарности о нем у тех и тех
Какие толки шли? — «Кричит он громче всех,
О благе общества как будто бы хлопочет,
А, право, риторством похвастать больше хочет;
Катоном смотрит он, но тонкого льстеца
От нас не утаит под строгостью лица».
Так лучшим подвигам людское развращенье
Придумать силится дурное побужденье;
Так, исключительно посредственность любя,
Спешит высокое унизить до себя;

Так самых доблестей завистливо трепещет
И, чтоб не верить им, на оные клевешет!
. . . .
. . . .
Нет, нет! разумный муж идет путем иным
И, снисходительный к дурачествам людским,
Не выставляет их, но сносит благонравно;
Он не пытается, уверенный забавно
Во всемогуществе болтанья своего,
Им в людях изменить людское естество.
Из нас, я думаю, не скажет ни единый
Осине: дубом будь, иль дубу — будь осиной;
Меж тем как странны мы! Меж тем любой из нас
Переиначить свет задумывал не раз.

1823, ⟨1826⟩

69

Мы пьем в любви отраву сладкую,
Но всё отраву пьем мы в ней,
И платим мы за радость краткую
Ей безвесельем долгих дней.
Огонь любви, огонь живительный,—
Все говорят,— но что мы зрим?
Опустошает, разрушительный,
Он душу, объятую им!
Кто заглушит воспоминания
О днях блаженства и страдания,
О чудных днях твоих, любовь?
Тогда я ожил бы для радости,
Для снов златых цветущей младости
Тебе открыл бы душу вновь.

⟨1824⟩

70. АВРОРЕ Ш⟨ЕРНВАЛЬ⟩

Выдь, дохни нам упоеньем,
Соименница зари;
Всех румяным появленьем
Оживи и озари!

Пылкий юноша не сводит
Взоров с милой и порой
Мыслит с тихою тоской:
«Для кого она выводит
Солнце счастья за собой?»

⟨1824⟩

71

Я безрассуден — и не диво!
Но рассудителен ли ты,
Всегда преследуя ревниво
Мои любимые мечты?
«Не для нее прямое чувство:
Одно коварное искусство
Я вижу в Делии твоей;
Не верь прелестнице лукавой!
Самолюбивою забавой
Твои восторги служат ей».
Не обнаружу я досады,
И проницательность твоя
Хвалы достойна, верю я,
Но не находит в ней отрады
Душа смятенная моя.

Я вспоминаю голос нежный
Шалуньи ласковой моей,
Речей открытых склад небрежный,
Огонь ланит, огонь очей;
Я вспоминаю день разлуки,
Последний долгий разговор
И, полный неги, полный муки,
На мне покоившийся взор;
Я перечитываю строки,
Где, увлечения полна,
В любви счастливые уроки
Мне самому дает она,
И говорю в тоске глубокой:
«Ужель обманут я жестокой?
Или всё, всё в безумном сне
Безумно чудилося мне?

О, страшно мне разуверенье,
И об одном мольба моя:
Да вечным будет заблужденье,
Да век безумцем буду я...»

Когда же с верою напрасной
Взываю я к судьбе глухой
И вскоре опыт роковой
Очам доставит свет ужасный,
Пойду я странником тогда
На край земли, туда, туда,
Где вечный холод обитает,
Где поневоле стынет кровь,
Где, может быть, сама любовь
В озяблом сердце потухает...
Иль нет: подумавши путем,
Останусь я в углу своем,
Скажу, вздохнув: «Горюн неловкой!
Грусть простодушная смешна;
Не лучше ль плутом быть с плутовкой,
Шутить любовью, как она?
Я об обманщице тоскую.
Как здравым смыслом я убог!
Ужель обманщицу другую
Мне не пошлет в отраду бог?»

⟨*1824*⟩

72

В глуши лесов счастлив один,
Другой страдает на престоле;
На высоте земных судьбин
И в незаметной, низкой доле
Всех благ возможных тот достиг,
Кто дух судьбы своей постиг.

Мы все блаженствуем равно,
Но все блаженствуем различно;
Уделом нашим решено,
Как наслаждаться им прилично,
И кто нам лучший дал совет —
Иль Эпикур, иль Эпиктет?

Меня тягчил печалей груз,
Но не упал я перед роком,
Нашел отраду в песнях муз
И в равнодушии высоком,
И светом презренный удел
Облагородить я умел.

Хвала вам, боги! Предо мной
Вы оправдалися отныне!
Готов я с бодрою душой
На всё угодное судьбине,
И никогда сей лиры глас
Не оскорбит роптаньем вас!

⟨1824⟩

73. ЧЕРЕП

Усопший брат! кто сон твой возмутил?
Кто пренебрег святынею могильной?
В разрытый дом к тебе я нисходил,
Я в руки брал твой череп желтый, пыльный!

Еще носил волос остатки он;
Я зрел на нем ход постепенный тленья.
Ужасный вид! Как сильно поражен
Им мыслящий наследник разрушенья!

Со мной толпа безумцев молодых
Над ямою безумно хохотала;
Когда б тогда, когда б в руках моих
Глава твоя внезапно провещала!

Когда б она цветущим, пылким нам
И каждый час грозимым смертным часом
Все истины, известные гробам,
Произнесла своим бесстрастным гласом!

Что говорю? Стократно благ закон,
Молчаньем ей уста запечатлевший;
Обычай прав, усопших важный сон
Нам почитать издревле повелевший.

Живи живой, спокойно тлей мертвец!
Всесильного ничтожное созданье,
О человек! Уверься наконец:
Не для тебя ни мудрость, ни всезнанье!

Нам надобны и страсти и мечты,
В них бытия условие и пища:
Не подчинишь одним законам ты
И света шум и тишину кладбища!

Природных чувств мудрец не заглушит
И от гробов ответа не получит:
Пусть радости живущим жизнь дарит,
А смерть сама их умереть научит.

⟨1824⟩, ⟨1826⟩

74

Решительно печальных строк моих
Не хочешь ты ответом удостоить;
Не тронулась ты нежным чувством их
И презрела мне сердце успокоить!
Не оживу я в памяти твоей,
Не вымолю прощенья у жестокой!
Виновен я: я был неверен ей;
Нет жалости к тоске моей глубокой!
Виновен я: я славил жен других...
Так! но когда их слух предубежденный
Я обольщал игрою струн моих,
К тебе летел я думой умиленной,
Тебя я пел под именами их.
Виновен я: на балах городских,
Среди толпы, весельем оживленной,
При гуле струн, в безумном вальсе мча
То Делию, то Дафну, то Лилету
И всем троим готовый сгоряча
Произнести по страстному обету,
Касаяся душистых их кудрей
Лицом моим, объемля жадной дланью
Их стройный стан,— так! в памяти моей
Уж не было подруги прежних дней,
И предан был я новому мечтанью!
Но к ним ли я любовию пылал?

Нет, милая! когда в уединенье
Себя потом я тихо поверял,
Их находя в моем воображенье,
Тебя одну я в сердце обретал!
Приветливых, послушных без ужимок,
Улыбчивых для шалости младой,
Из-за угла пафосских пилигримок
Я сторожил вечернею порой;
На миг один их своевольный пленник,
Я только был шалун, а не изменник.
Нет! более надменна, чем нежна,
Ты всё еще обид своих полна...
Прости ж навек! Но знай, что двух виновных,
Не одного, найдутся имена
В стихах моих, в преданиях любовных.

⟨1824⟩, ⟨1826⟩

75. БОГДАНОВИЧУ

В садах Элизия, у вод счастливой Леты,
Где благоденствуют отжившие поэты,
О Душенькин поэт, прими мои стихи!
Никак в писатели попал я за грехи
И, надоев живым посланьями своими,
Несчастным мертвецам скучать решаюсь ими.
Нет нужды до того! Хочу в досужный час
С тобой поговорить про русский наш Парнас,
С тобой, поэт живой, затейливый и нежный,
Всегда пленительный, хоть несколько небрежный,
Чертам заметнейшим лукавой остроты
Дающий милый вид сердечной простоты
И часто, наготу рисуя нам бесчинно,
Почти бесстыдным быть умеющий невинно.

Не хладной шалостью, но сердцем внушена,
Веселость ясная в стихах твоих видна;
Мечты игривые тобою были петы.
В печаль влюбились мы. Новейшие поэты
Не улыбаются в творениях своих,
И на лице земли всё как-то не по них.
Ну что ж? Поклон, да вон! Увы, не в этом дело:
Ни жить им, ни писать еще не надоело,
И правду без затей сказать тебе пора:
Пристала к музам их немецких муз хандра.

Жуковский виноват: он первый между нами
Вошел в содружество с германскими певцами
И стал передавать, забывши божий страх,
Жизнехуленья их в пленительных стихах.
Прости ему господь! Но что же! все мараки
Ударились потом в задумчивые враки,
У всех унынием оделося чело,
Душа увянула и сердце отцвело.
«Как терпит публика безумие такое?» —
Ты спросишь? Публике наскучило простое,
Мудреное теперь любезно для нее:
У века дряхлого испортилось чутье.

Ты в лучшем веке жил. Не столько просвещенный,
Являл он бодрый ум и вкус неразвращенный,
Венцы свои дарил, без вычур толковит,
Он только истинным любимцам Аонид.
Но нет явления без творческой причины:
Сей благодатный век был век Екатерины!
Она любила муз, и ты ли позабыл,
Кто «Душеньку» твою всех прежде оценил?
Я думаю, в садах, где свет бессмертья блещет,
Поныне тень твоя от радости трепещет,
Воспоминая день, сей день, когда певца,
Еще за милый труд не ждавшего венца,
Она, друзья ее достойно наградили
И, скромного, его так лестно изумили,
Страницы «Душеньки» читая наизусть.
Сердца завистников стеснила злая грусть,
И на другой же день расспросы о поэте
И похвалы ему жужжали в модном свете.

Кто вкуса божеством служил теперь бы нам?
Кто в наши времена, и прозе и стихам
Провозглашая суд разборчивый и правый,
Заведовать бы мог парнасскою управой?
О, добрый наш народ имеет для того
Особенных судей, которые его
В листах условленных и в цену приведенных
Снабжают мнением о книгах современных!
Дарует между нас и славу и позор
Торговой логики смышленый приговор.
О наших судиях не смею молвить слова,
Но слушай, как честят они один другого:

Товарищ каждого — глупец, невежда, враль;
Поверить надо им, хотя поверить жаль.

Как быть писателю? В пустыне благодатной,
Забывши модный свет, забывши свет печатный,
Как ты, философ мой, таиться без греха,
Избрать в советники кота и петуха
И, в тишине трудясь для собственного чувства,
В искусстве находить возмездие искусства!

Так, веку вопреки, в сей самый век у нас
Сладко поющих лир порою слышен глас,
Благоуханный дым от жертвы бескорыстной!
Так нежный Батюшков, Жуковский живописный,
Неподражаемый, и целую орду
Злых подражателей родивший на беду,
Так Пушкин молодой, сей ветреник блестящий,
Всё под пером своим шутя животворящий
(Тебе, я думаю, знаком довольно он:
Недавно от него товарищ твой Назон
Посланье получил), любимцы вдохновенья,
Не могут поделить сердечного влеченья
И между нас поют, как некогда Орфей
Между мохнатых пел, по вере старых дней.
Бессмертие в веках им будет воздаяньем!

А я, владеющий убогим дарованьем,
Но рвением горя полезным быть и им,
Я правды красоту даю стихам моим,
Желаю доказать людских сует ничтожность
И хладной мудрости высокую возможность.
Что мыслю, то пишу. Когда-то веселей
Я славил на заре своих цветущих дней
Законы сладкие любви и наслажденья.
Другие времена, другие вдохновенья;
Теперь важней мой ум, зрелее мысль моя.
Опять, когда умру, повеселею я;
Тогда беспечных муз беспечного питомца
Прими, философ мой, как старого знакомца.

Между январем и июнем 1824

Мне с упоением заметным
Глаза поднять на вас беда:
Вы их встречаете всегда
С лицом сердитым, неприветным.
Я полон страстною тоской,
Но нет! рассудка не забуду
И на нескромный пламень мой
Ответа требовать не буду.
Не терпит бог младых проказ
Ланит увядших, впалых глаз.
Надежды были бы напрасны,
И к вам не ими я влеком.
Любуюсь вами, как цветком,
И счастлив тем, что вы прекрасны.
Когда я в очи вам гляжу,
Предавшись нежному томленью,
Слегка о прошлом я тужу,
Но рад, что сердце нахожу
Еще способным к упоенью.
Меж мудрецами был чудак:
«Я мыслю,— пишет он,— итак,
Я, несомненно, существую».
Нет! любишь ты, и потому
Ты существуешь,— я пойму
Скорее истину такую.
Огнем, похищенным с небес,
Япетов сын (гласит преданье)
Одушевил свое созданье,
И наказал его Зевес
Неумолимый, Прометея
К скалам Кавказа приковал,
И сердце вран ему клевал;
Но, дерзость жертвы разумея,
Кто приговор не осуждал?
В огне волшебных ваших взоров
Я занял сердца бытие:
Ваш гнев достойнее укоров,
Чем преступление мое,
Но не сержусь я, шутка водит
Моим догадливым пером.
Я захожу в ваш милый дом,
Как вольнодумец в храм заходит.

Душою праздный с давних пор,
Еще твержу любовный вздор,
Еще беру прельщенья меры,
Как по привычке прежних дней
Он ароматы жжет без веры
Богам, чужим душе своей.

Между январем и июнем 1824

77

Взгляни на звезды: много звезд
В безмолвии ночном
Горит, блестит кругом луны
На небе голубом.

Взгляни на звезды: между них
Милее всех одна!
За что же? Ранее встает,
Ярчей горит она?

Нет! утешает свет ее
Расставшихся друзей:
Их взоры, в синей вышине,
Встречаются на ней.

Она на небе чуть видна,
Но с думою глядит,
Но взору шлет ответный взор
И нежностью горит.

С нее в лазоревую ночь
Не сводим мы очес,
И провожаем мы ее
На небо и с небес.

Себе звезду избрал ли ты?
В безмолвии ночном
Их много блещет и горит
На небе голубом.

Не первой вставшей сердце вверь
И, суетный в любви,
Не лучезарнейшую всех
Своею назови.

Ту назови своей звездой,
Что с думою глядит,
И взору шлет ответный взор,
И нежностью горит.

Июль — начало августа 1824

78. НЕВЕСТЕ

А. Я. В⟨асильевой⟩

Не раз Гимена клеветали:
Его бездушным торговцом,
Брюзгой, ленивцем и глупцом
Попеременно называли.
Как свет его ни назови,
У вас он будет, без сомненья,
Достойным сыном уваженья
И братом пламенной любви!

1824
Роченсальм

79

Завыла буря; хлябь морская
Клокочет и ревет, и черные валы
Идут, до неба восставая,
Бьют, гневно пеняся, в прибрежные скалы.

Чья неприязненная сила,
Чья своевольная рука
Сгустила в тучи облака
И на краю небес ненастье зародила?
Кто, возмутив природы чин,
Горами влажными на землю гонит море?
Не тот ли злобный дух, геенны властелин,
Что по вселенной ро́злил горе,
Что человека подчинил
Желаньям, немощи, страстям и разрушенью
И на творенье ополчил
Все силы, данные творенью?
Земля трепещет перед ним:
Он небо заслонил огромными крылами
И двигает ревущими водами,
Бунтующим могуществом своим.

Когда придет желанное мгновенье?
Когда волнам твоим я вверюсь, океан?
Но знай: красой далеких стран
Не очаровано мое воображенье.
Под небом лучшим обрести
Я лучшей доли не сумею;
Вновь не смогу душой моею
В краю цветущем расцвести.
Меж тем от прихоти судьбины,
Меж тем от медленной отравы бытия,
В покое раболепном я
Ждать не хочу своей кончины;
На яростных волнах, в борьбе со гневом их
Она отраднее гордыне человека!
Как жаждал радостей младых
Я на заре младого века,
Так ныне, океан, я жажду бурь твоих!

Волнуйся, восставай на каменные грани;
Он веселит меня, твой грозный, дикий рев,
Как зов к давно желанной брани,
Как мощного врага мне чем-то лестный гнев

1824

80. ЛЕДА

В стране роскошной, благодатной,
Где Евротейский древний ток
Среди долины ароматной
Катится светел и широк,
Вдоль брега Леда молодая,
Еще не мысля, но мечтая,
Стопами тихими брела.
Уж близок полдень; небо знойно;
Кругом всё пусто, всё спокойно;
Река прохладна и светла;
Брега стрегут кусты густые...
Покровы пали на цветы,
И Леды прелести нагие
Прозрачной влагой приняты.
Легко возлегшая на волны,
Легко скользит по ним она;

Роскошно пенясь, перси полны
Лобзает жадная волна.
Но зашумел тростник прибрежный,
И лебедь стройный, белоснежный
Из-за него явился ей.
Сначала он, чуть зримый оком,
Блуждает в оплыве широком
Кругом возлюбленной своей,
В пучине часто исчезает,
Но, сокрываяся от глаз,
Из вод глубоких выплывает
Всё ближе к милой каждый раз.
И вот плывет он рядом с нею.
Ей смелость лебедя мила,
Рукою нежною своею
Его осанистую шею
Младая дева обняла;
Он жмется к деве, он украдкой
Ей перси нежные клюет;
Он в песне радостной и сладкой
Как бы красы ее поет,
Как бы поет живую негу!
Меж тем влечет ее ко брегу.
Выходит на берег она;
Устав, в тени густого древа
На мураву ложится дева,
На длань главою склонена.
Меж тем не дремлет лебедь страстный;
Он на коленях у прекрасной
Нашел убежище свое;
Он сладкозвучно воздыхает,
Он важным клевом вопрошает
Уста невинные ее...
В изнемогающую деву
Огонь желания проник:
Уста раскрылись; томно клеву
Уже ответствует язык;
Уж на глаза с живым томленьем
Набросив пышные власы,
Она нечаянным движеньем
Раскрыла все свои красы...
Приют свой прежний покидает
Тогда нескромный лебедь мой;

Он томно шею обвивает
Вкруг шеи девы молодой;
Его напрасно отклоняет
Она дрожащею рукой:
Он завладел —
Затрепетал крылами он,—
И вырывается у Леды
И детства крик, и неги стон.

1824

81

Мила, как грация, скромна,
Как Сандрильона;
Подобно ей, красой она
Достойна трона.
Приятна лира ей моя;
Но что мне в этом?
Быть королем желал бы я,
А не поэтом.

1824

82. ЭПИГРАММА

Свои стишки Тощев-пиит
Покроем Пушкина кроит,
Но славы громкой не получит,
И я котенка вижу в нем,
Который, право, не путем
На голос лебедя мяучит.

1824?

83

Как много ты в немного дней
Прожить, прочувствовать успела!
В мятежном пламени страстей
Как страшно ты перегорела!
Раба томительной мечты!

В тоске душевной пустоты,
Чего еще душою хочешь?
Как Магдалина, плачешь ты,
И, как русалка, ты хохочешь!

Конец 1824 — начало 1825

84

Очарованье красоты
    В тебе не страшно нам:
Не будишь нас, как солнце, ты
    К мятежным суетам;
От дольней жизни, как луна,
    Манишь за край земной,
И при тебе душа полна
    Священной тишиной.

1824 или 1825

85

Когда взойдет денница золотая,
    Горит эфир,
И ото сна встает, благоухая,
    Цветущий мир,
И славит всё существованья сладость,—
    С душой твоей
Что в пору ту, скажи: живая радость,
    Тоска ли в ней?

Когда на дев цветущих и приветных,
    Перед тобой
Мелькающих в одеждах разноцветных,
    Глядишь порой,
Глядишь и пьешь их томных взоров сладость,—
    С душой твоей
Что в пору ту, скажи: живая радость,
    Тоска ли в ней?

Страдаю я! Из-за дубравы дальной
    Взойдет заря,
Мир озарит, души моей печальной
    Не озаря.

Будь новый день любимцу счастья в сладость!
Душе моей
Противен он! Что прежде было в радость,
То в муку ей.

Что красоты, почти всегда лукавой,
Мне долгий взор?
Обманчив он! Знаком с его отравой
Я с давних пор.
Обманчив он! Его живая сладость
Душе моей
Страшна теперь! Что прежде было в радость,
То в муку ей.

1824 или 1825

86

Идиллик новый на искус
Представлен был пред Аполлона.
«Как пишет он? — спросил у муз
Бог беспристрастный Геликона.—
Никак, негодный он поэт?»
— «Нельзя сказать».—«С талантом?»—«Нет:
Ошибок важных, правда, мало,
Да пишет он довольно вяло».
— «Я понял вас — в суде моем
Не озабочусь я нисколько;
Вперед ни слова мне о нем.
Из списков выключить — и только».

1824 или 1825

87

Рука с рукой Веселье, Горе
Пошли дорогой бытия;
Но что? Поссорилися вскоре
Во всем несходные друзья!
Лишь перекресток улучили,
Друг другу молвили: «Прости!»,
Недолго розно побродили,
Чрез день сошлись — в конце пути!

⟨*1825*⟩

88. ЗАПРОС М⟨УХАНО⟩ВУ

Что скажет другу своему
Любовник пламенный Авроры?
Сияли ль счастием ему
Ее застенчивые взоры?
Любви заботою полна,
Огнем очей, ланит пыланьем
И персей томных волнованьем
Была ль прямой зарей она
Иль только северным сияньем?

⟨1825⟩

89

В дорогу жизни снаряжая
Своих сынов, безумцев нас,
Снов золотых судьба благая
Дает известный нам запас:
Нас быстро годы почтовые
С корчмы довозят до корчмы,
И снами теми путевые
Прогоны жизни платим мы.

⟨1825⟩

90

В борьбе с тяжелою судьбой
Я только пел мои печали:
Стихи холодные дышали
Души холодною тоской.
Когда б тогда вы мне предстали,
Быть может, грустный мой удел
Вы облегчили б. Нет! едва ли!
Но я бы пламеннее пел.

⟨1825⟩

91

Она придет! К ее устам
Прижмусь устами я моими;
Приют укромный будет нам
Под сими вязами густыми!
Волненьем страстным я томим,
Но близ любезной укротим
Желаний пылких нетерпенье:
Мы ими счастию вредим
И сокращаем наслажденье.

⟨1825⟩

92

Взгляни на лик холодный сей,
Взгляни: в нем жизни нет;
Но как на нем былых страстей
Еще заметен след!
Так ярый ток, оледенев,
Над бездною висит,
Утратив прежний грозный рев,
Храня движенья вид.

Январь ? 1825

93. К Д⟨ЕЛЬВИГУ⟩

НА ДРУГОЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ЕГО ЖЕНИТЬБЫ

Ты распрощался с братством шумным
Бесстыдных, бешеных, но добрых шалунов,
С бесчинством дружеским веселых их пиров
И с нашим счастьем вольнодумным
Благовоспитанный, степенный Гименей
Пристойно заменил проказника Амура,
И ветреных подруг, и ветреных друзей,
И сластолюбца Эпикура.
Теперь для двух коварных глаз
Воздержным будешь ты, смешным и постоянным;
Спасайся, милый!.. Но подчас
Не позавидуй окаянным!

31 октября 1825

94. Д. ДАВЫДОВУ

Пока с восторгом я умею
Внимать рассказу славных дел,
Любовью к чести пламенею
И к песням муз не охладел,
Покуда русский я душою,
Забуду ль о счастливом дне,
Когда приятельской рукою
Пожал Давыдов руку мне!
О ты, который в пыл сражений
Полки лихие бурно мчал
И гласом бранных песнопений
Сердца бесстрашных волновал!
Так, так! покуда сердце живо
И трепетать ему не лень,
В воспоминанье горделиво
Хранить я буду оный день!
Клянусь, Давыдов благородный,
Я в том отчизною свободной,
Твоею лирой боевой
И в славный год войны народной
В народе славной бородой!

Ноябрь 1825

95. К АННЕТЕ

Когда Климена подарила
На память это мне кольцо,
Ее умильное лицо,
Ее улыбка говорила:
«Оно твое; когда-нибудь
Сама и вся твоей я буду;
Лишь ты меня не позабудь,
А я тебя не позабуду!»
И через день я был забыт.
Теперь кольцо ее, Аннета,
Твой вечный друг тебе дарит.
Увы, недобрая примета
Тебя, быть может, поразит!

... .

не имеет [illegible]

величество — [illegible]

[illegible]

и [illegible]

[illegible]

[illegible].

Но неспособен я к измене,—
Носи его и не тужи,
А в оправдание Климене
Ее обеты мне сдержи!

1825

96

Поверь, мой милый! твой поэт
Тебе соперник не опасный!
Он на закате юных лет,
На утренней заре ты юности прекрасной.
Живого чувства полный взгляд,
Уста цветущие, румяные ланиты
Влюбленных песенок сильнее говорят
С душой догадливой Хариты.
Когда с тобой наедине
Порой красавица стихи мои похвалит,
Тебя напрасно опечалит
Ее внимание ко мне:
Она торопит пробужденье
Младого сердца твоего
И вынуждает у него
Свидетельство любви, ревнивое мученье.
Что доброго в моей судьбе
И что я приобрел, красавиц воспевая?
Одно: моим стихом Харита молодая,
Быть может, выразит любовь свою к тебе!
Счастливый баловень Киприды!
Знай сердце женское, о! знай его верней
И за притворные обиды
Лишь плату требовать умей!
А мне, мне предоставь таить огонь бесплодный,
Рожденный иногда воззреньем красоты,
Умом оспоривать сердечные мечты
И чувство прикрывать улыбкою холодной.

1825

97. ЭПИГРАММА

«Что ни болтай, а я великий муж!
Был воином, носил недаром шпагу;
Как секретарь, судебную бумагу
Вам начерню, перебелю; к тому ж,
Я знаю свет,— держусь Христа и беса,
С ханжой ханжа, с повесою повеса;
В одном лице могу все лица я
Представить вам!» — «Хотя под старость века,
Фаддей, мой друг, Фаддей, душа моя,
Представь лицо честнóго человека».

⟨1826⟩

98

Тебе я младость шаловливу,
О сын Венеры! посвятил;
Меня ты плохо наградил —
Дал мало сердцу на разживу!
Подобно мне любил ли кто?
И что ж я вспомню, не тоскуя?
Два, три, четыре поцелуя!..
Быть так; спасибо и за то.

⟨1826⟩

99

Ты ропщешь, важный журналист,
На наше модное маранье:
«Всё та же песня: ветра свист,
Листов древесных увяданье...»
Понятно нам твое страданье:
И без того освистан ты,
И так, подвалов достоянье,
Родясь, гниют твои листы.

⟨1826⟩

100. ЭПИГРАММА

И ты поэт, и он поэт;
Но меж тобой и им различие находят:
Твои стихи в печать выходят,
Его стихи — выходят в свет.

⟨1826⟩

101

Когда, печалью вдохновенный,
Певец печаль свою поет,
Скажите: отзыв умиленный
В каком он сердце не найдет?
Кто, вековых проклятий жаден,
Дерзнет осмеивать ее?
Но для притворства всякий хладен,
Плач подражательный досаден,
Смешно жеманное вытье!
Не напряженного мечтанья
Огнем услужливым согрет,
Постигнул таинства страданья
Душемутительный поэт.
В борьбе с тяжелою судьбою
Познал он меру вышних сил,
Сердечных судорог ценою
Он выраженье их купил.
И вот нетленными лучами
Лик песнопевца окружен
И чтим земными племенами,
Подобно мученику, он.
А ваша муза площадная,
Тоской заемною мечтая
Родить участие в сердцах,
Подобна нищей развращенной,
Молящей лепты незаконной
С чужим ребенком на руках.

⟨1826⟩

102

Не трогайте парнасского пера,
Не трогайте, пригожие вострушки!
Красавицам не много в нем добра,
И им Амур другие дал игрушки.
Любовь ли вам оставить в забытьи
Для жалких рифм? Над рифмами смеются,
Уносят их летейские струи —
На пальчиках чернила остаются.

Январь 1826

103

Есть грот: наяда там в полдневные часы
Дремоте предает усталые красы,
И часто вижу я, как нимфа молодая
На ложе лиственном покоится нагая,
На руку белую, под говор ключевой,
Склоняяся челом, венчанным осокой.

Конец 1826

104. ОНА

Есть что-то в ней, что красоты прекрасней,
Что говорит не с чувствами — с душой;
Есть что-то в ней над сердцем самовластней
Земной любви и прелести земной.

Как сладкое душе воспоминанье,
Как милый свет родной звезды твоей,
Какое-то влечет очарованье
К ее ногам и под защиту к ней.

Когда ты с ней, мечты твоей неясной
Неясною владычицей она:
Не мыслишь ты — и только лишь прекрасной
Присутствием душа твоя полна.

Бредешь ли ты дорогою возвратной,
С ней разлучась, в пустынный угол твой —
Ты полон весь мечтою необъятной,
Ты полон весь таинственной тоской.

⟨1827⟩

105

Не бойся едких осуждений,
Но упоительных похвал:
Не раз в чаду их мощный гений
Сном расслабленья засыпал.

Когда, доверясь их измене,
Уже готов у моды ты
Взять на венок своей Камене
Ее тафтяные цветы,

Прости, я громко негодую;
Прости, наставник и пророк,—
Я с укоризной указую
Тебе на лавровый венок.

Когда по ребрам крепко стиснут
Пегас удалым седоком,
Не горе, ежели прихлыстнут
Его критическим пером.

⟨1827⟩

106

Окогченная летунья,
Эпиграмма-хохотунья,
Эпиграмма-егоза
Трется, вьется средь народа
И завидит лишь урода —
Разом вцепится в глаза.

⟨1827⟩

107

Перелетай к веселью от веселья,
Как от цветка бежит к цветку дитя;
Не успевай, за суетой безделья,
Задуматься, подумать и шутя.

Пускай тебя к Кориннам не причислят,
Играй, мой друг, играй и верь мне в том,
Что многие о милой Лизе мыслят,
Когда она не мыслит ни о чем.

⟨1827⟩

108

Как сладить с глупостью глупца?
Ему впопад не скажешь слова;
Другого проще он с лица,
Но мудреней в житье другого.
Он всем превратно поражен,
И всё навыворот он видит;
И бестолково любит он,
И бестолково ненавидит.

⟨1827⟩

109

Когда б избрать возможно было мне
Любой удел, любое счастье в мире,
Я б не хотел быть славным на войне,
Я б не хотел играть на громкой лире,
Я злата бы себе не пожелал;
Но блага все единым именуя,
То дайте мне, богам бы я сказал,
Чем Д....... понравиться могу я.

⟨1827⟩

110. ПОСЛЕДНЯЯ СМЕРТЬ

Есть бытие; но именем каким
Его назвать? Ни сон оно, ни бденье:
Меж них оно, и в человеке им
С безумием граничит разуменье.
Он в полноте понятья своего,
А между тем, как волны, на него,
Одни других мятежней, своенравней,

Видения бегут со всех сторон:
Как будто бы своей отчизны давней
Стихийному смятенью отдан он.
Но иногда, мечтой воспламененный,
Он видит свет, другим не откровенный.

Созданье ли болезненной мечты
Иль дерзкого ума соображенье,
Во глубине полночной темноты
Представшее очам моим виденье?
Не ведаю; но предо мной тогда
Раскрылися грядущие года;
События вставали, развивались,
Волнуяся, подобно облакам,
И полными эпохами являлись
От времени до времени очам,
И наконец я видел без покрова
Последнюю судьбу всего живого.

Сначала мир явил мне дивный сад;
Везде искусств, обилия приметы;
Близ веси весь и подле града град,
Везде дворцы, театры, водометы,
Везде народ, и хитрый свой закон
Стихии все признать заставил он.
Уж он морей мятежные пучины
На островах искусственных селил,
Уж рассекал небесные равнины
По прихоти им вымышленных крил;
Всё на земле движением дышало,
Всё на земле как будто ликовало.

Исчезнули бесплодные года,
Оратаи по воле призывали
Ветра, дожди, жары и холода,
И верною сторицей воздавали
Посевы им, и хищный зверь исчез
Во тьме лесов, и в высоте небес,
И в бездне вод, сраженный человеком,
И царствовал повсюду светлый мир.
Вот, мыслил я, прельщенный дивным веком,
Вот разума великолепный пир!
Врагам его и в стыд и в поученье,
Вот до чего достигло просвещенье!

Прошли века. Яснеть очам моим
Видение другое начинало:
Что человек? Что вновь открыто им?
Я гордо мнил, и что же мне предстало?
Наставшую эпоху я с трудом
Постигнуть мог смутившимся умом.
Глаза мои людей не узнавали;
Привыкшие к обилью дольных благ,
На всё они спокойные взирали,
Что суеты рождало в их отцах,
Что мысли их, что страсти их, бывало,
Влечением всесильным увлекало.

Желания земные позабыв,
Чуждаяся их грубого влеченья,
Душевных снов, высоких снов призыв
Им заменил другие побужденья,
И в полное владение свое
Фантазия взяла их бытие,
И умственной природе уступила
Телесная природа между них:
Их в эмпирей и хаос уносила
Живая мысль на крылиях своих,
Но по земле с трудом они ступали,
И браки их бесплодны пребывали.

Прошли века, и тут моим очам
Открылася ужасная картина:
Ходила смерть по суше, по водам,
Свершалася живущего судьбина.
Где люди? где? Скрывалися в гробах!
Как древние столпы на рубежах,
Последние семейства истлевали;
В развалинах стояли города,
По пажитям заглохнувшим блуждали
Без пастырей безумные стада;
С людьми для них исчезло пропитанье;
Мне слышалось их гладное блеянье.

И тишина глубокая вослед
Торжественно повсюду воцарилась,
И в дикую порфиру древних лет
Державная природа облачилась.
Величествен и грустен был позор
Пустынных вод, лесов, долин и гор.

По-прежнему животворя природу,
На небосклон светило дня взошло,
Но на земле ничто его восходу
Произнести привета не могло.
Один туман над ней, синея, вился
И жертвою чистительной дымился.

⟨1827⟩

111

Судьбой наложенные цепи
Упали с рук моих, и вновь
Я вижу вас, родные степи,
Моя начальная любовь.

Степного неба свод желанный,
Степного воздуха струи,
На вас я в неге бездыханной
Остановил глаза мои.

Но мне увидеть было слаще
Лес на покате двух холмов
И скромный дом в садовой чаще —
Приют младенческих годов.

Промчалось ты, златое время!
С тех пор по свету я бродил
И наблюдал людское племя
И, наблюдая, восскорбил.

Ко благу пылкое стремленье
От неба было мне дано;
Но обрело ли разделенье,
Но принесло ли плод оно?..

Я братьев знал; но сны младые
Соединили нас на миг:
Далече бедствуют иные
И в мире нет уже других.

Я твой, родимая дуброва!
Но от насильственных судьбин
Молить хранительного крова
К тебе пришел я не один.

Привел под сень твою святую
Я соучастницу в мольбах:
Мою супругу молодую
С младенцем тихим на руках.

Пускай, пускай в глуши смиренной,
С ней, милой, быт мой утая,
Других урочищей вселенной
Не буду помнить бытия.

Пускай, о свете не тоскуя,
Предав забвению людей,
Кумиры сердца сберегу я
Одни, одни в любви моей.

Весна 1827

112. СМЕРТЬ

Смерть дщерью тьмы не назову я
И, раболепною мечтой
Гробовый остов ей даруя,
Не ополчу ее косой.

О дочь верховного Эфира!
О светозарная краса!
В руке твоей олива мира,
А не губящая коса.

Когда возникнул мир цветущий
Из равновесья диких сил,
В твое храненье всемогущий
Его устройство поручил.

И ты летаешь над твореньем,
Согласье прям его лия
И в нем прохладным дуновеньем
Смиряя буйство бытия.

Ты укрощаешь восстающий
В безумной силе ураган,
Ты, на брега свои бегущий,
Вспять возвращаешь океан.

Даешь пределы ты растенью,
Чтоб не покрыл гигантский лес
Земли губительною тенью,
Злак не восстал бы до небес.

А человек! Святая дева!
Перед тобой с его ланит
Мгновенно сходят пятна гнева,
Жар любострастия бежит.

Дружится праведной тобою
Людей недружная судьба:
Ласкаешь тою же рукою
Ты властелина и раба.

Недоуменье, принужденье —
Условье смутных наших дней,
Ты всех загадок разрешенье,
Ты разрешенье всех цепей.

⟨1828⟩

113. ИЗ А. ШЕНЬЕ

Под бурею судеб, унылый, часто я,
Скучая тягостной неволей бытия,
Нести ярмо мое утрачивая силу,
Гляжу с отрадою на близкую могилу,
Приветствую ее, покой ее люблю,
И цепи отряхнуть я сам себя молю.
Но вскоре мнимая решимость позабыта
И томной слабости душа моя открыта:
Страшна могила мне; и ближние, друзья,
Мое грядущее, и молодость моя,
И обещания в груди сокрытой музы —
Всё обольстительно скрепляет жизни узы,
И далеко ищу, как жребий мой ни строг,
Я жить и бедствовать услужливый предлог.

⟨1828⟩

114

Люблю деревню я и лето:
И говор вод, и тень дубров,
И благовоние цветов;
Какой душе не мило это?
Быть так, прощаю комаров!
Но признаюсь — пустыни житель,
Покой пустынный в ней любя,
Комар двуногий, гость-мучитель,
Нет, не прощаю я тебя!

⟨1828⟩

115. СТАРИК

Венчали розы, розы Леля,
Мой первый век, мой век младой:
Я был счастливый пустомеля
И девам нравился порой.
Я помню ласки их живые,
Лобзанья, полные огня...
Но пролетели дни младые,
Они не смотрят на меня!
Как быть? У яркого камина,
В укромной хижине моей,
Накрою стол, поставлю вина
И соберу моих друзей.
Пускай венок, сплетенный Лелем,
Не обновится никогда:
Года, увенчанные хмелем,
Еще прекрасные года.

⟨1828⟩

116

Как ревностно ты сам себя дурачишь!
На хлопоты вставая до звезды,
Какой-нибудь да пакостью означишь
Ты каждый день без цели, без нужды!
Ты сам себя, и прост и подел вкупе,
Эпитимьей затейливой казнишь:
Заботливо толчешь ты уголь в ступе
И только что лицо свое пылишь.

⟨1828⟩

117

Старательно мы наблюдаем свет,
Старательно людей мы наблюдаем
И чудеса постигнуть уповаем:
Какой же плод науки долгих лет?
Что наконец подсмотрят очи зорки?
Что наконец поймет надменный ум
На высоте всех опытов и дум,
Что? Точный смысл народной поговорки.

⟨1828⟩

118

Мой дар убог, и голос мой не громок,
Но я живу, и на земли мое
Кому-нибудь любезно бытие:
Его найдет далекий мой потомок
В моих стихах. Как знать? Душа моя
Окажется с душой его в сношенье,
И, как нашел я друга в поколенье,
Читателя найду в потомстве я.

⟨1828⟩

119

Глупцы не чужды вдохновенья;
Им также пылкие мгновенья
Оно, как гениям, дарит:
Слетая с неба, все растенья
Равно весна животворит.
Что ж это сходство знаменует?
Что им глупец приобретет?
Его капустою раздует,
А лавром он не расцветет.

⟨1828⟩

Старательно мы наблюдаемъ свѣтъ,
Старательно людей мы наблюдаемъ
И чудеса постигнуть уповаемъ;
Какой же плодъ науки долгихъ лѣтъ?
Что наконецъ подсмотрятъ очи зорки?
Что наконецъ пойметъ надменный умъ
На высотѣ всѣхъ опытовъ и думъ?
Что? старый смыслъ народной поговорки.

Боратынскій

120

Не подражай: своеобразен гений
И собственным величием велик;
Доратов ли, Шекспиров ли двойник,
Досаден ты: не любят повторений.
С Израилем певцу один закон:
Да не творит себе кумира он!
Когда тебя, Мицкевич вдохновенный,
Я застаю у Байроновых ног,
Я думаю: поклонник унижённый!
Восстань, восстань и вспомни: сам ты бог!

⟨1828⟩

121

Слыхал я, добрые друзья,
Что наши прадеды в печали,
Бывало, беса призывали;
Им подражаю в этом я.
Но не пугайтесь: подружился
Я не с проклятым сатаной,
Кому душою поклонился
За деньги старый Громобой;
Узнайте: ласковый бесенок
Меня младенцем навещал
И колыбель мою качал
Под шепот легких побасенок.
С тех пор я вышел из пеленок,
Между мужами возмужал,
Но для него еще ребенок.
Случится ль горе иль беда,
Иль безотчетно иногда
Сгрустнется мне в моей конурке —
Махну рукой: по старине
На сером волке, сивке-бурке
Он мигом явится ко мне.
Больному духу здравьем свистнет,
Бобами думу разведет,
Живой водой веселье вспрыснет,
А горе мертвою зальет.
Когда в задумчивом совете
С самим собой из-за угла

Гляжу на свет и, видя в свете
Свободу глупости и зла,
Добра и разума прижимку,
Насильем сверженный закон,
Я слабым сердцем возмущен;
Проворно шапку-невидимку
На шар земной набросит он;
Или, в мгновение зеницы,
Чудесный коврик-самолет
Он подо мною развернет,
И коврик тот в сады жар-птицы,
В чертоги дивной царь-девицы
Меня по воздуху несет.
Прощай, владенье грустной были,
Меня смущавшее досель:
Я от твоей бездушной пыли
Уже за тридевять земель.

Октябрь 1828

122

Нет, обманула вас молва:
По-прежнему дышу я вами,
И надо мной свои права
Вы не утратили с годами.
Другим курил я фимиам,
Но вас носил в святыне сердца;
Молился новым образам,
Но с беспокойством староверца.

1828?

123. ПРИ ПОСЫЛКЕ «БАЛА» С. Э⟨НГЕЛЬГАРДТ⟩

Тебе ль, невинной и спокойной,
Я приношу в нескромный дар
Рассказ, где страсти недостойной
Изображен преступный жар?

И безобразный и мятежный,
Он не пленит твоей мечты;
Но что? на память дружбы нежной
Его, быть может, примешь ты.

Жилец семейственного круга,
Так в дар приемлет домосед
От путешественника-друга
Пустыни дальной дикий цвет.

Конец 1828 — начало 1829

124

Хвала, маститый наш Зоил!
Когда-то Дмитриев бесил
Тебя счастливыми стихами,
Бесил Жуковский вслед за ним,
Вот Пушкин бесит. Как любим,
Как отличен ты небесами!
Три поколения певцов
Тебя красой своих венцов
В негодованье приводили.
Пекись о здравии своем,
Чтобы, подобно первым трем,
Другие три тебя бесили.

⟨1829⟩

125

Чудный град порой сольется
Из летучих облаков,
Но, лишь ветр его коснется,
Он исчезнет без следов.
Так мгновенные созданья
Поэтической мечты
Исчезают от дыханья
Посторонней суеты.

⟨1829⟩

126. В АЛЬБОМ

Альбом походит на кладбище:
Для всех открытое жилище,
Он также множеством имен
Самолюбиво испещрен.

Увы! народ добросердечный
Равно туда или сюда
Несет надежду жизни вечной
И трепет Страшного суда.
Но я, смиренно признаюся,
Я не надеюсь, не страшуся,
Я в ваших памятных листах
Спокойно имя помещаю.
Философ я: у вас в глазах
Мое ничтожество я знаю.

⟨1829⟩

127

Сердечным нежным языком
Я искушал ее сначала;
Она словам моим внимала
С тупым бессмысленным лицом.
В ней разбудить огонь желаний
Еще надежду я хранил
И сладострастных осязаний
Язык живой употребил...
Она глядела так же тупо,
Потом разгневалася глупо.
Беги за нею, модный свет,
Пленяйся девой идеальной,—
Владею тайной я печальной:
Ни сердца в ней, ни пола нет.

⟨1829⟩

128. К⟨НЯГИНЕ⟩ З. А. ВОЛКОНСКОЙ

Из царства виста и зимы,
Где, под управой их двоякой,
И атмосферу и умы
Сжимает холод одинакой,
Где жизнь какой-то тяжкий сон,
Она спешит на юг прекрасный,
Под Авзонийский небосклон —
Одушевленный, сладострастный,
Где в кущах, в портиках палат
Октавы Тассовы звучат;

Где в древних камнях боги живы,
Где в новой, чистой красоте
Рафа́эль дышит на холсте;
Где все холмы красноречивы,
Но где не стыдно, может быть,
Герои, мира властелины,
Ваш Капитолий позабыть
Для капитолия Коринны;
Где жизнь игрива и легка,
Там лучше ей, чего же боле?
Зачем же тяжкая тоска
Сжимает сердце поневоле?
Когда любимая краса
Последним сном смыкает вежды,
Мы полны ласковой надежды,
Что ей открыты небеса,
Что лучший мир ей уготован,
Что славой вечною светло
Там заблестит ее чело;
Но скорбный дух не уврачеван,
Душе стесненной тяжело,
И неутешно мы рыдаем.
Так, сердца нашего кумир,
Ее печально провожаем
Мы в лучший край и лучший мир.

Февраль 1829

129. ЭПИГРАММА

Поверьте мне, Фиглярин-моралист
Нам говорит преумиленным слогом:
«Не должно красть: кто на руку нечист,
Перед людьми грешит и перед богом;
Не надобно в суде кривить душой,
Нехорошо живиться клеветой,
Временщику подслуживаться низко;
Честь, братцы, честь дороже нам всего!»
Ну что ж? Бог с ним! Всё это к правде близко,
А кажется, и ново для него.

Март — первая половина апреля 1829

130. ЭПИГРАММА

В восторженном невежестве своем
На свой аршин он славу нашу мерит;
Но позабыл, что нет клейма на нем,
Что одному задору свет не верит.
Как дружеским он вздором восхищен!
Как бешено своим доволен он!
Он хвалится горячею душою.
Голубчик мой! уверься наконец,
Что из глупцов, известных под луною,
Смешнее всех нам пламенный глупец.

1829

131

Не ослеплен я музою моею:
Красавицей ее не назовут,
И юноши, узрев ее, за нею
Влюбленною толпой не побегут.
Приманивать изысканным убором,
Игрою глаз, блестящим разговором
Ни склонности у ней, ни дара нет;
Но поражен бывает мельком свет
Ее лица необщим выраженьем,
Ее речей спокойной простотой;
И он скорей, чем едким осужденьем,
Ее почтит небрежной похвалой.

1829

132. К. А. СВЕРБЕЕВОЙ

В небе нашем исчезает
И, красой своей горда,
На другое востекает
Переходная звезда;
Но навек ли с ней проститься?
Нет, предписан ей закон:
Рано ль, поздно ль воротиться
На старинный небосклон.

Небо наше покидая,
Ты ли, милая звезда,
Небесам другого края
Передашься навсегда?
Весела красой чудесной,
Потеки в желанный путь;
Только странницей небесной
Воротись когда-нибудь!

1829

133

Что пользы вам от шумных ваших прений?
Кипит война; но что же? Никому
Победы нет! Сказать ли, почему?
Ни у кого ни мыслей нет, ни мнений.
Хотите ли, чтобы народный глас
Мог увенчать кого-нибудь из вас?
Чем холостой словесной перестрелкой
Морочить свет и множить пустяки,
Порадуйте нас дельною разделкой:
Благословясь, схватитесь за виски.

1829

134

Порою ласковую фею
Я вижу в обаянье сна,
И всей наукою своею
Служить готова мне она.
Душой обманутой ликуя,
Мои мечты ей лепечу я;
Но что же? Странно и во сне
Непокупное счастье мне:
Всегда дарам своим предложит
Условье некое она,
Которым, злобно смышлена,
Их отравит иль уничтожит.
Знать, самым духом мы рабы
Земной насмешливой судьбы;

Знать, миру явному дотоле
Наш бедный ум порабощен,
Что переносит поневоле
И в мир мечты его закон!

1829?

135. ОТРЫВОК

Он

Под этой липою густою
Со мною сядь, мой милый друг;
Смотри, как живо всё вокруг!
Какой зеленой пеленою
К реке нисходит этот луг!
Какая свежая дуброва
Глядится с берега другого
В ее веселое стекло!
Как небо чисто и светло!
Всё в тишине; едва смущает
Живую сень и чуткий ток
Благоуханный ветерок;
Он сердцу счастье навевает!
Молчишь ты?

Она

О любезный мой!
Всегда я счастлива с тобой
И каждый миг равно ласкаю.

Он

Я с умиленною душой
Красу творенья созерцаю.
От этих вод, лесов и гор
Я на эфирную обитель,
На небеса подъемлю взор
И думаю: велик зиждитель,
Прекрасен мир! Когда же я
Воспомню тою же порою,
Что в этом мире ты со мною,
Подруга милая моя...
Нет сладким чувствам выраженья,
И не могу в избытке их
Невольных слез благодаренья
Остановить в глазах моих.

Она

Воздай тебе создатель вечный!
О чем еще его молить!
Ах! об одном: не пережить
Тебя, друг милый, друг сердечный.

Он

Ты грустной мыслию меня
Смутила. Так! сегодня зренье
Пленяет свет веселый дня,
Пленяет божие творенье;
Теперь в руке моей твою
Я с чувством пламенным сжимаю,
Твой нежный взор я понимаю,
Твой сладкий голос узнаю...
А завтра... завтра... как ужасно!
Мертвец незрящий и глухой,
Мертвец холодный!.. Луч дневной
В глаза ударит мне напрасно!
Вотще к устам моим прильнешь
Ты воспаленными устами,
Ко мне с обильными слезами,
С рыданьем громким воззовешь:
Я не проснусь! И что мы знаем?
Не только завтра, сей же час
Меня не будет! Кто из нас
В земном блаженстве не смущаем
Такою думой?

Она

Что с тобой?
Зачем твое воображенье
Предупреждает провиденье?
Бог милосерд, друг милый мой!
Здоровы, молоды мы оба,
Еще далёко нам до гроба.

Он

Но всё ж умрем мы наконец,
Все ляжем в землю.

Она

Что же, милый?

Есть бытие и за могилой,
Нам обещал его Творец.
Спокойны будем: нет сомненья,
Мы в жизнь другую перейдем,
Где нам не будет разлученья,
Где все земные опасенья
С земною пылью отряхнем.
Ах! как любить без этой веры!

Он

Так, всемогущий без нее
Нас искушал бы выше меры;
Так, есть другое бытие!
Ужели некогда погубит
Во мне он то, что мыслит, любит,
Чем он созданье довершил,
В чем, с горделивым наслажденьем,
Мир повторил он отраженьем
И сам себя изобразил?
Ужели творческая сила
Лукавым светом бытия
Мне ужас гроба озарила,
И только?.. Нет, не верю я.
Что свет являет? Пир нестройный!
Презренный властвует; достойный
Поник гонимою главой;
Несчастлив добрый, счастлив злой.
Как! не терпящая смешенья
В слепых стихиях вещества,
На хаос нравственный воззренья
Не бросит мудрость божества?
Как! между братьями своими
Мы видим правых и благих,
И, превзойден детьми людскими,
Не прав, не благ создатель их?..
Нет! мы в юдоли испытанья,
И есть обитель воздаянья:
Там, за могильным рубежом,
Сияет день незаходи́мый,
И оправдается незримый
Пред нашим сердцем и умом.

Она

Зачем в такие размышленья
Ты погружаешься душой?
Ужели нужны, милый мой,
Для убежденных убежденья?
Премудрость вышнего творца
Не нам исследовать и мерить;
В смиренье сердца надо верить
И терпеливо ждать конца.
Пойдем; грустна я в самом деле,
И от мятежных слов твоих,
Я признаюсь, во мне доселе
Сердечный трепет не затих.

1829?

136

Люблю я красавицу
С очами лазурными:
О! в них не обманчиво
Душа ее светится!
И если прекрасная
С любовию томною
На милом покоит их,
Он мирно блаженствует,
Вовек не смутит его
Сомненье мятежное.
И кто не доверится
Сиянью их чистому,
Эфирной их прелести,
Небесной души ее
Небесному знаменью?

Страшна мне, друзья мои,
Краса черноокая;
За темной завесою
Душа ее кроется,
Любовник пылает к ней
Любовью тревожною
И взорам двусмысленным
Не смеет довериться.
Какой-то недобрый дух
Качал колыбель ее;

Оделася тьмой она,
Вспылала причудою,
Закралося в сердце к ней
Лукавство лукавого.

⟨1830⟩

137. ЭПИГРАММА

«Он вам знаком. Скажите, кстати,
Зачем он так не терпит знати?»
— «Затем, что он не дворянин».
— «Ага! нет действий без причин.
Но почему чужая слава
Его так бесит?» — «Потому,
Что славы хочется ему,
А на нее бог не дал права,
Что не хвалил его никто,
Что плоский автор он».— «Вот что!»

Между 16 и 31 мая 1830

138. ЭПИГРАММА

Писачка в Фебов двор явился.
«Довольно глуп он! — бог шепнул.—
Но самоучкой он учился,—
Пускай присядет, дайте стул».
И сел он чванно. Нектар носят,
Его, как прочих, кушать просят;
И нахлебался тотчас он,
И загорланил. Но раздался
Тут Фебов голос: «Как! зазнался?
Эй, Надоумко, вывесть вон!»

Май — начало июня 1830

139

Хотя ты малый молодой,
Но пожилую мудрость кажешь:
Ты слова лишнего не скажешь
В беседе самой распашной;

Приязни глупой с первым встречным
Ты сгоряча не заведешь,
К ногам вертушки не падешь
Ты пастушком простосердечным;
Воздержным голосом твоим
Никто крикливо не хвалим,
Никто сердито не осужен.
Всем этим хвастать не спеши:
Не редкий ум на это нужен,
Довольно дюжинной души.

Июнь — июль 1830

140

Бывало, отрок, звонким кликом
Лесное эхо я будил,
И верный отклик в лесе диком
Меня смятенно веселил.
Пора другая наступила,
И рифма юношу пленила,
Лесное эхо заменя.
Игра стихов, игра златая!
Как звуки, звукам отвечая,
Бывало, нежили меня!
Но всё проходит. Остываю
Я и к гармонии стихов —
И как дубров не окликаю,
Так не ищу созвучных слов.

Август — сентябрь 1831

141

Не славь, обманутый Орфей,
Мне Элизийские селенья:
Элизий в памяти моей
И не кропим водой забвенья.
В нем мир цветущей старины
Умерших тени населяют,
Привычки жизни сохраняют
И чувств ее не лишены.

Там жив ты, Дельвиг! Там за чашей
Еще со мною шутишь ты,
Поешь веселье дружбы нашей
И сердца юные мечты.

Октябрь? 1831

142

В дни безграничных увлечений,
В дни необузданных страстей
Со мною жил превратный гений,
Наперсник юности моей.
Он жар восторгов несогласных
Во мне питал и раздувал,
Но соразмерностей прекрасных
В душе носил я идеал:
Когда лишь праздников смятенья
Алкал безумец молодой,
Поэта мерные творенья
Блистали стройной красотой.

Страстей порывы утихают,
Страстей мятежные мечты
Передо мной не затмевают
Законов вечной красоты;
И поэтического мира
Огромный очерк я узрел,
И жизни даровать, о лира!
Твое согласье захотел.

Осень 1831

143

Где сладкий шепот
Моих лесов?
Потоков ропот,
Цветы лугов?
Деревья голы;
Ковер зимы
Покрыл холмы,
Луга и долы.

Под ледяной
Своей корой
Ручей немеет,
Всё цепенеет;
Лишь ветер злой,
Бушуя, воет
И небо кроет
Седою мглой.

Зачем, тоскуя,
В окно слежу я
Метели лёт?
Любимцу счастья
Кров от ненастья
Оно дает.
Огонь трескучий
В моей печи;
Его лучи
И пыл летучий
Мне веселят
Беспечный взгляд.
В тиши мечтаю
Перед живой
Его игрой,
И забываю
Я бури вой.

О провиденье,
Благодаренье!
Забуду я
И дуновенье
Бурь бытия.
Скорбя душою,
В тоске моей,
Склонюсь главою
На сердце к ней,
И под мятежной
Метелью бед,
Любовью нежной
Ее согрет,
Забуду вскоре
Крутое горе,

Как в этот миг
Забыл природы
Гробовый лик
И непогоды
Мятежный крик.

Между октябрем и декабрем 1831

144. Н. М. ЯЗЫКОВУ

Языков, буйства молодого
Певец роскошный и лихой!
По воле случая слепого
Я познакомился с тобой
В те осмотрительные лета,
Когда смиренная диета
Нужна здоровью моему,
Когда и тошный опыт света
Меня наставил кой-чему,
Когда от бурных увлечений
Желанным отдыхом дыша,
Для благочинных размышлений
Созрела томная душа;
Но я люблю восторг удалый,
Разгульный жар твоих стихов.
Дай руку мне: ты славный малый,
Ты в цвете жизни, ты здоров;
И неумеренную радость,
Счастливец, славить ты в правах;
Звучит лирическая младость
В твоих лирических грехах.
Не буду строгим моралистом
Или бездушным журналистом;
Приходит всё своим чредом:
Послушный голосу природы,
Предупредить не должен годы
Ты педантическим пером;
Другого счастия поэтом
Ты позже будешь, милый мой,
И сам искупишь перед светом
Проказы музы молодой.

Первая половина ноября 1831

145. ЯЗЫКОВУ

Бывало, свет позабывая
С тобою, сча́стливым певцом,
Твоя Камена молодая
Венчалась гроздьем и плющом
И песни ветреные пела,
И к ней, безумна и слепа,
То, увлекаясь, пламенела
Любовью грубою толпа,
То, на свободные напевы
Сердяся в ханжестве тупом,
Она ругалась чудной девы
Ей непонятным божеством.
Во взорах пламень вдохновенья,
Огонь восторга на щеках,
Был жар хмельной в ее глазах
Или румянец вожделенья...
Она высоко рождена,
Ей много славы подобает:
Лишь для любовника она
Наряд менады надевает;
Яви ж, яви ее скорей,
Певец, в достойном блеске миру:
Наперснице души твоей
Дай диадиму и порфиру;
Державный сан ее открой,
Да изумит своей красой,
Да величавый взор смущает
Ее злословного судью,
Да в ней хулитель твой познает
Мою царицу и свою.

Конец 1831

146

Мой неискусный карандаш
Набросил вид суровый ваш,
Скалы́ Финляндии печальной;
Средь них, средь этих голых скал,
Я, дни весны моей опальной
Влача, душой изнемогал.

В отчизне я. Перед собою
Я самовольною мечтою
Скалы́ изгнанья оживил
И, их рассеянно рисуя,
Теперь с улыбкою шепчу я:
Вот где унылый я бродил,
Где, на судьбину негодуя,
Я веру в счастье отложил.

1831?

147

«Дитя мое,— она сказала,—
Возьмешь иль нет мое кольцо? —
И головою покачала,
С участьем глядя ей в лицо.—

Знай, друга даст тебе, девица,
Кольцо счастливое мое,
Ты будешь дум его царица,
Его второе бытие.

Но договор судьбы ревнивой
С прекрасным даром сопряжен,
И красоте самолюбивой
Тяжел, я знаю, будет он.

Свет, к ней суровый, не приметит
Ее приветливых очей,
Ее улыбку хладно встретит
И не поймет ее речей.

Вотще ей разум дарованья,
И чувств и мыслей прямота:
Их свет оставит без вниманья,
Обезобразит клевета.

И долго, долго сиротою
Она по сборищам людским
Пойдет с поникшей головою,
Одна с унынием своим.

Но девы нежной не обманет
Мое счастливое кольцо:
Ей судия ее предстанет,
И процветет ее лицо».

Внимала дева молодая,
Невинным взором весела,
И, тайный жребий свой решая,
Кольцо с улыбкою взяла.

Иди ж с надеждою веселой!
Творец тебя благослови
На подвиг долгий и тяжелый
Всезабывающей любви.

И до свершенья договора,
В твои ненастливые дни,
Когда нужна тебе опора,
Мне, друг мой, руку протяни.

⟨*1832*⟩

148

К чему невольнику мечтания свободы?
Взгляни: безропотно текут речные воды
В указанных брегах, по склону их русла;
Ель величавая стоит, где возросла,
Невластная сойти. Небесные светила
Назначенным путем неведомая сила
Влечет. Бродячий ветр не волен, и закон
Его летучему дыханью положен.
Уделу своему и мы покорны будем,
Мятежные мечты смирим иль позабудем;
Рабы разумные, послушно согласим
Свои желания со жребием своим —
И будет счастлива, спокойна наша доля.
Безумец! не она ль, не вышняя ли воля
Дарует страсти нам? и не ее ли глас
В их гласе слышим мы? О, тягостна для нас
Жизнь, в сердце бьющая могучею волною
И в грани узкие втесненная судьбою.

⟨*1832*⟩

149

Наслаждайтесь: всё проходит!
То благой, то строгий к нам,
Своенравно рок приводит
Нас к утехам и к бедам.
Чужд он долгого пристрастья:
Вы, чья жизнь полна красы,
На лету ловите счастья
Ненадежные часы.

Не ропщите: всё проходит
И ко счастью иногда
Неожиданно приводит
Нас суровая беда.
И веселью и печали
На изменчивой земле
Боги праведные дали
Одинакие криле.

⟨1832⟩

150

Храни свое неопасенье,
Свою неопытность лелей;
Перед тобою много дней:
Еще уловишь размышленье.
Как в Смольном цветнике своем,
И в свете сердцу будь послушной,
И монастыркой благодушной
Останься долго, долго в нем.
Пусть, для тебя преображаем
Игрой младенческой мечты,
Он век не рознит с тихим раем,
В котором расцветала ты.

⟨1832⟩

151

Когда исчезнет омраченье
Души болезненной моей?
Когда увижу разрешенье
Меня опутавших сетей?

Когда сей демон, наводящий
На ум мой сон, его мертвящий,
Отыдет, чадный, от меня
И я увижу луч блестящий
Всеозаряющего дня?
Освобожусь воображеньем,
И крылья духа подыму,
И пробужденным вдохновеньем
Природу снова обниму?

Вотще ль мольбы? напрасны ль пени?
Увижу ль снова ваши сени,
Сады поэзии святой?
Увижу ль вас, ее светила?
Вотще! я чувствую: могила
Меня живого приняла
И, легкий дар мой удушая,
На грудь мне дума роковая
Гробовой насыпью легла.

⟨1832⟩

152

Я не любил ее, я знал,
Что не она поймет поэта,
Что на язык души душа в ней без ответа;
Чего ж, безумец, в ней искал?
Зачем стихи мои звучали
Ее восторженной хвалой
И малодушно возвещали
Ее владычество и плен постыдный мой?
Зачем вверял я с умиленьем
Ей все мечты души моей?..
Туман упал с моих очей,
Ее бегу я с отвращеньем!
Так, омраченные вином,
Мы недостойному порою
Жмем руку дружеской рукою,
Приветствуем его с осклабленным лицом,
Красноречиво изливаем
Все думы сердца перед ним,

Ошибки темное создание храним,
Но блажь досадную напрасно укрощаем
Умом взволнованным своим.
Очнувшись, странному забвению дивимся,
И незаконного наперсника стыдимся,
И от противного лица его бежим.

⟨*1832*⟩

153

Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжелое искупит заблужденье
И укротит бунтующую страсть.
Душа певца, согласно излитая,
Разрешена от всех своих скорбей;
И чистоту поэзия святая
И мир отдаст причастнице своей.

⟨*1832*⟩

154

О мысль! Тебе удел цветка:
Он свежий манит мотылька,
Прельщает пчелку золотую,
К нему с любовью мошка льнет
И стрекоза его поет;
Утратил прелесть молодую
И чередой своей поблек —
Где пчелка, мошка, мотылек?
Забыт он роем их летучим,
И никому в нем нужды нет;
А тут зерном своим падучим
Он зарождает новый цвет.

⟨*1832*⟩

155

О, верь: ты, нежная, дороже славы мне.
Скажу ль? Мне иногда докучно вдохновенье:
Мешает мне его волненье
Дышать любовью в тишине!

Я сердце предаю сердечному союзу:
Приди, мечты мои рассей,
Ласкай, ласкай меня, о друг души моей!
И покори себе бунтующую музу.

⟨1832⟩

156

Есть милая страна, есть угол на земле,
Куда, где б ни были: средь буйственного стана,
В садах Армидиных, на быстром корабле,
Браздящем весело равнины океана,
Всегда уносимся мы думою своей,
Где, чужды низменных страстей,
Житейским подвигам предел мы назначаем,
Где мир надеемся забыть когда-нибудь
И вежды старые сомкнуть
Последним, вечным сном желаем.

Я помню ясный, чистый пруд:
Под сению берез ветвистых,
Средь мирных вод его три острова цветут,
Светлея нивами меж рощ своих волнистых;
За ним встает гора, пред ним в кустах шумит
И брызжет мельница. Деревня, луг широкой,
А там счастливый дом... туда душа летит,
Там не хладел бы я и в старости глубокой!
Там сердце томное, больное обрело
Ответ на всё, что в нем горело,
И снова для любви, для дружбы расцвело
И счастье вновь уразумело.
Зачем же томный вздох и слезы на глазах?
Она, с болезненным румянцем на щеках,
Она, которой нет, мелькнула предо мною.

Почий, почий легко под дерном гробовым:
Воспоминанием живым
Не разлучимся мы с тобою!
Мы плачем... но прости! Печаль любви сладка,
Отрадны слезы сожаленья!
Не то холодная, суровая тоска,
Сухая скорбь разуверенья.

⟨1832⟩

157. К. А. ТИМАШЕВОЙ

Вам всё дано с щедротою пристрастной
Благоволительной судьбой:
Владеете вы лирой сладкогласной
И ей созвучной красотой.
Что ж грусть поет блестящая певица?
Что ж томны взоры красоты?
Печаль, печаль — души ее царица,
Владычица ее мечты.
Вам счастья нет, иль, на одно мгновенье
Блеснувши, луч его погас;
Но счастлив тот, кто слышит ваше пенье,
Но счастлив тот, кто видит вас.

⟨1832⟩

158

Своенравное прозванье
Дал я милой в ласку ей:
Безотчетное созданье
Детской нежности моей;
Чуждо явного значенья,
Для меня оно симво́л
Чувств, которых выраженья
В языках я не нашел.
Вспыхнув полною любовью
И любви посвящено,
Не хочу, чтоб суесловью
Было ведомо оно.
Что в нем свету? Но сомненье
Если дух ей возмутит,

О, его в одно мгновенье
Это имя победит.
Но в том мире, за могилой,
Где нет образов, где нет
Для узнанья, друг мой милой,
Здешних чувственных примет,
Им бессмертье я привечу,
Им к тебе воскликну я,
И душе моей навстречу
Полетит душа твоя.

⟨1832⟩

159. ЭПИГРАММА

Кто непременный мой ругатель?
Необходимый мой предатель?
Завистник непременный мой?
Тут думать нечего: родной!
Нам чаще друга враг полезен,—
Подлунный мир устроен так;
О, как же дорог, как любезен
Самой природой данный враг!

Начало 1832

160. МАДОНА

Близ Пизы, в Италии, в поле пустом
(Не зрелось жилья на полмили кругом),

Меж древних развалин стояла лачужка;
С молоденькой дочкой жила в ней старушка.

С рассвета до ночи за тяжким трудом,
А все-таки голод им часто знаком.

И дочка порою душой унывала;
Терпеньем скудея, на бога роптала.

«Не плачь, не крушися ты, солнце мое! —
Тогда утешала старушка ее.—

Не плачь, переменится доля крутая:
Придет к нам на помощь Мадона святая.

Да лик ее веру в тебе укрепит:
Смотри, как приветно с холста он глядит!»

Старушка смиренная с речью такою,
Бывало, крестилась дрожащей рукою,

И с теплою верою в сердце простом,
Она с умиленным и кротким лицом

На живопись темную взор подымала,
Что угол в лачужке без рам занимала.

Но больше и больше нужда их теснит,
Дочь плачет, старушка свое говорит.

С утра по руинам бродил любопытный:
Забылся, красе их дивясь, ненасытный.

Кров нужен ему от полдневных лучей:
Стучится к старушке и входит он к ней.

На лавку садился пришлец утомленный,
Но вспрянул, картиною вдруг пораженный.

«Божественный образ! чья кисть это, чья?
О, как не узнать мне! Корреджий, твоя!

И в хижине этой творенье таится,
Которым и царский дворец возгордится!

Старушка, продай мне картину свою,
Тебе за нее я сто пиастров даю».

«Синьор, я бедна, но душой не торгую;
Продать не могу я икону святую».

«Я двести даю, согласися продать».
— «Синьор, синьор! бедность грешно искушать».

Упрямства не мог победить он в старушке:
Осталась картина в убогой лачужке.

Но вскоре потом по Италии всей
Летучая весть разнеслася о ней.

К старушке моей гость за гостем стучится,
И, дверь отворяя, старушка дивится.

За вход она малую плату берет
И с дочкой своею безбедно живет.

Прекрасно и чудно, о вера живая!
Тебя оправдала Мадона святая.

Начало 1832

161

Весна, весна! Как воздух чист!
    Как ясен небосклон!
Своей лазурию живой
    Слепит мне очи он.

Весна, весна! Как высоко
    На крыльях ветерка,
Ласкаясь к солнечным лучам,
    Летают облака!

Шумят ручьи! Блестят ручьи!
    Взревев, река несет
На торжествующем хребте
    Поднятый ею лед!

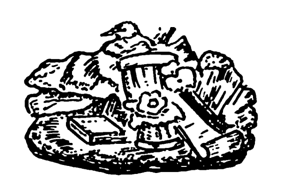
Еще древа обнажены,
    Но в роще ветхий лист,
Как прежде, под моей ногой
    И шумен и душист.

Под солнце самое взвился
    И в яркой вышине
Незримый жавронок поет
    Заздравный гимн весне.

Что с нею, что с моей душой?
    С ручьем она — ручей
И с птичкой — птичка! С ним журчит,
    Летает в небе с ней!

СТИХОТВОРЕНІЯ

ЕВГЕНІЯ БАРАТЫНСКАГО.



МОСКВА.
ВЪ ТИПОГРАФІИ АВГУСТА СЕМЕНА,
ПРИ ИМПЕРАТОРСКОЙ МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКОЙ АКАДЕМІИ.

1827.

Зачем так радует ее
И солнце и весна!
Ликует ли, как дочь стихий,
На пире их она?

Что нужды! счастлив, кто на нем
Забвенье мысли пьет,
Кого далеко от нее
Он, дивный, унесет!

Весна 1832

162. НА СМЕРТЬ ГЁТЕ

Предстала, и старец великий смежил
Орлиные очи в покое;
Почил безмятежно, зане совершил
В пределе земном всё земное!
Над дивной могилой не плачь, не жалей,
Что гения череп — наследье червей.

Погас! но ничто не оставлено им
Под солнцем живых без привета;
На всё отозвался он сердцем своим,
Что просит у сердца ответа;
Крылатою мыслью он мир облетел,
В одном беспредельном нашел он предел.

Всё дух в нем питало: труды мудрецов,
Искусств вдохновенных созданья,
Преданья, заветы минувших веков,
Цветущих времен упованья.
Мечтою по воле проникнуть он мог
И в нищую хату, и в царский чертог.

С природой одною он жизнью дышал:
Ручья разумел лепетанье,
И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье;
Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна.

Изведан, испытан им весь человек!
И ежели жизнью земною
Творец ограничил летучий наш век
И нас за могильной доскою,
За миром явлений, не ждет ничего:
Творца оправдает могила его.

И если загробная жизнь нам дана,
Он, здешней вполне отдышавший
И в звучных, глубоких отзывах сполна
Всё дольное долу отдавший,
К предвечному легкой душой возлетит,
И в небе земное его не смутит.

Апрель — май 1832

163. А. А. Ф⟨УКСОВ⟩ОЙ

Вы дочерь Евы, как другая,
Как перед зеркалом своим
Власы роскошные вседневно убирая,
Их блеском шелковым любуясь перед ним,
Любуясь ясными очами,
Обворожительным лицом
Блестящей грации, пред вами
Живописуемой услужливым стеклом,
Вы угадать смогли свое предназначенье?
Как, вместо женской суеты,
В душе довольной красоты
Затрепетало вдохновенье!
Прекрасный, дивный миг! Возликовал Парнас,
Хариту, как сестру, камены окружили,
От мира мелочей вы взоры отвратили:
Открылся новый мир для вас.
Сей мир свободного мечтанья,
В который входит лишь поэт,
Где исполнение находят все желанья,
Где сладки самые страданья
И где обманов сердцу нет.
Мы встретилися в нем. Блестящими стихами
Вы обольстительно приветили меня.
Я знаю цену им. Дарована судьбами
Мне искра вашего огня.

Забуду ли я вас? Забуду ль ваши звуки?
В душе признательной отозвались они.
Пусть бездну между нас раскроет дух разлуки,
Пускай летят за днями дни:
Пребудет неразлучна с вами
Моя сердечная мечта,
Пока пленяюся я лирными струнами,
Покуда радует мне душу красота.

Между 16 мая и 15 июня 1832

164. ЗАПУСТЕНИЕ

Я посетил тебя, пленительная сень,
Не в дни веселые живительного мая,
Когда, зелеными ветвями помавая,
Манишь ты путника в свою густую тень,
Когда ты веешь ароматом
Тобою бережно взлелеянных цветов,—
Под очарованный твой кров
Замедлил я моим возвратом.
В осенней наготе стояли дерева
И неприветливо чернели;
Хрустела под ногой замерзлая трава,
И листья мертвые, волнуяся, шумели;
С прохладой резкою дышал
В лицо мне запах увяданья;
Но не весеннего убранства я искал,
А прошлых лет воспоминанья.
Душой задумчивый, медлительно я шел
С годов младенческих знакомыми тропами;
Художник опытный их некогда провел.
Увы, рука его изглажена годами!
Стези заглохшие, мечтаешь, пешеход
Случайно протоптал. Сошел я в дом заветный,
Дол, первых дум моих лелеятель приветный!
Пруда знакомого искал красивых вод,
Искал прыгучих вод мне памятной каскады:
Там, думал я, к душе моей
Толпою полетят виденья прежних дней...
Вотще! лишенные хранительной преграды,
Далече воды утекли,
Их ложе поросло травою,

Приют хозяйственный в них улья обрели,
И легкая тропа исчезла предо мною.
Ни в чем знакомого мой взор не обретал!
Но вот по-прежнему лесистым косогором
Дорожка смелая ведет меня... обвал
Вдруг поглотил ее... Я стал
И глубь нежданную измерил грустным взором,
С недоумением искал другой тропы;
Иду я: где беседка тлеет
И в прахе перед ней лежат ее столпы,
Где остов мостика дряхлеет.
И ты, величественный грот,
Тяжело-каменный, постигнут разрушеньем,
И угрожаешь уж паденьем,
Бывало, в летний зной прохлады полный свод!
Что ж? пусть минувшее минуло сном летучим!
Еще прекрасен ты, заглохший Элизей,
И обаянием могучим
Исполнен для души моей.
Тот не был мыслию, тот не был сердцем хладен,
Кто, безымянной неги жаден,
Их своенравный бег тропам сим указал,
Кто, преклоняя слух к таинственному шуму
Сих кленов, сих дубов, в душе своей питал
Ему сочувственную думу.
Давно кругом меня о нем умолкнул слух,
Прияла прах его далекая могила,
Мне память образа его не сохранила,
Но здесь еще живет его доступный дух;
Здесь, друг мечтанья и природы,
Я познаю его вполне:
Он вдохновением волнуется во мне,
Он славить мне велит леса, долины, воды;
Он убедительно пророчит мне страну,
Где я наследую несрочную весну,
Где разрушения следов я не примечу,
Где в сладостной тени невянущих дубров,
У нескудеющих ручьев,
Я тень священную мне встречу.

Осень 1832

165. КНЯЗЮ ПЕТРУ АНДРЕЕВИЧУ ВЯЗЕМСКОМУ

Как жизни общие призывы,
Как увлеченья суеты,
Понятны вам страстей порывы
И обаяния мечты;
Понятны вам все дуновенья,
Которым в море бытия
Послушна наша ладия.
Вам приношу я песнопенья,
Где отразилась жизнь моя:
Исполнена тоски глубокой,
Противоречий, слепоты
И между тем любви высокой,
Любви, добра и красоты.

Счастливый сын уединенья,
Где сердца ветреные сны
И мысли праздные стремленья
Разумно мной усыплены;
Где, другу мира и свободы,
Ни до фортуны, ни до моды,
Ни до молвы мне нужды нет;
Где я простил безумству, злобе
И позабыл, как бы во гробе,
Но добровольно, шумный свет,—
Еще порою покидаю
Я Лету, созданную мной,
И степи мира облетаю
С тоскою жаркой и живой.
Ищу я вас, гляжу: что с вами?
Куда вы брошены судьбами,
Вы, озарявшие меня
И дружбы кроткими лучами,
И светом высшего огня?
Что вам дарует провиденье?
Чем испытует небо вас?
И возношу молящий глас:
Да длится ваше упоенье,
Да скоро минет скорбный час!

Звезда разрозненной плеяды!
Так из глуши моей стремлю
Я к вам заботливые взгляды,
Вам высшей благости молю.

От вас отвлечь судьбы суровой
Удары грозные хочу,
Хотя вам прозою почтовой
Лениво дань мою плачу.

1834

166. ПОСЛЕДНИЙ ПОЭТ

Век шествует путем своим железным;
В сердцах корысть, и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчетливей, бесстыдней занята.
Исчезнули при свете просвещенья
Поэзии ребяческие сны,
И не о ней хлопочут поколенья,
Промышленным заботам преданы.

Для ликующей свободы
Вновь Эллада ожила,
Собрала свои народы
И столицы подняла;
В ней опять цветут науки,
Носит понт торговли груз
И не слышны лиры звуки
В первобытном рае муз!

Блестит зима дряхлеющего мира,
Блестит! Суров и бледен человек;
Но зелены в отечестве Омира
Холмы, леса, брега лазурных рек.
Цветет Парнас! Пред ним, как в оны годы,
Кастальский ключ живой струею бьет;
Нежданный сын последних сил природы,
Возник поэт: идет он и поет.

Воспевает, простодушный,
Он любовь и красоту,
И науки, им ослушной,
Пустоту и суету:
Мимолетные страданья
Легкомыслием целя,
Лучше, смертный, в дни незнанья
Радость чувствует земля.

Поклонникам Урании холодной
Поет, увы! он благодать страстей;
Как пажити Эол бурнопогодный,
Плодотворят они сердца людей;
Живительным дыханием развита,
Фантазия подъемлется от них,
Как некогда возникла Афродита
Из пенистой пучины вод морских.

И зачем не предадимся
Снам улыбчивым своим?
Бодрым сердцем покоримся
Думам робким, а не им!
Верьте сладким убежденьям
Вас ласкающих очес
И отрадным откровеньям
Сострадательных небес!

Суровый смех ему ответом; персты
Он на струнах своих остановил,
Сомкнул уста вещать полуотверсты,
Но гордыя главы не преклонил:
Стопы свои он в мыслях направляет
В немую глушь, в безлюдный край, но свет
Уж праздного вертепа не являет,
И на земле уединенья нет!

Человеку непокорно
Море синее одно:
И свободно, и просторно,
И приветливо оно;
И лица не изменило
С дня, в который Аполлон
Поднял вечное светило
В первый раз на небосклон.

Оно шумит перед скалой Левкада.
На ней певец, мятежной думы полн,
Стоит... в очах блеснула вдруг отрада:
Сия скала... тень Сафо!.. песни волн...
Где погребла любовница Фаона
Отверженной любви несчастный жар,
Там погребет питомец Аполлона
Свои мечты, свой бесполезный дар!

И по-прежнему блистает
Хладной роскошию свет:
Серебрит и позлащает
Свой безжизненный скелет;
Но в смущение приводит
Человека вал морской,
И от шумных вод отходит
Он с тоскующей душой!

⟨1835⟩

167. НЕДОНОСОК

Я из племени духо́в,
Но не житель Эмпирея,
И, едва до облаков
Возлетев, паду, слабея.
Как мне быть? Я мал и плох;
Знаю: рай за их волнами,
И ношусь, крылатый вздох,
Меж землей и небесами.

Блещет солнце — радость мне!
С животворными лучами
Я играю в вышине
И веселыми крылами
Ластюсь к ним, как облачко́;
Пью счастливо воздух тонкой,
Мне свободно, мне легко,
И пою я птицей звонкой.

Но ненастье заревет
И до облак, свод небесный
Омрачившись, вознесет
Прах земной и лист древесный.
Бедный дух! Ничтожный дух!
Дуновенье роковое
Вьет, крутит меня, как пух,
Мчит под небо громовое.

Бури грохот, бури свист!
Вихорь хладный! Вихорь жгучий!
Бьет меня древесный лист,
Удушает прах летучий!

Обращусь ли к небесам,
Оглянуся ли на землю —
Грозно, черно тут и там;
Вопль уныло я подъемлю.

Смутно слышу я порой
Клик враждующих народов,
Поселян беспечных вой
Под грозой их переходов,
Гром войны и крик страстей,
Плач недужного младенца...
Слезы льются из очей:
Жаль земного поселенца!

Изнывающий тоской,
Я мечусь в полях небесных,
Надо мной и подо мной
Беспредельных — скорби тесных!
В тучу прячусь я и в ней
Мчуся, чужд земного края,
Страшный глас людских скорбей
Гласом бури заглушая.

Мир я вижу как во мгле;
Арф небесных отголосок
Слабо слышу... На земле
Оживил я недоносок.
Отбыл он без бытия:
Роковая скоротечность!
В тягость роскошь мне твоя,
О бессмысленная вечность!

⟨1835⟩

168. БОКАЛ

Полный влагой искрометной,
Зашипел ты, мой бокал!
И покрыл туман приветный
Твой озябнувший кристалл...
Ты не встречен братьей шумной,
Буйных оргий властелин,—
Сластолюбец вольнодумный,
Я сегодня пью один.

Чем душа моя богата,
Всё твое, о друг Аи!
Ныне мысль моя не сжата
И свободны сны мои;
За струею вдохновенной
Не рассеян данник твой
Бестолково оживленной
Разногласою толпой.

Мой восторг неосторожный
Не обидит никого,
Не откроет дружбе ложной
Таин счастья моего,
Не смутит глупцов ревнивых
И торжественных невежд
Излияньем горделивых
Иль святых моих надежд!

Вот теперь со мной беседуй,
Своенравная струя!
Упоенья проповедуй
Иль отравы бытия;
Сердцу милые преданья
Благодатно оживи
Или прошлые страданья
Мне на память призови!

О бокал уединенья!
Не усилены тобой
Пошлой жизни впечатленья,
Словно чашей круговой;
Плодородней, благородней,
Дивной силой будишь ты
Откровенья преисподней
Иль небесные мечты.

И один я пью отныне!
Не в людском шуму пророк —
В немотству́ющей пустыне
Обретает свет высок!
Не в бесплодном развлеченье
Общежительных страстей —
В одиноком упоенье
Мгла падет с его очей!

⟨1835⟩

169. АЛКИВИАД

Облокотясь перед медью, образ его отражавшей,
Дланью слегка приподняв кудри златые чела,
Юный красавец сидел, горделиво-задумчив, и, смехом
Горьким смеясь, на него мужи казали перстом;

Девы, тайно любуясь челом благородно-открытым,
Нехотя взор отводя, хмурили брови свои.
Он же глух был и слеп; он, не в меди глядясь,
а в грядущем,
Думал: к лицу ли ему будет лавровый венок?

⟨1835⟩

170

Там, где парил орел двуглавый,
Шумели силы знамена,—
Звезда прекрасной, новой славы
Твоей рукою зажжена!

Искусства мирные трофеи
Ты внес в отеческую сень,—
И был последний день Помпеи
Для русской кисти первый день.

Привет тебе Москвы радушной!
Ты в ней родное сотвори
И, сердца голосу послушный,
Взгляни на Кремль... и кисть бери.

Тебе Москвы бокал заздравный,
Тебя отчизна видит вновь;
Там славу взял художник славный,
А здесь — и слава, и любовь!

Январь 1836

171. ОСЕНЬ

1

И вот сентябрь! Замедля свой восход,
Сияньем хладным солнце блещет,
И луч его в зерцале зыбком вод
Неверным золотом трепещет.
Седая мгла виется вкруг холмов;
Росой затоплены равнины;
Желтеет сень кудрявая дубов,
И красен круглый лист осины;
Умолкли птиц живые голоса,
Безмолвен лес, беззвучны небеса!

2

И вот сентябрь! И вечер года к нам
Подходит. На поля и горы
Уже мороз бросает по утрам
Свои сребристые узоры.
Пробудится ненастливый Эол,
Пред ним помчится прах летучий;
Качаяся, завоет роща, дол
Покроет лист ее падучий,
И набегут на небо облака,
И, потемнев, запенится река.

3

Прощай, прощай, сияние небес!
Прощай, прощай, краса природы!
Волшебного шептанья полный лес,
Златочешуйчатые воды!
Веселый сон минутных летних нег!
Вот эхо в рощах обнаженных
Секирою тревожит дровосек,
И скоро, снегом убеленных,
Своих дубров и холмов зимний вид
Застылый ток туманно отразит.

4

А между тем досужий селянин
Плод годовых трудов сбирает;
Сметав в стога скошéнный злак долин,
С серпом он в поле поспешает.
Гуляет серп. На сжатых бороздах
Снопы стоят в копнах блестящих
Иль тянутся вдоль жнивы, на возах,
Под тяжкой ношею скрыпящих,
И хлебных скирд золотоверхий град
Подъемлется кругом крестьянских хат.

5

Дни сельского, святого торжества!
Овины весело дымятся,
И цеп стучит, и с шумом жернова
Ожившей мельницы крутятся.
Иди, зима! На строги дни себе
Припас оратай много блага:
Отрадное тепло в его избе,
Хлеб-соль и пенистая брага;
С семьей своей вкусит он без забот
Своих трудов благословенный плод!

6

А ты, когда вступаешь в осень дней,
Оратай жизненного поля,
И пред тобой во благостыне всей
Является земная доля;
Когда тебе житейские бразды,
Труд бытия вознаграждая,
Готовятся подать свои плоды,
И спеет жатва дорогая,
И в зернах дум ее сбираешь ты,
Судеб людских достигнув полноты,—

7

Ты так же ли, как земледел, богат?
И ты, как он, с надеждой сеял;
И ты, как он, о дальнем дне наград
Сны позлащенные лелеял...

Любуйся же, гордись восставшим им!
Считай свои приобретенья!..
Увы! к мечтам, страстям, трудам мирским
Тобой скопленные презренья,
Язвительный, неотразимый стыд
Души твоей обманов и обид!

8

Твой день взошел, и для тебя ясна
Вся дерзость юных легковерий;
Испытана тобою глубина
Людских безумств и лицемерий.
Ты, некогда всех увлечений друг,
Сочувствий пламенный искатель,
Блистательных туманов царь — и вдруг
Бесплодных дебрей созерцатель,
Один с тоской, которой смертный стон
Едва твоей гордыней задушéн.

9

Но если бы негодованья крик,
Но если б вопль тоски великой
Из глубины сердечныя возник,
Вполне торжественной и дикой,—
Костями бы среди твоих забав
Содроглась ветреная младость,
Играющий младенец, зарыдав,
Игрушку б выронил, и радость
Покинула б чело его навек,
И заживо б в нем умер человек!

10

Зови ж теперь на праздник честный мир!
Спеши, хозяин тороватый!
Проси, сажай гостей своих за пир
Затейливый, замысловатый!
Что лакомству пророчит он утех!
Каким разнообразьем брашен
Блистает он!.. Но вкус один во всех
И, как могила, людям страшен;
Садись один и тризну соверши
По радостям земным своей души!

11

Какое же потом в груди твоей
Ни водворится озаренье,
Чем дум и чувств ни разрешится в ней
Последнее вихревращенье —
Пусть в торжестве насмешливом своем
Ум бесполезный сердца трепет
Угомонит и тщетных жалоб в нем
Удушит запоздалый лепет,
И примешь ты, как лучший жизни клад,
Дар опыта, мертвящий душу хлад.

12

Иль, отряхнув видения земли
Порывом скорби животворной,
Ее предел завидя издали,
Цветущий брег за мглою черной,
Возмездий край, благовестящим снам
Доверясь чувством обновленным,
И бытия мятежным голосам,
В великом гимне примиренным,
Внимающий, как арфам, коих строй
Превыспренний не понят был тобой,—

13

Пред промыслом оправданным ты ниц
Падешь с признательным смиреньем,
С надеждою, не видящей границ,
И утоленным разуменьем,—
Знай, внутренней своей вовеки ты
Не передашь земному звуку
И легких чад житейской суеты
Не посвятишь в свою науку;
Знай, горняя иль дольная, она
Нам на земле не для земли дана.

14

Вот буйственно несется ураган,
И лес подъемлет говор шумный,
И пенится, и ходит океан,
И в берег бьет волной безумной;
Так иногда толпы ленивый ум
Из усыпления выводит
Глас, пошлый глас, вещатель общих дум,
И звучный отзыв в ней находит,
Но не найдет отзы́ва тот глагол,
Что страстное земное перешел.

15

Пускай, приняв неправильный полет
И вспять стези не обретая,
Звезда небес в бездонность утечет;
Пусть заменит ее другая;
Не явствует земле ущерб одной,
Не поражает ухо мира
Падения ее далекий вой,
Равно как в вы́сотах эфира
Ее сестры новорожденный свет
И небесам восторженный привет!

16

Зима идет, и тощая земля
В широких лысинах бессилья,
И радостно блиставшие поля
Златыми класами обилья,
Со смертью жизнь, богатство с нищетой —
Все образы годины бывшей
Сравняются под снежной пеленой,
Однообразно их покрывшей,—
Перед тобой таков отныне свет,
Но в нем тебе грядущей жатвы нет!

Конец 1836 — начало февраля 1837, ⟨1841⟩

172

Сначала мысль, воплощена
В поэму сжатую поэта,
Как дева юная, темна
Для невнимательного света;
Потом, осмелившись, она
Уже увертлива, речиста,
Со всех сторон своих видна,
Как искушенная жена
В свободной прозе романиста;
Болтунья старая, затем
Она, подъемля крик нахальный,
Плодит в полемике журнальной
Давно уж ведомое всем.

⟨1837⟩

173

Увы! Творец непервых сил!
На двух статейках утомил
Ты кой-какое дарованье!
Лишенный творческой мечты,
Уже, в жару нездравом, ты
Коверкать стал правописанье!

Неаполь возмутил рыбарь,
И, власть прияв, как мудрый царь,
Двенадцать дней он градом правил;
Но что же? — непривычный ум,
Устав от венценосных дум,
Его в тринадцатый оставил.

1838

174

Филида с каждою зимою,
Зимою новою своей,
Пугает большей наготою
Своих старушечьих плечей.

И, Афродита гробовая,
Подходит, словно к ложу сна,
За ризой ризу опуская,
К одру последнему она.

1838 ?

175. ПРИМЕТЫ

Пока человек естества не пытал
Горнилом, весами и мерой,
Но детски вещаньям природы внимал,
Ловил ее зна́менья с верой;

Покуда природу любил он, она
Любовью ему отвечала:
О нем дружелюбной заботы полна,
Язык для него обретала.

Почуя беду над его головой,
Вран каркал ему в опасенье,
И замысла, в пору смирясь пред судьбой,
Воздерживал он дерзновенье.

На путь ему выбежав и́з лесу волк,
Крутясь и подъемля щетину,
Победу пророчил, и смело свой полк
Бросал он на вражью дружину.

Чета голубиная, вея над ним,
Блаженство любви прорицала.
В пустыне безлюдной он не был одним:
Нечуждая жизнь в ней дышала.

Но, чувство презрев, он доверил уму;
Вдался в суету изысканий...
И сердце природы закрылось ему,
И нет на земле прорицаний.

⟨1839⟩

176. ОБЕДЫ

Я не люблю хвастливые обеды,
Где сто обжор, не ведая беседы,
Жуют и спят. К чему такой содом?
Хотите ли, чтоб ум, воображенье,
Привел обед в счастливое броженье,
Чтоб дух играл с играющим вином,
Как знатоки Эллады завещали?
Старайтеся, чтоб гости за столом,
Не менее харит своим числом,
Числа камен у вас не превышали.

⟨1839⟩

177

Мою звезду я знаю, знаю,
И мой бокал
Я наливаю, наливаю,
Как наливал.
Гоненьям рока, злобе света
Смеюся я:
Живет не здесь — в звездах Моэта
Душа моя!
Когда ж коснутся уст прелестных
Уста мои,
Не нужно мне ни звезд небесных,
Ни звезд Аи!

⟨1839⟩

178

Толпе тревожный день приветен, но страшна
Ей ночь безмолвная. Боится в ней она
Раскованной мечты видений своевольных.
Не легкокрылых грез, детей волшебной тьмы,
Видений дня боимся мы,
Людских сует, забот юдольных.

Ощупай возмущенный мрак —
Исчезнет, с пустотой сольется
Тебя пугающий призра́к,
И заблужденью чувств твой ужас улыбнется.

О сын фантазии! Ты благодатных фей
Счастливый баловень, и там, в заочном мире,
Веселый семьянин, привычный гость на пире
Неосязаемых властей!
Мужайся, не слабей душою
Перед заботою земною:

Ей исполинский вид дает твоя мечта;
Коснися облака нетрепетной рукою —
Исчезнет, а за ним опять перед тобою
Обители духо́в откроются врата.

1839

179

Благословен святое возвестивший!
Но в глубине разврата не погиб
Какой-нибудь неправедный изгиб
Сердец людских пред нами обнаживший.
Две области: сияния и тьмы
Исследовать равно стремимся мы.
Плод яблони со древа упадает:
Закон небес постигнул человек!
Так в дикий смысл порока посвящает
Нас иногда один его намек.

1839

180

Были бури, непогоды,
Да младые были годы!

В день ненастный, час гнетучий
Грудь подымет вздох могучий,

Вольной песнью разольется,
Скорбь-невзгода распоется!

А как век-то, век-то старый
Обручится с лютой карой,

Груз двойной с груди усталой
Уж не сбросит вздох удалый,

Не положишь ты на голос
С черной мыслью белый волос!

1839

181

Еще, как патриарх, не древен я; моей
Главы не умастил таинственный елей:
Непосвященных рук бездарно возложенье!
И я даю тебе мое благословенье
Во знаменье ином, о дева красоты!
Под этой розою главой склонись, о ты,
Подобие цветов царицы ароматной,
В залог румяных дней и доли благодатной.

1839

182

На что вы, дни! Юдольный мир явленья
Свои не изменит!
Все ведомы, и только повторенья
Грядущее сулит.

Недаром ты металась и кипела,
Развитием спеша,
Свой подвиг ты свершила прежде тела,
Безумная душа!

И, тесный круг подлунных впечатлений
Сомкнувшая давно,
Под веяньем возвратных сновидений
Ты дремлешь, а оно

Бессмысленно глядит, как утро встанет,
Без ну́жды ночь сменя,
Как в мрак ночной бесплодный вечер канет,
Венец пустого дня!

⟨1840⟩

183

Всегда и в пурпуре и в злате,
В красе негаснущих страстей,
Ты не вздыхаешь об утрате
Какой-то младости твоей.
И юных граций ты прелестней!
И твой закат пышней, чем день!
Ты сладострастней, ты телесней
Живых, блистательная тень!

⟨1840⟩

184. МУДРЕЦУ

Тщетно меж бурною жизнью и хладною смертью, философ,
Хочешь ты пристань найти, имя даешь ей: покой.
Нам, из ничтожества вызванным творчества словом тревожным,
Жизнь для волненья дана: жизнь и волненье — одно.

Тот, кого миновали общие смуты, заботу
Сам вымышляет себе: лиру, палитру, резец;
Мира невежда, младенец, как будто закон его чуя,
Первым стенаньем качать нудит свою колыбель!

⟨1840⟩

185

Всё мысль да мысль! Художник бедный слова!
О жрец ее! Тебе забвенья нет;
Всё тут, да тут и человек, и свет,
И смерть, и жизнь, и правда без покрова.
Резец, орган, кисть! счастлив, кто влеком
К ним чувственным, за грань их не ступая!
Есть хмель ему на празднике мирском!
Но пред тобой, как пред нагим мечом,
Мысль, острый луч, бледнеет жизнь земная!

⟨1840⟩

186. РИФМА

Когда на играх Олимпийских,
На стогнах греческих недавних городов,
Он пел, питомец муз, он пел среди валов
Народа жадного восторгов мусикийских,
В нем вера полная в сочувствие жила.
Свободным и широким метром,
Как жатва, зыблемая ветром,
Его гармония текла.
Толпа вниманием окована была,
Пока, могучим сотрясеньем
Вдруг побежденная, плескала без конца
И струны звучные певца
Дарила новым вдохновеньем.
Когда на греческой амвон,
Когда на римскую трибуну
Оратор восходил и славословил он
Или оплакивал народную фортуну
И устремлялися все взоры на него
И силой слова своего
Вития властвовал народным произволом,—
Он знал, кто он; он ведать мог,
Какой могучий правит бог
Его торжественным глаголом.
А ныне кто у наших лир
Их дружелюбной тайны просит?
Кого за нами в горний мир
Опальный голос их уносит?
Меж нас не ведает поэт,
Его полет высок иль нет!
Сам судия и подсудимый
Пусть молвит: песнопевца жар
Смешной недуг иль высший дар?
Решит вопрос неразрешимый!
Среди безжизненного сна,
Средь гробового хлада света
Своею лаской поэта
Ты, рифма! радуешь одна.
Подобно голубю ковчега,
Одна ему, с родного брега,

Живую ветвь приносишь ты;
Одна с божественным порывом
Миришь его твоим отзывом
И признаешь его мечты!

⟨1840⟩

187. НОВИНСКОЕ

А. С. Пушкину

Она улыбкою своей
Поэта в жертвы пригласила,
Но не любовь ответом ей,
Взор ясный думой осенила.
Нет, это был сей легкий сон,
Сей тонкий сон воображенья,
Что посылает Аполлон
Не для любви — для вдохновенья.

1826, 1841

188

Предрассудок! он обломок
Давней правды. Храм упал;
А руин его потомок
Языка не разгадал.

Гонит в нем наш век надменный,
Не узнав его лица,
Нашей правды современной
Дряхлолетнего отца.

Воздержи младую силу!
Дней его не возмущай,
Но пристойную могилу,
Как уснет он, предку дай.

⟨1841⟩

Что за звуки? Мимоходом
Ты поешь перед народом,
Старец нищий и слепой!
И, как псов враждебных стая,
Чернь тебя обстала злая,
Издеваясь над тобой.

А с тобой издавна тесен
Был союз камены песен,
И беседовал ты с ней,
Безымянной, роковою,
С дня, как в первый раз тобою
Был услышан соловей.

Бедный старец! Слышу чувство
В сильной песне... Но искусство...
Старцев стáрее оно;
Эти радости, печали —
Музыкальные скрыжали
Выражают их давно!

Опрокинь же свой треножник!
Ты избранник, не художник!
Попеченья гений злой
Да отложит в здешнем мире:
Там, быть может, в горнем клире,
Звучен будет голос твой!

⟨1841⟩

190. РОПОТ

Красного лета отрава, муха досадная, что ты
Вьешься, терзая меня, льнешь то к лицу, то к перстам?
Кто одарил тебя жалом, властным прервать самовольно
Мощно-крылатую мысль, жаркой любви поцелуй?
Ты из мечтателя мирного, нег европейских питомца,
Дикого скифа творишь, жадного смерти врага.

⟨1841⟩

191. АХИЛЛ

Влага Стикса закалила
Дикой силы полноту
И кипящего Ахилла
Бою древнему явила
Уязвимым лишь в пяту.

Обречен борьбе верховной,
Ты ли долею своей
Равен с ним, боец духовный,
Сын купели новых дней?

Омовен ее водою,
Знай, страданью над собою
Волю полную ты дал,
И одной пятой своею
Невредим ты, если ею
На живую веру стал!

⟨1841⟩

192. СКУЛЬПТОР

Глубокий взор вперив на камень,
Художник нимфу в нем прозрел,
И пробежал по жилам пламень,
И к ней он сердцем полетел.

Но, бесконечно вожделенный,
Уже не властвует собой:
Неторопливый, постепенный
Резец с богини сокровенной
Кору снимает за корой.

В заботе сладостно-туманной
Не час, не день, не год уйдет,
А с предугаданной, с желанной
Покров последний не падет,

Покуда, страсть уразумея
Под лаской вкрадчивой резца,
Ответным взором Галатея
Не увлечет, желаньем рдея,
К победе неги мудреца.

⟨1841⟩

193

Здравствуй, отрок сладкогласный!
Твой рассвет зарей прекрасной
Озаряет Аполлон!
Честь возникшему пииту!
Малолетнюю хариту
Ранней лирой тронул он.

С утра дней счастлив и славен,
Кто тебе, мой мальчик, равен?
Только жаврoнок живой
Чуткой грудию своею,
С первым солнцем, полный всею
Наступающей весной!

⟨1841⟩

194. С КНИГОЮ «СУМЕРКИ» С. Н. К⟨АРАМЗИНОЙ⟩

Сближеньем с вами на мгновенье
Я очутился в той стране,
Где в *оны дни* воображенье
Так сладко, складно лгало мне.
На ум, на сердце мне излили
Вы благодатные струи
И чудотворно превратили
В день ясный *сумерки* мои.

Конец мая — начало июня 1842

195

Когда твой голос, о поэт,
Смерть в высших звуках остановит,
Когда тебя во цвете лет
Нетерпеливый рок уловит,—

Кого закат могучих дней
Во глубине сердечной тронет?
Кто в отзыв гибели твоей
Стесненной грудию восстонет,

И тихий гроб твой посетит,
И, над умолкшей Аонидой
Рыдая, пепел твой почтит
Нелицемерной панихидой?

Никто! Но сложится певцу
Канон наменишним зоилом,
Уже кадящим мертвецу,
Чтобы живых задеть кадилом.

⟨1843⟩

196. ПИРОСКАФ

Дикою, грозною ласкою полны,
Бьют в наш корабль средиземные волны.
Вот над кормою стал капитан.
Визгнул свисток его. Братствуя с паром,
Ветру наш парус раздался недаром:
Пенясь, глубоко вздохнул океан!

Мчимся. Колеса могучей машины
Роют волнистое лоно пучины.
Парус надулся. Берег исчез.
Наедине мы с морскими волнами;
Только что чайка вьется за нами
Белая, рея меж вод и небес.

Только вдали, океана жилица,
Чайке подобна, вод его птица,
Парус развив, как большое крыло,
С бурной стихией в томительном споре,
Лодка рыбачья качается в море,—
С брегом набрежное скрылось, ушло!

Много земель я оставил за мною;
Вынес я много смятенной душою
Радостей ложных, истинных зол;
Много мятежных решил я вопросов,
Прежде чем руки марсельских матросов
Подняли якорь, надежды симвóл!

С детства влекла меня сердца тревога
В область свободную влажного бога;
Жадные длани я к ней простирал.
Темную страсть мою днесь награждая,
Кротко щадит меня немочь морская,
Пеною здравия брызжет мне вал!

Нужды нет, близко ль, далеко ль до брега!
В сердце к нему приготовлена нега.
Вижу Фетиду: мне жребий благой
Емлет она из лазоревой урны:
Завтра увижу я башни Ливурны,
Завтра увижу Элизий земной!

Апрель 1844
Средиземное море

197. ДЯДЬКЕ-ИТАЛЬЯНЦУ

Беглец Италии, Жьячинто, дядька мой,
Янтарный виноград, лимон ее златой
Тревожно бросивший, корыстью уязвленный,
И в край, суровый край, снегами покровенный,
Приставший с выбором загадочных картин,
Где что-то различал и видел ты один!
Прости наш здравый смысл, прости, мы та из наций,
Где брату вашему всех меньше спекуляций.
Никто их не купил. Вздохнув, оставил ты
В глушь севера тебя привлекшие мечты;
Зато воскрес в тебе сей ум, на всё пригодный,
Твой итальянский ум, и с нашим очень сходный!
Ты счастлив был, когда тебе кое-что дал
Почтенный, для тебя богатый генерал,
Чтоб, в силу строгого с тобою договора,
Имел я благодать нерусского надзора.
Благодаря богов, с тобой за этим вслед
Друг другу не были мы чужды двадцать лет.

Москва нас приняла, расставшихся с деревней.
Ты был вожатый мой в столице нашей древней.
Всех макаронщиков тогда узнал я в ней,
Менто́ра моего полуденных друзей.
Увы! оставив там могилу дорогую,
Опять увидели мы вотчину степную,

Где волею небес узнал я бытие,
О сын Авзонии, для бурь, как ты свое,
Но где, хотя вдали твоей отчизны знойной,
Ты мирный кров обрел, а позже гроб спокойный.

Ты полюбил тебя призревшую семью
И, с жизнию ее сливая жизнь свою,
Ее событьями в глуши чужого края
Былого своего преданья заглушая,
Безропотно сносил морозы наших зим;
В наш краткий летний жар тобою был любим
Овраг под сению дубов прохладовейных.
Участник наших слез и праздников семейных,
В дни траура главой седой ты поникал,
Но ускорял шаги и членами дрожал,
Как в утро зимнее порой, с пределов света,
Питомца твоего, недавнего корнета,
К коленам матери кибитка принесет
И скорбный взор ее минутно оживет.

Но что! радушному пределу благодарный,
Нет! ты не забывал отчизны лучезарной!
Везувий, Колизей, грот Капри, храм Петра
Имел ты на устах от утра до утра,
Именовал ты нам и принцев и прелатов
Земли, где зрел, дивясь, суворовских солдатов,
Входящих вопреки тех пламенных часов,
Что, по твоим словам, со стогнов гонят псов,
В густой пыли побед, в грозе небритых бóрод,
Рядами стройными в классический твой город;
Земли, где год спустя тебе предстал и он,
Тогда Буонапарт, потом Наполеон,
Минутный царь царей, но дивный кондотьери,
Уж зиждущий свои гигантские потери.

Скрывая власти глад, тогда морочил вас
Он звонкой пустотой революцьонных фраз.
Народ ему зажег приветственные плошки;
Но ты, ты не забыл серебряные ложки,
Которые, среди блестящих общих грез,
Ты контрибуции назначенной принес;
Едва ты узнику печальному британца
Простил военную систему корсиканца.

Что на твоем веку, то ль благо, то ли зло,
Возникло, при тебе — в преданье перешло:
В альпийских молниях, приемлемый опалой,
Свой ратоборный дух, на битвы не усталый,
В картечи эпиграмм Суворов испустил.
Злодей твой на скале пустынной опочил;
Ты сам глаза сомкнул, когда мирские сети
Уж поняли тобой взлелеянные дети;
Когда, свидетели превратностей земли,
Они глубокий взор уставить уж могли,
Забвенья чуждые за жизненною чашей,
На итальянский гроб в ограде церкви нашей.

А я, я, с памятью живых твоих речей,
Увидел роскоши Италии твоей!
Во славе солнечной Неаполь твой нагорный,
В парах пурпуровых и в зелени узорной,
Неувядаемой,— амфитеатр дворцов
Над яркой пеленой лазоревых валов;
И Цицеронов дом, и злачную пещеру,
Священную поднесь Камены суеверу,
Где спит великий прах властителя стихов,
Того, кто в сей земле волканов и цветов,
И ужасов, и нег взлелеял эпопею,
Где в мраки Тенара открыл он путь Энею,
Явил его очам чудесный сад утех,
Обитель сладкую теней блаженных тех,
Что, крепки в опытах земного треволненья,
Сподобились вкусить эфирных струй забвенья.

Неаполь! До него среди садов твоих
Сердца мятежные отыскивали их.
Сквозь занавес веков еще здесь помнят виллы
Приюты отдыхов и Мария и Силлы.
И кто, бесчувственный, среди твоих красот
Не жаждал в их раю обресть навес иль грот,
Где б скрылся, не на час, как эти полубоги,
Здесь Лету пившие, чтоб крепнуть для тревоги,
Но чтоб незримо слить в безмыслии златом
Сон неги сладостной с последним, вечным сном.
И в сей Италии, где всё — каскады, розы,
Мелезы, тополи и даже эти лозы,
Чей безымянный лист так преданно обник
Давно из божества разжалованный лик,

Потом с чела его повиснул полусонно,—
Всё беззаботному блаженству благосклонно,
Ужиться ты не мог и, помня сладкий юг,
Дух предал строгому дыханью наших вьюг,
Не сетуя о том, что за пределы мира
Он улететь бы мог на крылиях зефира!

О тайны душ! Меж тем как сумрачный поэт,
Дитя Британии, влачивший столько лет
По знойным берегам груди своей отравы,
У миртов, у олив, у моря и у лавы,
Молил рассеянья от думы роковой,
Владеющей его измученной душой,—
Напрасно! (Уст его, как древле уст Тантала,
Струя желанная насмешливо бежала).
Мир сердцу твоему дал пасмурный навес
Метелью полгода скрываемых небес,
Отчизна тощих мхов, степей и древ иглистых!
О, спи! безгрезно спи в пределах наших льдистых!
Лелей по-своему твой подземельный сон,
Наш бурнодышащий, полночный аквилон,
Не хуже веющий забвеньем и покоем,
Чем вздохи южные с душистым их упоем!

Первая половина июня 1844
Неаполь

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ПЕЧАТАВШИЕСЯ ПРИ ЖИЗНИ БАРАТЫНСКОГО

198. ХОР, ПЕТЫЙ В ДЕНЬ ИМЕНИН ДЯДЕНЬКИ Б⟨ОГДАНА⟩ АНДР⟨ЕЕВИЧА БОРАТЫНСКОГО⟩ ЕГО МАЛЕНЬКИМИ ПЛЕМЯННИЦАМИ ПАНЧУЛИДЗЕВЫМИ

Родству приязни нежной
Мы глас приносим сей,
В ней к счастью путь надежный,
Вся жизнь и сладость в ней.

Хоть чужды нам искусства
С приятством говорить,
Но сердца могут чувства
Дар тщетный заменить.

Из благ богатых света,
Усердьем лишь одним,
Чем можем в детски лета,
Мы праздник сей почтим.

Весны в возобновленье!
Средь рощей, средь полей
Так птички возвращенье
Поют цветущих дней.

Увы! теперь природы
Уныл, печален вид;
Хлад зимней непогоды
Небесный кров мрачит.

И в вёдро, и в ненастье
Гнетут печали злых,—
Но истинное счастье
Нигде, как в нас самих.

Смотрите, как сияет
Во всех усердья дух,
Как дышит всё, блистает
Веселостью вокруг.

Средь грозных бурь смятений,
Хоть гром вдали шумит,
Душевных наслаждений
Ничто не возмутит.

Хоть время невозвратно
Всех благ лишает нас,
Увы! хоть слишком внятно
Судеб сей слышен глас,—

О, пусть всегда меж нами
Жизнь ваша лишь течет
И дружба под цветами
Следы сокроет лет.

23 января 1817

199. МОЯ ЖИЗНЬ

Люблю за дружеским столом
С моей семьею домовитой
О настоящем, о былом
Поговорить душой открытой.

Люблю пиров веселый шум
За полной чашей райской влаги,
Люблю забыть для сердца ум
В пылу вакхической отваги.

Люблю с красоткой записной
На ложе неги и забвенья
По воле шалости младой
Разнообразить наслажденья.

1818 или 1819

200

Полуразрушенный, я сам себе не нужен
И с девой в сладкий бой вступаю безоружен.

1818 или 1819

201

Мы будем пить вино по гроб
И верно попадем в святые:
Нам явно показал потоп,
Что воду пьют одни лишь злые.

1818 или 1819

202

Здесь погребен армейский капитан.
Он честно жил и грешен не во многом:
    Родился, спал и умер пьян —
    Вот весь ответ его пред богом.

1818 или 1819

203

В пустых расчетах, в грубом сне
Пускай другие время губят.
Честны́е люди — верьте мне —
Меня и жизнь мою полюбят.

1818 или 1819

204

    Так, он ленивец, он негодник,
Он только что поэт, он человек пустой;
А ты, ты ябедник, шпион, торгаш и сводник.
    О! человек ты деловой.

1820?

205

Я унтер, други! Точно так,
Но не люблю я бить баклуши,
Всегда исправен мой тесак,
Так берегите — уши!

1822?

206. В АЛЬБОМ

Когда б вы менее прекрасной
Случайно слыли у молвы;
Когда бы прелестью опасной
Не столь опасны были вы...
Когда б еще сей голос нежный
И томный пламень сих очей
Любовью менее мятежной
Могли грозить душе моей;
Когда бы больше мне на долю
Даров послал цитерский бог,—
Тогда бы дал я сердцу волю,
Тогда любить я вас бы мог.
Предаться нежному участью
Мне тайный голос не велит...
И удивление, по счастью,
От стрел любви меня хранит.

1822?

207

Младые грации сплели тебе венок
И им невинную стыдливость увенчали.
В него вплести и мне нельзя ли
На память миртовый листок?
Хранимый дружбою, он, верно, не увянет,
Он лучших чувств моих залогом будет ей,
Но друга верного и были прежних дней
Да поздно милая вспомянет,
Да поздно юных снов утратит легкий рой
И скажет в тихий час случайного раздумья:
«Не другом красоты, не другом остроумья —
Он другом был меня самой».

1823 или 1824
Фридрихсгам

208

Когда придется как-нибудь
В досужный час воспомянуть
Вам о Финляндии суровой,
О финских чудных щеголях,
О их безужинных балах
И о Варваре Аргуновой —
Не позабудьте обо мне,
Поэте сиром и безродном,
В чужой, далекой стороне,
Сердитом, грустном и голодном.
А вам, Анеточка моя,
Что пожелать осмелюсь я?
О! наилучшего, конечно:
Такой пребыть, какою вас
Сегодня вижу я на час,
Какою помнить буду вечно.

15 февраля 1824
Роченсальм

209

Отчизны враг, слуга царя,
К бичу народов — самовластью —
Какой-то адскою любовию горя,
Он незнаком с другою страстью.
Скрываясь от очей, злодействует впотьмах,
Чтобы злодействовать свободней.
Не нужно имени: у всех оно в устах,
Как имя страшное владыки преисподней.

Конец 1824 — начало 1825

210

Войной журнальною бесчестит без причины
Он дарования свои.
Не так ли славный вождь и друг Екатерины —
Орлов — еще любил кулачные бои?

Апрель 1825

211

Я был любим, твердила ты
Мне часто нежные обеты,
Хранят бесценные мечты
Слова, душой твоей согреты.
Нет, не могу не верить им:
Я был любим, я был любим!

Всё тот же я, любви моей
Судьба моя не изменила;
Я помню счастье прежних дней,
Хоть, может быть, его забыла,
Забыла милая моя,—
Но тот же я, всё тот же я!

К свиданью с ней мне нет пути.
Увы! когда б предстал я милой,
Конечно, в жалость привести
Ее бы мог мой взор унылый.
Одна мечта души моей —
Свиданье с ней, свиданье с ней.

Хитра любовь: никак она
Мне мой романс теперь внушает;
Ее волнения полна,
Моя любезная читает,
Любовью прежней дышит вновь.
Хитра любовь, хитра любовь!

30 ноября или 1 декабря 1825

212

Простите, спорю невпопад
Я с вашей музою прелестной,
Но мне Парни ни сват, ни брат,
Совсем он не отец мой крестный.
Он мне, однако же, знаком:
Цитерских истин возвеститель,
Любезный князь, не спорю в том,
Был вместе с вами мой учитель.

Конец 1825

213

В своих листах душонкой ты кривишь,
Уродуешь и мненья и сказанья,
Приятельски дурачеству кадишь,
Завистливо поносишь дарованья;
Дурной твой нрав дурной приносит плод.
«Срамец! срамец! — все шепчут.— Вот известье!»
— «Эх, не тужи! Уж это мой расчет:
Подписчики мне платят за бесчестье».

Середина января 1826

214. ОДА

Ни горы злата и сребра,
Ни неги сласть, ни сила власти
Душой желанного добра
Нам не дадут, покуда страсти,
Волнуя чувства каждый час,
Ненасыти́мы будут в нас.

Блаженство полное ни в чем
Нам не даровано богами,
Чтоб, руководствуясь умом,
Его создать могли мы сами,
Всегда тая в себе самих
Прямой источник благ своих.

1826

215

Откуда взял Василий непотешный
Потешного Буянова? Хитрец
К лукавому прибег с мольбою грешной.
«Я твой,— сказал,— но будь родной отец,
Но помоги». Плодятся без усилья,
Горят, кипят задорные стихи,
И складные страницы у Василья
Являются в тетрадях чепухи.

Конец 1826

216

Хотите ль знать все таинства любви?
Послушайте девицу пожилую:
Какой огонь она родит в крови!
Какую власть дарует поцелую!
Какой язык пылающим очам!
Как миг один рассудок побеждает —
По пальцам всё она расскажет вам.
«Ужели всё она по пальцам знает?»

Конец 1826

217. С. Л. ЭНГЕЛЬГАРДТ

Нежданное родство с тобой даруя,
О, как судьба была ко мне добра!
Какой сестре тебя уподоблю я,
Ее рукой мне данная сестра!
Казалося, любовь в своем пристрастье
Мне счастие дала до полноты;
Умножила ты дружбой это счастье,
Его могла умножить только ты.

1826?

218

Мой старый пес! Ты псом окончил век!
Я знал тебя ласкателем и вором.
Когда б ты был не пес, а человек,
Ты б околел, быть может, сенатóром.

1826 или 1827

219

Убог умом, но не убог задором,
Блестящий Феб, священный идол твой
Он повредил: попачкал мерным вздором
Его потом и восхищен собой.

Чему же рад нахальный хвастунишка?
Скажи ему, правдивый Аполлон,
Что твой кумир разбил он, как мальчишка,
И, как щенок, его изгадил он.

Начало 1827

220

Грузинский князь, газетчик русской
Героя трусом называл.
Не эпиграммою французской
Ему наш воин отвечал —
На глас войны летит он к Куру,
Спасает родину князька,
А князь наш держит корректуру
Реляционного листка.

Конец февраля — начало марта 1827

221

Прости, мой милый! Так создать
Меня умела власть господня:
Люблю до завтра отлагать,
Что сделать надобно сегодня!

Апрель? 1828

222

Не растравляй моей души
Воспоминанием былого:
Уж я привык грустить в тиши,
Не знаю чувства я другого.
Во цвете самых пылких лет
Всё испытать душа успела,
И на челе печали след
Судьбы рука запечатлела.

1832?

223. Н. Е. Б...

Двойною прелестью опасна,
Лицом задумчива, речами весела,
Как одалиска, ты прекрасна,
И, как пастушка, ты мила.
Душой невольно встрепенется,
Кто на красавицу очей ни возведет:
Холодный старец улыбнется,
А пылкий юноша вздохнет.

1832?

224

Вот верный список впечатлений
И легкий и глубокий след
Страстей, порывов юных лет,
Жизнь родила его — не гений.
Подобен он скрыжали той,
Где пишет ангел неподкупный
Прекрасный подвиг и преступный —
Всё, что творим мы под луной.
Я много строк моих, о Лета!
В тебе желал бы окунуть
И утаить их как-нибудь
И от себя и ото света...
Но уж свое они рекли,
А что прошло, то непреложно.
Года волненья протекли,
И мне перо оставить можно.
Теперь я знаю бытие.
Одно желание мое —
Покой, домашние отрады.
И, погружен в самом себе,
Смеюсь я людям и судьбе,
Уж не от них я жду награды.
Но что? С бессонною душой,
С душою чуткою поэта
Ужели вовсе чужд я света?

Проснуться может пламень мой,
Еще, быть может, я возвышу
Мой голос, родина моя!
Ни бед твоих я не услышу,
Ни славы, струны утая.

Весна 1834

225. НА***

В руках у этого педанта
Могильный заступ, не перо,
Журнального негоцианта
Как раз подроет он бюро.
Он громогласный запевала,
Но запевала похорон...
Похоронил он два журнала,
И третий похоронит он.

⟨1840⟩

226

На всё свой ход, на всё свои законы.
Меж люлькою и гробом спит Москва;
Но и до ней, глухой, дошла молва,
Что скучен вист и веселей салоны
Отборные, где есть уму простор,
Где властвует не вист, а разговор.
И погналась за модой новосветской,
Но погналась старуха не путем:
Салоны есть,— но этот смотрит детской,
А тот, увы! — глядит гошпиталём.

1840?

227. КОТТЕРИИ

Братайтеся, к взаимной обороне
Ничтожностей своих вы рождены;
Но дар прямой не брат у вас в притоне,
Бездарные писцы-хлопотуны!

Наоборот, союзным на благое,
Реченного достойные друзья,
«Аминь, аминь,— вещал он вам,— где трое
Вы будете — не буду с вами я».

⟨1841⟩

228

Спасибо злобе хлопотливой,
Хвала вам, недруги мои!
Я, не усталый, но ленивый,
Уж пил летийские струи.

Слегка седеющий мой волос
Любил за право на покой;
Но вот к борьбе ваш дикий голос
Меня зовет и будит мой.

Спасибо вам, я не в утрате!
Как богоизбранный еврей,
Остановили на закате
Вы солнце юности моей!

Спасибо! молодость вторую,
И человеческим сынам
Досель безвестную, пирую
Я в зависть Флакку, в славу вам!

1842?

229. МОЛИТВА

Царь небес! Успокой
Дух болезненный мой!
Заблуждений земли
Мне забвенье пошли
И на строгий Твой рай
Силы сердцу подай.

1842 или 1843

230. НА ПОСЕВ ЛЕСА

Опять весна; опять смеется луг,
И весел лес своей младой одеждой,
И поселян неутомимый плуг
Браздит поля с покорством и надеждой.

Но нет уже весны в душе моей,
Но нет уже в душе моей надежды,
Уж дольний мир уходит от очей,
Пред вечным днем я опускаю вежды.

Уж та зима главу мою сребрит,
Что греет сев для будущего мира,
Но праг земли не перешел пиит,—
К ее сынам еще взывает лира.

Велик господь! Он милосерд, но прав:
Нет на земле ничтожного мгновенья;
Прощает он безумию забав,
Но никогда пирам злоумышленья.

Кого измял души моей порыв,
Тот вызвать мог меня на бой кровавый,
Но подо мной, сокрытый ров изрыв,
Свои рога венчал он падшей славой!

Летел душой я к новым племенам,
Любил, ласкал их пустоцветный колос,
Я дни извел, стучась к людским сердцам,
Всех чувств благих я подавал им голос.

Ответа нет! Отвергнул струны я,
Да хрящ другой мне будет плодоносен!
И вот ему несет рука моя
Зародыши елей, дубов и сосен.

И пусть! Простяся с лирою моей,
Я верую: ее заменят эти,
Поэзии таинственных скорбей
Могучие и сумрачные дети.

1842 ?

231

Люблю я вас, богини пенья,
Но ваш чарующий наход,
Сей сладкий трепет вдохновенья,—
Предтечей жизненных невзгод.

Любовь камен с враждой Фортуны —
Одно. Молчу! Боюся я,
Чтоб пéрсты, падшие на струны,
Не пробудили вновь перуны,
В которых спит судьба моя.

И отрываюсь, полный муки,
От музы, ласковой ко мне.
И говорю: до завтра, звуки!
Пусть день угаснет в тишине!

1843 ?

232

Небо Италии, небо Торквата,
Прах поэтический древнего Рима.
Родина неги, славой богата,
Будешь ли некогда мною ты зрима?
Рвется душа, нетерпеньем объята,
К гордым остаткам падшего Рима!
Снятся мне долы, леса благовонны,
Снятся упадших чертогов колонны!

1843 ?

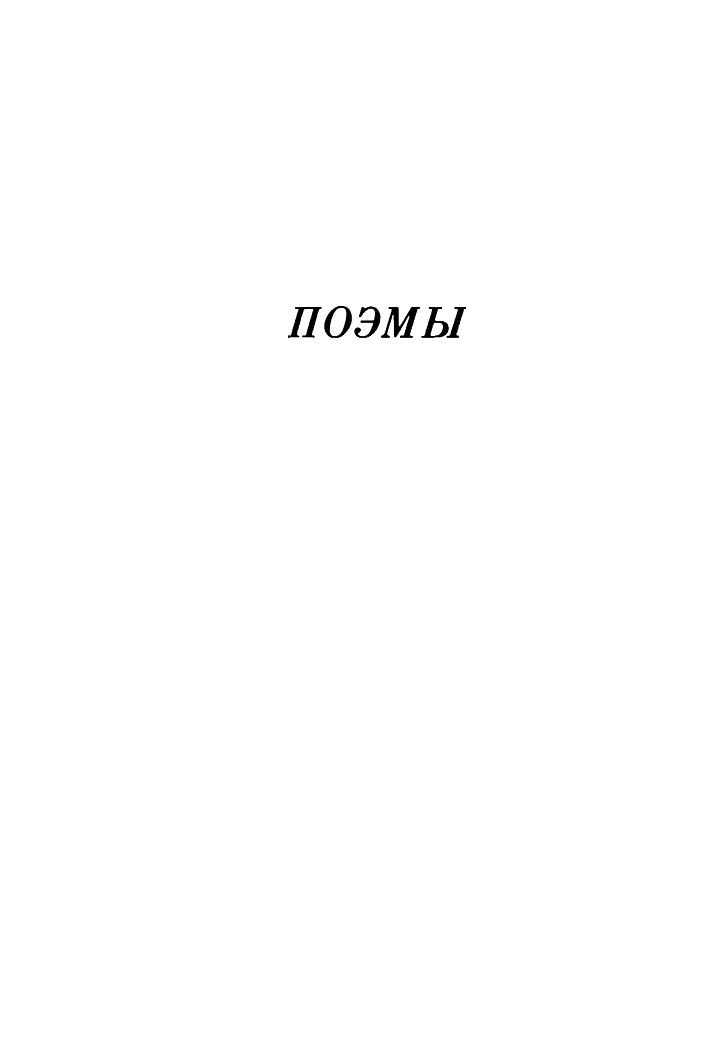
233

Когда, дитя и страсти и сомненья,
Поэт взглянул глубоко на тебя,
Решалась ты делить его волненья,
В нем таинство печали полюбя.

Ты, смелая и кроткая, со мною
В мой дикий ад сошла рука с рукою:
Рай зрела в нем чудесная любовь.

О, сколько раз к тебе, святой и нежной,
Я приникал главой моей мятежной,
С тобой себе и небу веря вновь.

Январь — февраль 1844



ПОЭМЫ

234. ПИРЫ

Друзья мои! я видел свет,
На всё взглянул я верным оком.
Душа полна была сует,
И долго плыл я общим током...
Безумству долг мой заплачен,
Мне что-то взоры прояснило;
Но, как премудрый Соломон,
Я не скажу: всё в мире сон!
Не всё мне в мире изменило:
Бывал обманут сердцем я,
Бывал обманут я рассудком,
Но никогда еще, друзья,
Обманут не был я желудком.

Признаться каждый должен в том,
Любовник, иль поэт, иль воин,—
Лишь беззаботный гастроном
Названья мудрого достоин.
Хвала и честь его уму!
Дарами, нужными ему,
Земля усеяна роскошно.
Пускай герою моему,
Пускай, друзья, порою тошно,
Зато не грустно: горя чужд
Среди веселостей вседневных,
Не знает он душевных нужд,
Не знает он и мук душевных.

Трудясь над смесью рифм и слов,
Поэты наши чуть не плачут;
Своих почтительных рабов
Порой красавицы дурачат;

Иной храбрец, в отцовский дом
Явясь уродом с поля славы,
Подозревал себя глупцом,—
О бог стола, о добрый Ком,
В твоих утехах нет отравы!
Прекрасно лирою своей
Добиться памяти людей,
Служить любви еще прекрасней,
Приятно драться, но, ей-ей,
Друзья, обедать безопасней!

Как не любить родной Москвы!
Но в ней не град первопрестольный,
Не золоченые главы,
Не гул потехи колокольной,
Не сплетни вестницы-молвы
Мой ум пленили своевольный.
Я в ней люблю весельчаков,
Люблю роскошное довольство
Их продолжительных пиров,
Богатой знати хлебосольство
И дарованья поваров.
Там прямо веселы беседы;
Вполне уважен хлебосол;
Вполне торжественны обеды;
Вполне богат и лаком стол.
Уж он накрыт, уж он рядами
Несчетных блюд отягощен
И беззаботными гостями
С благоговеньем окружен.
Еще не сели; всё в молчанье;
И каждый гость вблизи стола
С веселой ясностью чела
Стоит в роскошном ожиданье,
И сквозь прозрачный, легкий пар
Сияют лакомые блюды,
Златых плодов, десерта груды...
Зачем удел мой слабый дар!
Но так весной ряды курганов
При пробужденных небесах
Сияют в пурпурных лучах
Под дымом утренних туманов.
Садятся гости. Граф и князь —
В застольном деле все удалы,

И осушают, не ленясь,
Свои широкие бокалы;
Они веселье в сердце льют,
Они смягчают злые толки;
Друзья мои, где гости пьют,
Там речи вздорны, но не колки.
И началися чудеса;
Смешались быстро голоса;
Собранье глухо зашумело;
Своих собак, своих друзей,
Певцов, героев хвалят смело;
Вино разнежило гостей
И даже ум их разогрело.
Тут всё торжественно встает,
И каждый гость, как муж толковый,
Узнать в гостиную идет,
Чему смеялся он в столовой.

Меж тем одним ли богачам
Доступны праздничные чаши?
Немудрены пирушки наши,
Но не уступят их пирам.
В углу безвестном Петрограда,
В тени древес, во мраке сада,
Тот домик помните ль, друзья,
Где наша верная семья,
Оставя скуку за порогом,
Соединялась в шумный круг
И без чинов с румяным богом
Делила радостный досуг?
Вино лилось, вино сверкало;
Сверкали блестки острых слов,
И веки сердце проживало
В немного пламенных часов.
Стол покрывала ткань простая;
Не восхищалися на нем
Мы ни фарфорами Китая,
Ни драгоценным хрусталем;
И между тем сынам веселья
В стекло простое бог похмелья
Лил через край, друзья мои,
Свое любимое Аи.
Его звездящаяся влага
Недаром взоры веселит:

В ней укрывается отвага,
Она свободою кипит,
Как пылкий ум, не терпит плена,
Рвет пробку резвою волной,
И брызжет радостная пена,
Подобье жизни молодой.
Мы в ней заботы потопляли
И средь восторженных затей
«Певцы пируют! — восклицали.—
Слепая чернь, благоговей!»

Любви слепой, любви безумной
Тоску в душе моей тая,
Насилу, милые друзья,
Делить восторг беседы шумной
Тогда осмеливался я.
«Что потакать мечте унылой,—
Кричали вы.— Смелее пей!
Развеселись, товарищ милый,
Для нас живи, забудь о ней!»
Вздохнув, рассеянно послушный,
Я пил с улыбкой равнодушной;
Светлела мрачная мечта,
Толпой скрывалися печали,
И задрожавшие уста
«Бог с ней!» невнятно лепетали.

И где ж изменница-любовь?
Ах, в ней и грусть — очарованье!
Я испытать желал бы вновь
Ее знакомое страданье!
И где ж вы, резвые друзья,
Вы, кем жила душа моя!
Разлучены судьбою строгой,—
И каждый с ропотом вздохнул,
И брату руку протянул,
И вдаль побрел своей дорогой;
И каждый в горести немой,
Быть может, праздною мечтой
Теперь былое пролетает
Или за трапезой чужой
Свои пиры воспоминает.

О, если б теплою мольбой
Обезоружив гнев судьбины,
Перенестись от скал чужбины
Мне можно было в край родной!
(Мечтать дозволено поэту.)
У вод домашнего ручья
Друзей, разбросанных по свету,
Соединил бы снова я.
Дубравой темной осененный,
Родной отцам моих отцов,
Мой дом, свидетель двух веков,
Поникнул кровлею смиренной.
За много лет до наших дней
Там в чаши чашами стучали,
Любили пламенно друзей
И с ними шумно пировали...

Мы, те же сердцем в век иной,
Сберемтесь дружеской толпой
Под мирный кров домашней сени:
Ты, верный мне, ты, Д⟨ельви⟩г мой,
Мой брат по музам и по лени,
Ты, П⟨ушки⟩н наш, кому дано
Петь и героев, и вино,
И страсти молодости пылкой,
Дано с проказливым умом
Быть сердца верным знатоком
И лучшим гостем за бутылкой.
Вы все, делившие со мной
И наслажденья и мечтанья,
О, поспешите в домик мой
На сладкий пир, на пир свиданья!

Слепой владычицей сует
От колыбели позабытый,
Чем угостит анахорет,
В смиренной хижине укрытый?
Его пустынничий обед
Не будет лакомый, но сытый.
Веселый будет ли, друзья?
Со дня разлуки, знаю я,
И дни и годы пролетели,
И разгадать у бытия
Мы много тайного успели;

Что ни ласкало в старину,
Что прежде сердцем ни владело —
Подобно утреннему сну,
Всё изменило, улетело!
Увы! на память нам придут
Те песни за веселой чашей,
Что на Парнасе берегут
Преданья молодости нашей:
Собранье пламенных замет
Богатой жизни юных лет,
Плоды счастливого забвенья,
Где воплотить умел поэт
Свои живые сновиденья...
Не обрести замены им!
Чему же веру мы дадим?
Пирам! В безжизненные лета
Душа остылая согрета
Их утешением живым.
Пускай навек исчезла младость —
Пируйте, други: стуком чаш
Авось приманенная радость
Еще заглянет в угол наш.

1820, ⟨1832⟩

235. ЭДА

«Чего робеешь ты при мне,
Друг милый мой, малютка Эда?
За что, за что наедине
Тебе страшна моя беседа?
Верь, не коварен я душой;
Там, далеко, в стране родной,
Сестру я добрую имею,
Сестру чудесной красоты;
Я нежно, нежно дружен с нею,
И на нее похожа ты.
Давно... что делать?.. но такая
Уж наша доля полковая!
Давно я, Эда, не видал
Родного сча́стливого края,
Сестры моей не целовал!
Лицом она, будь сердцем ею,
Мечте моей не измени
И мне любовию твоею
Ее любовь напомяни!
Мила ты мне. Веселье, муку —
Всё жажду я делить с тобой;
Не уходи, оставь мне руку!
Доверься мне, друг милый мой!»

С улыбкой вкрадчивой и льстивой
Так говорил гусар красивый
Финляндке Эде. Русь была
Ему отчизной. В горы Финна
Его недавно завела
Полков бродячая судьбина.

Эда.

Часть 1.ая

Чего робеешь ты при мне
Друг милый мой, малютка Эда!
За что, за что наедине
Тебе страшна моя беседа!
Вкрай неспособен я душою
К презренным умыслам разврата.
Ты как сестра любима мной,
О, полюби меня как брата!
В родной, далекой стороне
Сестру я милую покинул:
Черты лица у вас одни,
Я нежно, нежно дружен с нею;
Но что? ты плачешь? плачу я!

Суровый край, его красам,
Пугаяся, дивятся взоры;
На горы каменные там
Поверглись каменные горы;
Синея, всходят до небес
Их своенравные громады;
На них шумит сосновый лес;
С них бурно льются водопады;
Там дол очей не веселит;
Гранитной лавой он облит;
Главу одевши в мох печальный,
Огромным сторожем стоит
На нем гранит пирамидальный;
По дряхлым скалам бродит взгляд;
Пришлец исполнен смутной думы.
Не мира ль давнего лежат
Пред ним развалины угрюмы?
В доселе сча́стливой глуши,
Отца простого дочь простая,
Красой лица, красой души
Блистала Эда молодая.
Прекрасней не было в горах:
Румянец нежный на щеках,
Летучий стан, власы златые
В небрежных кольцах по плечам,
И очи бледно-голубые,
Подобно финским небесам.

День гаснул, скалы позлащая,
Пред хижиной своей одна
Сидела дева молодая,
Лицом спокойна и ясна.
Подсел он скромно к деве скромной,
Завел он кротко с нею речь;
Ее не мыслила пресечь
Она в задумчивости томной,
Внимала слабым сердцем ей,—
Так роза первых вешних дней
Лучам неверным доверяет:
Почуя теплый ветерок,
Его лобзаньям открывает
Благоуханный свой шипок
И не предвидит хлад суровый,
Мертвящий хлад, дохнуть готовый.

В руке гусара моего
Давно рука ее лежала,
В забвенье сладком, у него
Она ее не отнимала.
Он к сердцу бедную прижал;
Взор укоризны, даже гнева
Тогда поднять хотела дева,
Но гнева взор не выражал.
Веселость ясная сияла
В ее младенческих очах,
И наконец в таких словах
Ему финляндка отвечала:
«Ты мной давно уже любим,
Зачем же нет? Ты добродушен,
Всегда заботливо послушен
Малейшим прихотям моим.
Они докучливы бывали;
Меня ты любишь, вижу я,—
Душа признательна моя.
Ты мне любезен: не всегда ли
Я угождать тебе спешу?
Я с каждым утром приношу
Тебе цветы; я подарила
Тебе кольцо; всегда была
Твоим весельем весела;
С тобою грустным я грустила.
Что ж? Я и в этом погрешила:
Нам строго, строго не велят
Дружиться с вами. Говорят,
Что вероломны, злобны все вы,
Что вас бежать должны бы девы,
Что как-то губите вы нас,
Что пропадешь, когда полюбишь;
И ты, я думала не раз,
Ты, может быть, меня погубишь».
— «Я твой губитель, Эда? Я?
Тогда пускай мне казнь любую
Пошлет небесный судия!
Нет, нет! я с тем тебя целую!»
— «На что? зачем? какой мне стыд!» —
Младая дева говорит.
Уж поздно. Встать, бежать готова
С негодованием она,
Но держит он. «Постой! Два слова!

Постой! Ты взорами сурова,
Ужель ты мной оскорблена?
О нет, останься: миг забвенья,
Минуту шалости прости!»
— «Я не сержуся; но пусти!»
— «Твой взор исполнен оскорбленья,
И ты лицом не можешь лгать:
Позволь, позволь для примиренья
Тебя еще поцеловать».
— «Оставь меня!»
— «Мой друг прекрасный!
И за ребяческую блажь
Ты неизвестности ужасной
Меня безжалостно предашь!
И не поймешь мое страданье!
И такова любовь твоя!
Друг милый мой, одно лобзанье,
Одно, иль ей не верю я!»

И дева бедная вздохнула,
И милый лик свой, до того
Отвороченный от него,
К нему тихонько обернула.

Как он самим собой владел!
С какою медленностью томной,
И между тем как будто скромной,
Напечатлеть он ей умел
Свой поцелуй! Какое чувство
Ей в грудь младую влил он им!
И лобызанием таким
Владеет хладное искусство!
Ах, Эда, Эда! Для чего
Такое долгое мгновенье
Во влажном пламени его
Пила ты страстное забвенье?
Теперь, полна в душе своей
Желанья смутного заботой,
Ты освежительной дремотой
Уж не сомкнешь своих очей;
Слетят на ложе сновиденья,
Тебе безвестные досель,
И долго жаркая постель
Тебе не даст успокоенья.

На камнях розовых твоих
Весна игриво засветлела,
И ярко-зелен мох на них,
И птичка весело запела,
И по гранитному одру
Светло бежит ручей сребристый,
И лес прохладою душистой
С востока веет поутру;
Там за горою дол таится,
Уже цветы пестреют там;
Уже черемух фимиам
Там в чистом воздухе струится,
Своею негою страшна
Тебе волшебная весна.
Не слушай птички сладкогласной!
От сна восставшая, с крыльца
К прохладе утренней лица
Не обращай и в дол прекрасный
Не приходи, а сверх всего —
Беги гусара твоего!

Уже пустыня сном объята;
Встал ясный месяц над горой,
Сливая свет багряный свой
С последним пурпуром заката;
Двойная трепетная тень
От черных сосен возлегает,
И ночь прозрачная сменяет
Погасший неприметно день.
Уж поздно. Дева молодая,
Жарка ланитами, встает
И молча, глаз не подымая,
В свой угол медленно идет.

Была беспечна, весела
Когда-то добренькая Эда;
Одною Эдой и жила
Когда-то девичья беседа;
Она приветно и светло
Когда-то всем глядела в очи.
Что ж изменить ее могло?
Что ж это утро облекло,
И так внезапно, в сумрак ночи?

Она рассеянна, грустна;
В беседах вовсе не слышна;
Как прежде, ясного привета
Ни для кого во взорах нет;
Вопросы долго ждут ответа,
И часто странен сей ответ;
То жарки щеки, то бесцветны,
И, тайной горести плоды,
Нередко свежие следы
Горючих слез на них заметны.

Бывало, слишком зашалит
Неосторожный постоялец —
Она к устам приставит палец,
Ему с улыбкой им грозит.
Когда же ей он подари́т
Какой-нибудь наряд дешевый,
Финляндка дивной ей обновой
Похвастать к матери бежит,
Меж тем его благодарит
Веселым книксом. Шаловливо
На друга сонного порой
Плеснет холодною водой
И убегает торопливо,
И долго слышен громкий смех.
Ее трудов, ее утех
Всегда в товарищи малюткой
Бывал он призван с милой шуткой.
Взойдет ли утро, ночи ль тень
На усыпленны холмы ляжет,
Ему красотка «добрый день»
И «добру ночь» приветно скажет.

Где время то? При нем она
Какой-то робостию ныне
В своих движеньях смущена;
Веселых шуток и в помине
Уж нет; незначащих речей
С ним даже дева не заводит,
Как будто стал он недруг ей;
Зато порой с его очей
Очей задумчивых не сводит,
Зато порой наедине
К груди гусара вся в огне

Бедняжка грудью припадает
И, страсти гибельной полна,
Сама уста свои она
К его лобзаньям обращает;
А в ночь бессонную, одна,
Одна с раскаяньем напрасным,
Сама волнением ужасным
Души своей устрашена,
Уныло шепчет: «Что со мною?
Мне с каждым днем грустней, грустней;
Ах, где ты, мир души моей!
Куда пойду я за тобою!»
И слезы детские у ней
Невольно льются из очей.

Она была не без надзора.
Отец ее, крутой старик,
Отчасти в сердце к ней проник.
Он подозрительного взора
С несчастной девы не сводил;
За нею следом он бродил,
И подсмотрел ли что такое,
Но только молодой шалун
Раз видел, слышал, как ворчун
Взад и вперед в своем покое
Ходил сердито; как потом
Ударил сильно кулаком
Он по столу и Эде бедной,
Пред ним трепещущей и бледной,
Сказал решительно: «Поверь,
Несдобровать тебе с гусаром!
Вы за углами с ним недаром
Всегда встречаетесь. Теперь
Ты рада слушать негодяя.
Худому выучит. Беда
Падет на дуру. Мне тогда
Забота будет небольшая:
Кто мой обычай ни порочь,
А потаскушка мне не дочь».
Тихонько слезы отирая
У грустной Эды: «Что ворчать? —
Сказала с кротостию мать.—
У нас смиренная такая
До сей поры была она.

И в чем теперь ее вина?
Грешишь, бедняжку обижая».
— «Да,— молвил он,— ласкай ее,
А я сказал уже свое».

День после, в комнатке своей,
Уже вечернею порою,
Одна с привычною тоскою,
Сидела Эда. Перед ней
Святая Библия лежала.
На длань склоненная челом,
Она рассеянным перстом
Рассеянно перебирала
Ее измятые листы
И в дни сердечной чистоты
Невольной думой улетала.
Взошел он с пасмурным лицом,
В молчанье сел, в молчанье руки
Сжал на груди своей крестом;
Приметы скрытой, тяжкой муки
В нем всё являло. Наконец:
«Долг от меня,— сказал хитрец,—
С тобою требует разлуки.
Теперь услышать милый глас,
Увидеть милые мне очи
Я прихожу в последний раз;
Покроет землю сумрак ночи
И навсегда разлучит нас.
Виною твой отец суровый,
Его укоры слышал я;
Нет, нет, тебе любовь моя
Не нанесет печали новой!
Прости!» Чуть дышаща, бледна,
Гусара слушала она.
«Что говоришь? Возможно ль? Ныне?
И навсегда, любезный мой!..»
— «Бегу отселе, но душой
Останусь в милой мне пустыне.
С тобою видеть я любил
Потоки те же, те же горы;
К тому же небу возводил
С небесной радостию взоры;
С тобой в разлуке свету дня
Уже не радовать меня!

Я волю дал любви несчастной
И погубил, доверясь ей,
За миг летящий, миг прекрасный
Всю красоту грядущих дней.
Но слушай! Срок остался краткой:
Пугаяся ревнивых глаз,
Везде преследующих нас,
Доселе мельком и украдкой
Видались мы; моей мольбой
Не оскорбись. На расставанье
Позволь, позволь иметь с тобой
Мне безмятежное свиданье!
Лишь мраки ночи низойдут
И сном глубоким до денницы
Отяжелелые зеницы
Твои домашние сомкнут,
Приду я к тихому приюту
Моей любезной,— о, покинь
Девичий страх и на минуту
Затвор досадный отодвинь!
Прильну в безмолвии печальном
К твоим устам, о жизнь моя,
И в лобызании прощальном
Тебе оставлю душу я».

Прискорбно дева поглядела
На обольстителя; не смела,
Сама не зная почему,
Она довериться ему:
Бедою что-то ей грозило;
Какой-то страх в нее проник;
Ей смутно сердце говорило,
Что не был прост его язык.
Святая книга, как сначала,
Еще лежавшая пред ней,
Ей долг ее напоминала.
Ко груди трепетной своей
Прижав ее: «Нет, нет,— сказала,—
Зачем со злобою такой
Играть моею простотой?
Иль мало было прегрешений?
Еще ль, еще ль охотный слух
Склоню на голос искушений?

Оставь меня, лукавый дух!
Оставь, без новых угрызений».

Но вправду враг ему едва ль
Не помогал: с такою силой
Излил он ропот свой, печаль
Столь горько выразил, что жаль
Гусара стало деве милой;
И слезы падали у ней
В тяжелых каплях из очей.
И в то же время то моленья,
То пени расточал хитрец.
«Что медлишь? Дороги мгновенья! —
К ней приступил он наконец.—
Дай слово!» — «Всей душой тоскуя,
Какое слово дать могу я,—
Сказала,— сжалься надо мной!
Владею ль я сама собой!
И что я знаю!» Пылко, живо
Тут к сердцу он ее прижал.
«Я буду, жди меня!» — сказал,
Сказал и скрылся торопливо.

Уже и холмы и поля
Покрыты мраками густыми.
Смиренный ужин разделя
С неприхотливыми родными,
Вошла девица в угол свой,
На дверь задумчиво взглянула.
«Поверь, опасен гость ночной!» —
Ей совесть робкая шепнула,
И дверь ее заложена.
В бумажки мягкие она
Златые кудри завернула,
Сняла поспешно, как-нибудь
Дня одеяния неловки,
Тяжело дышащую грудь
Освободила от шнуровки,
Легла и думала заснуть.
Уж поздно, полночь, но ресницы
Сон не смыкает у девицы:
«Стучаться будет он теперь.
Зачем задвинула я дверь?
Я своенравна, в самом деле.

Пущу его: ведь миг со мной
Пробудет здесь любезный мой,
Потом навек уйдет отселе».
Так мнит уж де́вица, и вот
С одра тихохонько встает,
Ко двери с трепетом подходит,
И вот задвижки роковой
Уже касается рукой;
Вот руку медленно отводит,
Вот приближает руку вновь;
Железо двинулось — вся кровь
Застыла в девушке несчастной,
И сердце сжала ей тоска.
Тогда же чуждая рука
Дверь пошатнула: «Друг прекрасный,
Не бойся, Эда, это я!»
И, от смятенья дух тая,
Полна неведомого жара,
Девица бедная моя
Уже в объятиях гусара.

Увы! досталась в эту ночь
Ему желанная победа:
Чувств упоенных превозмочь
Ты не могла, бедняжка Эда!
Заря багрянит свод небес.
Восторг обманчивый исчез;
С ним улетел и призрак счастья;
Открылась бездна нищеты,
Слезами скорби платишь ты
Уже за слезы сладострастья!
Стыдясь пылающего дня,
На крае ложа рокового
Сидишь ты, голову склоня.
Взгляни на друга молодого!
Внимай ему: нет, нет, с тобой
Он не снесет разлуки злой;
Тебе все дни его и ночи;
Отец его не устрашит,
Он подозренья усыпит,
Обманет бдительные очи;
Твой будет он, покуда жив...
Напрасно всё: она не внемлет,
Очей на друга не подъемлет,

Уста безмолвные раскрыв,
Потупя в землю взор незрящий;
Ей то же друга разговор,
Что ветр, бессмысленно свистящий
Среди ущелин финских гор.

Недолго, дева красоты,
Предателя чуждалась ты,
Томяся грустью безотрадной!
Ты уступила сердцу вновь:
Простила нежная любовь
Любви коварной и нещадной.

Идет поспешно день за днем.
Гусару дева молодая
Уже покорствует во всем.
За ним она, как лань ручная,
Повсюду ходит. То четой
Приемлет их в полдневный зной
Густая сень дубровы сонной,
То зазовет дремучий бор,
То приглашают гроты гор
В свой сумрак неги благосклонной;
Но чаще сходятся они
В долу соседственном, глубоком.
В густой рябиновой сени
Над быстро льющимся потоком
Они садятся на траву.
Порой любовник в томной лени
Послушной деве на колени
Кладет беспечную главу
И легким сном глаза смыкает.
Дух притаив, она внимает
Дыханью друга своего;
Древесной веткой отвевает
Докучных мошек от него;
Его волнистыми власами
Играет легкими перстами.
Когда ж подымется луна
И дикий край под ней задремлет,
В приют укромный свой она
К себе на одр его приемлет.

Но дева нежная моя
Томится тайною тоскою.
Раз обычайною порою
У вод любимого ручья
Они сидели молчаливо.
Любовник в тихом забытьи
Глядел на светлые струи,
Пред ним бегущие игриво.
Доро́гой сорванный цветок
Он как-то бросил в быстрый ток.
Вздохнула дева молодая,
На друга голову склоня.
«Так,— прошептала,— и меня,
Миг полелея, поласкам,
Так на погибель бросишь ты!»
Уста незлобной красоты
Улыбкой милой улыбнулись,
Но скорбь взяла-таки свое,
И на ресницах у нее
Невольно слезы навернулись.
Она косынкою своей
Их отерла и, веселей
Стараяся глядеть на друга:
«Прости! Безумная тоска!
Сегодня жизнь моя сладка,
Сегодня я твоя подруга,
И завтра будешь ты со мной,
И день еще, и, статься может,
Я до разлуки роковой
Не доживу, господь поможет!»

Невинной нежностью не раз
Она любовника смущала
И сожаленье в нем подчас
И угрызенье пробуждала,
Но чаще, чаще он скучал
Ее любовию тоскливой
И миг разлуки призывал
Уж как свободы миг счастливый.
Не тщетно!
Буйный швед опять
Не соблюдает договоров,
Вновь хочет с русским испытать
Неравный жребий бранных споров.

Уж переходят за Кюмень
Передовые ополченья,—
Война, война! Грядущий день —
День рокового разлученья.

Нет слез у девы молодой.
Мертва лицом, мертва душой,
На суету походных сборов
Глядит она: всему конец!
На ней встревоженный хитрец
Остановить не может взоров.
Сгустилась ночь. В глубокий сон
Всё погрузилося. Унылый,
В последний раз идет он к милой.
Ей утешенья шепчет он,
Ее лобзает он напрасно.
Внимает, чувства лишена;
Дает лобзать себя она,
Но безответно, безучастно!
Мечтанья все бежали прочь.
Они томительную ночь
В безмолвной горести проводят.
Уж в путь зовет сиянье дня,
Уже ретивого коня
Младому воину подводят,
Уж он садится. У дверей
Пустынной хижины своей
Она стоит, мутна очами.
Девица бедная, прости!
Уж по далекому пути
Он поскакал. Уж за холмами
Не виден он твоим очам...
Согнув колена, к небесам
Она сперва воздела руки,
За ним простерла их потом
И в прах повергласся лицом
С глухим стенаньем смертной муки.

Сковал потоки зимний хлад,
И над стремнинами своими
С гранитных гор уже висят
Они горами ледяными.
Из-под одежды снеговой
Кой-где вставая головами,

Скалы́ чернеют за скала́ми,
Во мгле волнистой и седой
Исчезло небо. Зашумели,
Завыли зимние метели.
Что с бедной де́вицей моей?
Потух огонь ее очей;
В ней Эды прежней нет и тени,
Изнемогает в цвете дней;
Но чужды слезы ей и пени.
Как небо зимнее, бледна,
В молчанье грусти безнадежной
Сидит недвижно у окна.
Сидит и бури вой мятежный
Уныло слушает она,
Мечтая: «Нет со мною друга;
Ты мне постыл, печальный свет!
Конца дождусь ли я иль нет?
Когда, когда сметешь ты, вьюга,
С лица земли мой легкий след?
Когда, когда на сон глубокий
Мне даст могила свой приют
И на нее сугроб высокий,
Бушуя, ветры нанесут?»

Кладбище есть. Теснятся там
К холмам холмы, кресты к крестам,
Однообразные для взгляда;
Их (меж кустами чуть видна,
Из круглых камней сложена)
Обходит низкая ограда.
Лежит уже давно за ней
Могила де́вицы моей.
И кто теперь ее отыщет,
Кто с нежной грустью навестит?
Кругом всё пусто, всё молчит;
Порою только ветер свищет
И можжевельник шевелит.

1824—1825, ⟨1832⟩

236. ТЕЛЕМА И МАКАР

Непостоянна, своевольна,
Ничем Телема не довольна;
Всегда душа ее полна
Младенческого беспокойства;
Любила толстяка она
Совсем иного с нею свойства:
Макар не тужит ни о чем,
Ему покой всего дороже;
С весельем шумным незнаком,
Он незнаком со скукой тоже;
Заснет он ночью крепким сном,
Едва глаза свои зажмурит;
Поутру встанет молодцом,
День после целый балагурит.
В любви причудливой своей
К Макару часто нестерпимой
Была Телема: милым ей
Хотелось быть боготворимой.
Однажды, чем-то оскорбясь,
Увлекшись живостью сердечной,
В упреках горьких излилась
Пред ним она. Макар беспечный
Покинул бедную, смеясь.
Без друга скучно и уныло
Тянулись дни. Из края в край
За ним бежать она давай:
Жить без Макара тошно было.

Надежды ветреной полна,
Приходит в Царское она.
Того ли встретит иль другого:
«Не здесь ли милый мой дружок?
Макара нет ли дорогого?»
Никто без хохота не мог
Услышать имени такого.
«Какой Макар тобой любим?
Как разлучилася ты с ним?
Что он, голубушка, за диво?»
Она в ответ нетерпеливо:
«Нет лучше друга моего:
Он добродушен, доброхотен,
Веселонравен, беззаботен,
Не ненавидит никого
И сам никем не ненавидим».
— «Ступай,— ответствовали ей,—
Здесь нет его: таких людей
Мы при дворе совсем не видим».

Решилась далее идти
Моя беглянка молодая;
Заходит в лавру по пути,
Макара мирного найти
В сей мирной пристани мечтая.
Игумен ей: «Сказать ли вам?
Его мы долго поджидали,
Но, признаюсь, по пустякам!
Посты, раздор и скуку нам
В замену стены наши дали».
Один неласковый чернец
Сказал вертушке наконец:
«Охота по́ миру шататься!
Найдется ль, полно, ваш беглец?
На том он свете, может статься!»

Телему сей живой мертвец
Чуть не взбесил таким приветом.
«Его найду я, мой отец,
Не беспокойтеся об этом.
Нет! о Макаре дорогом
Не понапрасну я тоскую:
Одна я жизнь ему дарую;

Не может быть он в мире том,
Когда я в этом существую!»

«Но где же встречу друга я? —
Мечтает странница моя.—
В столице? Что же? Не чудесно:
Между певцами, верно, он,
Которыми изображен
Он столь искусно и прелестно».
Один из них ей молвил так:
«Вы обманулися, никак;
Не появлялся, к сожаленью,
И между нами ваш чудак;
О нем мы пишем кое-как,
По одному воображенью!»

Совет пред нею. На него
Взглянула странница — и мимо:
«Нет, для Макара моего
Такое место нестерпимо!
Там нет его. Не спорю в том:
Прельститься мог бы он двором,
Двор полон чудного угара,
Но за присутственным столом
Ввек не увижу я Макара!»
Надеясь друга повстречать,
Телема стала навещать
Гулянья, зрелища столицы,
Ко всем заглядывала в лицы —
По пустякам! Приглашена
В дома блестящие она,
Где те счастливцы председают,
Которых светским языком
Людьми с уто́нченным умом,
Людьми со вкусом называют;
Они приветливы лицом,
Речами веселы, свободны
И с милым сердцу беглецом
Ей показались очень сходны.
Но чем с Макаром дорогим
Похожей быть они старались,
Тем от прямого сходства с ним
Они заметней удалялись!

Тоска, печаль ее взяла;
Наскуча бегать по-пустому
Из места в место, побрела
Они тихохонько до дому.
В давно покинутый приют
Приходит странница — и что же?
Уже Макар с улыбкой тут
Подругу ждал на брачном ложе.
«Со мною в мире и любви,—
Он молвил,— с этих пор живи;
Живи, о лишнем не тоскуя,
И, коль расстаться вновь со мной
Не хочешь, нрава тишиной
Себе приязнь мою даруя,
От угожденья моего
Не требуй более того,
Что я даю, что дать могу я».

1826

237. БАЛ

Глухая полночь. Строем длинным,
Осеребренные луной,
Стоят кареты на Тверской
Пред домом пышным и старинным.
Пылает тысячью огней
Обширный зал; с высоких хоров
Ревут смычки; толпа гостей;
Гул танца с гулом разговоров.
В роскошных перьях и цветах,
С улыбкой мертвой на устах,
Обыкновенной рамой бала,
Старушки светские сидят
И на блестящий вихорь бала
С тупым вниманием глядят.

Кружатся дамы молодые,
Не чувствуют себя самих;
Драгими камнями у них
Горят уборы головные;
По их плечам полунагим
Златые локоны летают;
Одежды легкие, как дым,
Их легкий стан обозначают.
Вокруг пленительных харит
И суетится и кипит
Толпа поклонников ревнивых;
Толкует, ловит каждый взгляд;
Шутя, несчастных и счастливых
Вертушки милые творят.

В движенье всё. Горя добиться
Вниманья лестного красы,
Гусар крутит свои усы,
Писатель чопорно острится,
И оба правы: говорят,
Что в то же время можно дамам,
Меняя слева взгляд на взгляд,
Смеяться справа эпиграммам.
Меж тем и в лентах и в звездах,
Порою с картами в руках,
Выходят важные бояры,
Встав из-за ломберных столов,
Взглянуть на мчащиеся пары
Под гул порывистый смычков.

Но гости глухо зашумели,
Вся зала шепотом полна:
«Домой уехала она!
Вдруг стало дурно ей».— «Ужели?» —
«В кадрили весело вертясь,
Вдруг помертвела!» — «Что причиной?
Ах, боже мой! Скажите, князь,
Скажите, что с княгиней Ниной,
Женою вашею?» — «Бог весть,
Мигрень, конечно!.. В сюрах шесть».
— «Что с ней, кузина? Танцевали
Вы в ближней паре, видел я?
В кругу пристойном не всегда ли
Она как будто не своя?»

Злословье правду говорило.
В Москве меж умниц и меж дур
Моей княгине чересчур
Слыть Пенелопой трудно было.
Презренья к мнению полна,
Над добродетелию женской
Не насмехается ль она,
Как над ужимкой деревенской?
Кого в свой дом она манит,
Не записных ли волокит,
Не новичков ли миловидных?
Не утомлен ли слух людей
Молвой побед ее бесстыдных
И соблазнительных связéй?

Но как влекла к себе всесильно
Ее живая красота!
Чьи непорочные уста
Так улыбалися умильно!
Какая бы Людмила ей,
Смирясь, лучей благочестивых
Своих лазоревых очей
И свежести ланит стыдливых
Не отдала бы сей же час
За яркий глянец черных глаз,
Облитых влагой сладострастной,
За пламя жаркое ланит?
Какая фее самовластной
Не уступила б из харит?

Как в близких сердцу разговорах
Была пленительна она!
Как угодительно-нежна!
Какая ласковость во взорах
У ней сияла! Но порой,
Ревнивым гневом пламенея,
Как зла в словах, страшна собой
Являлась новая Медея!
Какие слезы из очей
Потом катилися у ней!
Терзая душу, проливали
В нее томленье слезы те;
Кто б не отер их у печали,
Кто б не оставил красоте?

Страшись прелестницы опасной,
Не подходи: обведена
Волшебным очерком она;
Кругом ее заразы страстной
Исполнен воздух! Жалок тот,
Кто в сладкий чад его вступает:
Ладью пловца водоворот
Так на погибель увлекает!
Беги ее: нет сердца в ней!
Страшися вкрадчивых речей
Одуревающей приманки;
Влюбленных взглядов не лови:
В ней жар упившейся вакханки,
Горячки жар — не жар любви.

Так, не сочувствия прямого
Могуществом увлечена
На грудь роскошную она
Звала счастливца молодого;
Он пересоздан был на миг
Ее живым воображеньем;
Ей своенравный зрелся лик,
Она ласкала с упоеньем
Одно видение свое.
И гасла вдруг мечта ее:
Она вдалась в обман досадный,
Ее прельститель был смешон,
И средь толпы Лаисе хладной
Уж неприметен будет он.

В часы томительные ночи,
Утех естественных чужда,
Так чародейка иногда
Себе волшебством тешит очи:
Над ней слились из облаков
Великолепные чертоги;
Она на троне из цветов,
Ей угождают полубоги.
На миг один восхищена
Живым видением она,
Но в ум приходит с изумленьем,
Смеется сердца забытью
И с тьмой сливает мановеньем
Мечту блестящую свою.

Чей образ кисть нарисовала?
Увы! те дни уж далеко,
Когда княгиня так легко
Воспламенялась, остывала!
Когда, питомице прямой
И Эпикура, и Нинοны,
Летучей прихоти одной
Ей были ведомы законы!
Посланник рока ей предстал;
Смущенный взор очаровал,
Поработил воображенье,
Слиял все мысли в мысль одну
И пролил страстное мученье
В глухую сердца глубину.



ДВѢ ПОВѢСТИ

ВЪ СТИХАХЪ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

1828.

Красой изнеженной Арсений
Не привлекал к себе очей:
Следы мучительных страстей,
Следы печальных размышлений
Носил он на челе; в очах
Беспечность мрачная дышала,
И не улыбка на устах —
Усмешка праздная блуждала.
Он незадолго посещал
Края чужие; там искал,
Как слышно было, развлеченья
И снова родину узрел;
Но, видно, сердцу исцеленья
Дать не возмог чужой предел.

Предстал он в дом моей Лаисы,
И остряков задорный полк
Не знаю как пред ним умолк —
Главой поникли Адонисы.
Он в разговоре поражал
Людей и света знаньем редким,
Глубоко в сердце проникал
Лукавой шуткой, словом едким,
Судил разборчиво певца,
Знал цену кисти и резца,
И, сколько ни был хладно-сжатым
Привычный склад его речей,
Казался чувствами богатым
Он в глубине души своей.

Неодолимо, как судьбина,
Не знаю, что в игре лица,
В движенье каждом пришлеца
К нему влекло тебя, о Нина!..
С него ты не сводила глаз...
Он был учтив, но хладен с нею.
Ее смущал он много раз
Улыбкой опытной своею;
Но, жрица давняя любви,
Она ль не знала, как в крови
Родить мятежное волненье,
Как в чувства дикий жар вдохнуть...
И всемогущее мгновенье
Его повергло к ней на грудь.

Мои любовники дышали
Согласным счастьем два-три дни;
Чрез день-другой потом они
Несходство в чувствах показали.
Забвенья страстного полна,
Полна блаженства жизни новой,
Свободно, радостно она
К нему ласкалась; но суровый,
Унылый часто зрелся он:
Пред ним летал мятежный сон;
Всегда рассеянный, судьбину,
Казалось, в чем-то он винил,
И, прижимая к сердцу Нину,
От Нины сердце он таил.

Неблагодарный! Им у Нины
Все мысли были заняты:
Его любимые цветы,
Его любимые картины
У ней являлися. Не раз
Блистали новые уборы
В ее покоях, чтоб на час
Ему прельстить, потешить взоры.
Был втайне убран кабинет,
Где сладострастный полусвет,
Богинь роскошных изваянья,
Курений сладких легкий пар —
Животворило всё желанья,
Вливало в сердце томный жар.

Вотще! Он предан был печали.
Однажды (до того дошло)
У Нины вспыхнуло чело
И очи ярко заблистали.
Страстей противных беглый спор
Лицо явило. «Что с тобою,—
Она сказала,— что твой взор
Всё полон мрачною тоскою?
Досаду давнюю мою
Я боле в сердце не таю:
Печаль с тобою неразлучна;
Стыжусь, но ясно вижу я:
Тебе тяжка, тебе докучна
Любовь безумная моя!

Скажи, за что твое презренье?
Скажи, в сердечной глубине
Ты нечувствителен ко мне
Иль недоверчив? Подозренье
Я заслужила. Старины
Мне тяжело воспоминанье:
Тогда всечасной новизны
Алкало у меня мечтанье;
Один кумир на долгий срок
Поработить его не мог;
Любовь сегодняшняя трудно
Жила до завтрашнего дня,—
Мне вверить сердце безрассудно,
Ты прав, но выслушай меня.

Беги со мной — земля вели́ка!
Чужбина скроет нас легко,
И там безвестно, далеко
Ты будешь полный мой владыка.
Ты мне Италию порой
Хвалил с блестящим увлеченьем;
Страну, любимую тобой,
Узнала я воображеньем;
Там солнце пышно, там луна
Восходит, сладости полна;
Там вьются лозы винограда,
Шумят лавровые леса,—
Туда, туда! с тобой я рада
Забыть родные небеса.

Беги со мной! Ты безответен!
Ответствуй, жребий мой реши.
Иль нет! Зачем? Твоей души
Упорный холод мне приметен;
Молчи же! Не нуждаюсь я
В словах обманчивых,— довольно!
Любовь несчастная моя
Мне свыше казнь... но больно, больно!..»
И зарыдала. Возмущен
Ее тоской: «Безумный сон
Тебя увлек,— сказал Арсений,—
Невольный мрак души моей —
След прежних жалких заблуждений
И прежних гибельных страстей.

Его со временем рассеет
Твоя волшебная любовь;
Нет, не тревожься, если вновь
Тобой сомненье овладеет!
Моей печали не вини».
День после, мирною четою,
Сидели на софе они.
Княгиня томною рукою
Обняла друга своего
И прилегла к плечу его.
На ближний столик, в думе скрытной,
Облокотясь, Арсений наш
Меж тем по карточке визитной
Водил небрежный карандаш.

Давно был вечер. С легким треском
Горели свечи на столе,
Кумиров мрамор в дальней мгле
Кой-где блистал неверным блеском.
Молчал Арсений, Нина тож.
Вдруг, тайным чувством увлеченный,
Он восклицает: «Как похож!»
Проснулась Нина: «Друг бесценный,
Похож! Ужели? Мой портрет!
Взглянуть позволь... Что ж это? Нет!
Не мой: жеманная девчонка
Со сладкой глупостью в глазах,
В кудрях мохнатых, как болонка,
С улыбкой сонной на устах!

Скажу, красавица такая
Меня затмила бы совсем...»
Лицо княгини между тем
Покрыла бледность гробовая.
Ее дыханье отошло,
Уста застыли, посинели;
Увла́жил хладный пот чело,
Непомертвелые блестели
Глаза одни. Вещать хотел
Язык мятежный, но коснел,
Слова сливались в лепетанье.
Мгновенье долгое прошло,
И наконец ее страданье
Свободный голос обрело:

«Арсений, видишь, я мертвею;
Арсений, дашь ли мне ответ!
Знаком ты с ревностию?.. Нет!
Так ведай, я знакома с нею,
Я к ней способна! В старину,
Меж многих редкостей Востока,
Себе я выбрала одну...
Вот перстень... с ним я выше рока!
Арсений! мне в защиту дан
Могучий этот талисман;
Знай, никакое злоключенье
Меня при нем не устрашит.
В глазах твоих недоуменье,
Дивишься ты! Он яд таит».

У Нины руку взял Арсений:
«Спокойна совесть у меня,—
Сказал,— но дожил я до дня
Тяжелых сердцу откровений.
Внимай же мне. С чего начну?
Не предавайся гневу, Нина!
Другой дышал я в старину,
Хотела то сама судьбина.
Росли мы вместе. Как мила
Малютка Оленька была!
Ее мгновеньями иными
Еще я вижу пред собой
С очами темно-голубыми,
С темнокудрявой головой.

Я называл ее сестрою,
С ней игры детства я делил;
Но год за годом уходил
Обыкновенной чередою.
Исчезло детство. Притекли
Дни непонятного волненья,
И друг на друга возвели
Мы взоры, полные томленья.
Обманчив разговор очей.
И, руку Оленьки моей
Сжимая робкою рукою,
«Скажи,— шептал я иногда,—
Скажи, любим ли я тобою?»
И слышал радостное *да*.

В счастливый дом, себе на горе,
Тогда я друга ввел. Лицом
Он был приятен, жив умом;
Обворожил он Ольгу вскоре.
Всегда встречались взоры их,
Всегда велся меж ними шепот.
Я мук язвительных моих
Не снес — излил ревнивый ропот.
Какой же ждал меня успех?
Мне был ответом детский смех!
Ее покинул я с презреньем,
Всю боль души в душе тая.
Сказал «прости» всему, но мщеньем
Сопернику поклялся я.

Всечасно колкими словами
Скучал я, досаждал ему,
И по желанью моему
Вскипела ссора между нами:
Стрелялись мы. В крови упав,
Навек я думал мир оставить;
С одра восстал, я телом здрав,
Но сердцем болен. Что прибавить?
Бежал я в дальние края;
Увы! под чуждым небом я
Томился тою же тоскою.
Родимый край узрев опять,
Я только с милою тобою
Душою начал оживать».

Умолк. Бессмысленно глядела
Она на друга своего,
Как будто повести его
Еще вполне не разумела;
Но, от руки его потом
Освободив тихонько руку,
Вдруг содрогнулася лицом,
И всё в ней выразило муку.
И, обессилена, томна,
Главой поникнула она.
«Что, что с тобою, друг бесценный?» —
Вскричал Арсений. Слух его
Внял только вздох полустесненный.
«Друг милый, что ты?» — «Ничего».

Еще на крыльях торопливых
Промчалось несколько недель
В размолвках бурных, как досель,
И в примиреньях несчастливых.
Но что же, что же напослед?
Сегодня друга нет у Нины,
И завтра, послезавтра нет!
Напрасно, полная кручины,
Она с дверей не сводит глаз
И мнит: он будет через час.
Он позабыл о Нине страстной;
Он не вошел, вошел слуга,
Письмо ей подал... миг ужасный!
Сомненья нет: его рука!

«Что медлить,— к ней писал Арсений,—
Открыться должно... Небо! в чем?
Едва владею я пером,
Ищу напрасно выражений.
О Нина! Ольгу встретил я;
Она поныне дышит мною,
И ревность прежняя моя
Была неправой и смешною.
Удел решен. По старине
Я верен Ольге, верной мне.
Прости! Твое воспоминанье
Я сохраню до поздних дней;
В нем понесу я наказанье
Ошибок юности моей».

Для своего и для чужого
Незрима Нина; всем одно
Твердит швейцар ее давно:
«Не принимает, нездорова!»
Ей нужды нет ни в ком, ни в чем;
Питье и пищу забывая,
В покое дальнем и глухом
Она, недвижная, немая,
Сидит и с места одного
Не сводит взора своего.
Глубокой муки сон печальный!
Но двери пашут, растворясь:
Муж не весьма сентиментальный,
Сморкаясь громко, входит князь.

И вот садится. В размышленье
Сначала молча погружен,
Ногой потряхивает он;
И наконец: «С тобой мученье!
Без всякой грусти ты грустишь;
Как погляжу, совсем больна ты;
Ей-ей! с трудом вообразишь,
Как вы причудами богаты!
Опомниться тебе пора.
Сегодня бал у князь Петра;
Забудь фантазии пустые
И от людей не отставай;
Там будут наши молодые,
Арсений с Ольгой. Поезжай.

Ну что, поедешь ли?» — «Поеду»,—
Сказала, странно оживясь,
Княгиня. «Дело,— молвил князь.—
Прощай, спешу я в клоб к обеду».
Что, Нина бедная, с тобой?
Какое чувство овладело
Твоей болезненной душой?
Что оживить ее умело,
Ужель надежда? Торопясь,
Часы летят; уехал князь;
Пора готовиться княгине.
Нарядами окружена,
Давно не бывшими в помине,
Перед трюмо стоит она.

Уж газ на ней, струясь, блистает;
Роскошно, сладостно очам
Рисует грудь, потом к ногам
С гирляндой яркой упадает.
Алмаз мелькающих серег
Горит за черными кудрями;
Жемчуг чело ее облег,
И, меж обильными косами
Рукой искусной пропущен,
То видим, то невидим он.
Над головою перья веют;
По томной прихоти своей
То ей лицо они лелеют,
То дремлют в локонах у ней.

Меж тем (к какому разрушенью
Ведет сердечная гроза!)
Ее потухшие глаза
Окружены широкой тенью
И на щеках румянца нет!
Чуть виден в образе прекрасном
Красы бывалой слабый след!
В стекле живом и беспристрастном
Княгиня бедная моя
Глядяся, мнит: «И это я!
Но пусть на страшное виденье
Он взор смущенный возведет,
Пускай узрит свое творенье
И всю вину свою поймет».

Другое тяжкое мечтанье
Потом волнует душу ей:
«Ужель сопернице моей
Отдамся я на поруганье!
Ужель спокойно я снесу,
Как, торжествуя надо мною,
Свою цветущую красу
С моей увядшею красою
Сравнит насмешливо она!
Надежда есть еще одна:
Следы печали я сокрою
Хоть вполовину, хоть на час...»
И Нина трепетной рукою
Лицо румянит в первый раз.

Она явилася на бале.
Что ж возмутило душу ей?
Толпы ли ветреных гостей
В ярко блестящей, пышной зале
Беспечный лепет, мирный смех?
Порывы ль музыки веселой
И, словом, этот вихрь утех,
Больным душою столь тяжелый?
Или двусмысленно взглянуть
Посмел на Нину кто-нибудь?
Иль лишним счастием блистало
Лицо у Ольги молодой?
Что б ни было, ей дурно стало,
Она уехала домой.

Глухая ночь. У Нины в спальной,
Лениво споря с темнотой,
Перед иконой золотой
Лампада точит свет печальный.
То пропадет во мраке он,
То заиграет на окладе;
Кругом глубокий, мертвый сон!
Меж тем в блистательном наряде,
В богатых перьях, жемчугах,
С румянцем странным на щеках,
Ты ль это, Нина, мною зрима?
В переливающейся мгле
Зачем сидишь ты недвижима,
С недвижной думой на челе?

Дверь заскрипела, слышит ухо
Походку чью-то на полу;
Перед иконою, в углу,
Стал и закашлял кто-то глухо.
Сухая, дряхлая рука
Из тьмы к лампаде потянулась;
Светильню тронула слегка,
Светильня сонная очнулась,
И свет нежданный и живой
Вдруг озаряет весь покой:
Княгини мамушка седая
Перед иконою стоит,
И вот уж, набожно вздыхая,
Земной поклон она творит.

Вот поднялась, перекрестилась;
Вот поплелась было домой;
Вдруг видит Нину пред собой,
На полпути остановилась.
Глядит печально на нее,
Качает старой головою:
«Ты ль это, дитятко мое,
Такою позднею порою?..
И не смыкаешь очи сном,
Горюя бог знает о чем!
Вот так-то ты свой век проводишь,
Хоть от ума, да неумно;
Ну, право, ты себя уходишь,
А ведь грешно, куда грешно!

И что в судьбе твоей худого?
Как погляжу я, полон дом
Не перечесть каким добром;
Ты роду-звания большого;
Твой князь приятного лица,
Душа в нем кроткая такая,—
Всечасно вышнего творца
Благословляла бы другая!
Ты позабыла бога... да,
Не ходишь в церковь никогда;
Поверь, кто господа оставит,
Того оставит и господь;
А он-то духом нашим правит,
Он охраняет нашу плоть!

Не осердись, моя родная;
Ты знаешь, мало ли о чем
Мелю я старым языком,
Прости, дай ручку мне». Вздыхая,
К руке княгининой она
Устами ветхими прильнула —
Рука ледяно-холодна.
В лицо ей с трепетом взглянула —
На ней поспешный смерти ход;
Глаза стоят, и в пене рот...
Судьбина Нины совершилась,
Нет Нины! Ну так что же? Нет!
Как видно, ядом отравилась,
Сдержала страшный свой обет!

Уже билеты роковые,
Билеты с черною каймой,
На коих бренности людской
Трофеи, модой принятые,
Печально поражают взгляд;
Где сухощавые Сатурны
С косами грозными сидят,
Склонясь на траурные урны;
Где кости мертвые крестом
Лежат разительным гербом
Под гробовыми головами,—
О смерти Нины должну весть
Узаконенными словами
Спешат по городу разнесть.

В урочный час, на вынос тела,
Со всех концов Москвы большой
Одна карета за другой
К хоромам князя полетела.
Обсев гостиную кругом,
Сначала важное молчанье
Толпа хранила; но потом
Возникло томное жужжанье;
Оно росло, росло, росло
И в шумный говор перешло.
Объятый счастливым забвеньем,
Сам князь за дело принялся
И жарким богословским преньем
С ханжой каким-то занялся.

Богатый гроб несчастной Нины,
Священством пышным окружен,
Был в землю мирно опуще́н;
Свет не узнал ее судьбины.
Князь, без особого труда,
Свой жребий вышней воле предал.
Поэт, который завсегда
По четвергам у них обедал,
Никак с желудочной тоски
Скропал на смерть ее стишки.
Обильна слухами столица:
Молва какая-то была,
Что их законная страница
В журнале дамском приняла.

1825—1828

238. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ДУШ

Зевес, любя семью людскую,
Попарно души сотворил
И наперед одну мужскую
С одною женской согласил.
Хвала всевышней благостыне!
Но в ней нам мало пользы ныне:
Глядите! Ныне род людской,
Размножась, облил шар земной.
Куда пойду? Мечтаешь с горем,
На хладный север, знойный юг?
За Белым иль за Черным морем
Блуждаешь ты, желанный друг?
Не всё. Задача есть другая.
Шатаясь по свету, порой
Столкнешься с родственной душой
И рад; но вот беда какая:
Душа родная — нос чужой
И посторонний подбородок!..
Враждуют чувства меж собой;
Признаться, способ мировой
Находкой был бы из находок!
Но он потерян между нас,
О нем живет один рассказ.

В земле, о коей справедливо
Нам чудеса вещает старь,
В Египте, жил-был славный царь,
Имел он дочь — творенья диво,
Красот подсолнечных алмаз,
Любовь души, веселье глаз;

Челом белее лилий Нила;
Коралла пышного морей
Устами свежими алей;
Яснее днéвного светила
Улыбкой ясною своей.
В пределах самых отдаленных
Носилася ее хвала
И женихами привела
К ней полк царей иноплеменных.
И Мемфис-град заликовал!
В нем пир за пиром восставал.
Светла, прелестна, восседая
В кругу любовников своих,
Моя царевна молодая
Совсем с ума сводила их.
И всё бы ладно шло, но что же?
Всегда веселая, она
Вдруг стала пасмурна, грустна,
Так что на дело не похоже.
К своим высоким женихам
Вниманье вовсе прекратила
И, кроме колких эпиграмм,
Им ничего не говорила.

Какая же была вина,
Что изменилась так она?
Любовь. Случайною судьбою
Державный пир ее отца
Украсить лирною игрою
Призвали юного певца;
Не восхвалял он Озирида,
Не славил Аписа-быка,—
Любовь он пел, о Зораида!
И песнь его была сладка,
Как вод согласное журчанье,
Как нежных горлиц воркованье,
Как томный ропот ветерка,
Когда, в полудень воспаленный,
Лобзает он исподтишка
Цветок, роскошно усыпленный.
Свершился вышний приговор.
Свершился! Никакою силой
Не отразимый, с этих пор
Пред ней носился образ милый;

С тех пор в душе ее звучал,
Звучал всечасно голос нежный,
Ее питал, упоевал
Тоскою сладкой и мятежной!
«Как глупы эти дикари,
Разноплеменные цари!
И как прелестен он!» — вздыхая,
Мечтала дева молодая.

Но между тем летели дни;
Решенья гости ожидали —
Решенья не было. Они
Уже сердиться начинали.
Сам царь досадою вскипел;
Он не охотник был до шуток
И жениха чрез трое суток
Избрать царевне повелел.

Была, как громом, речью гневной
Младая дочь поражена.
На что ж в судьбе своей плачевной
Решилась, бедная, она?
Рыдала долго Зораида,
Взрывала сердце ей обида,
Взрывала сердце ей печаль;
Вдруг мысль в уме ее родилась,
Лицом царевна прояснилась
И шепчет: «Ах, едва ль, едва ль...
Но что мы знаем? Статься может,
Он в самом деле мне поможет».

Вам рассказать я позабыл,
Что в эту пору, мой читатель,
Столетний маг в Мемфисе был,
Изиды вещий толкователь.
Он, если не лгала молва,
Проник все тайны естества.
На то и жил почтенный дядя;
Отвергнув мира суету,
Не пил, не ел, не спал он, глядя
В глаза священному коту.
И в нем-то было упованье;
К нему-то, милые друзья,
Решилася на совещанье
Идти красавица моя.

Едва редеет мгла ночная,
И, пробуждаться начиная,
Едва румянится восток;
Еще великий Мемфис дремлет
И утро нехотя приемлет,
А уж, покинув свой чертог,
В простой и чуждой ей одежде,
Но страха тайного полна,
Доверясь ветреной надежде,
Выходит за́ город она.
Перед очами Зораиды
Пустыня та, где пирамиды
За пирамидами встают
И (величавые гробницы)
Гигантским кладбищем ведут
К стопам огромной их царицы.
Себе чудак устроил тут
Философический приют.
Блуждает дева молодая
Среди столицы гробовой;
И вот приметен кров жилой,
Над коим пальма вековая
Стоит, роскошно помавая
Широколиственной главой.
Царевна видит пред собой
Обитель старца. Для чего же
Остановилася она,
Внезапно взором смущена
И чутким ухом насторо́же?
Что дланью трепетной своей
Объемлет сердце? Что так пышет
Ее лицо? И грудь у ней
Что так неровно, сильно дышит?
Приносит песнь издалека
Ей дуновенье ветерка.

Песня

Зачем от раннего рассвета
До поздней ночи я пою
Безумной птицей, о Ниэта!
Красу жестокую твою?

Чужда, чужда ты сожаленья:
Звезда взойдет, звезда зайдет;
Сурова ты, а мне забвенья
Бессильный лотос не дает.

Люблю, любя, в могилу сниду;
Несокрушима цепь моя:
Я видел диво-Зораиду,
И не забыл Ниэты я.

Чей это голос? Вседержитель!
Она ль его не узнает!
Певец, души ее пленитель,
Другую пламенно поет!
И вот что боги ей судили!
Уж ей колена изменили,
Уж меркнет свет в ее очах,
Без чувств упала бы во прах,
Но нашей деве в то мгновенье
Предстало чудное виденье.
Глядит: в одежде шутовской
Бредет к ней старец гробовой.
Паяс торжественный и дикий,
Белобородый, желтоликий,
В какой-то острой шапке он;
Пестреет множеством каракул
На нем широкий балахон,—
То был почтенный наш оракул.
К царевне трепетной моей
Подходит он; на темя ей
Приветно руку налагает,
Глядит с улыбкою в лицо
И ободрительно вещает:
«Прими чудесное кольцо;
Ты им, о дева! уничтожишь
Хитросплетенный узел твой;
Кому на перст его возложишь,
С тем поменяешься звездой.
Иди, и мудрость Озирида
Наставит свыше мысль твою.
Я даром сим, о Зораида,
Тебе за веру воздаю».

Возвращена в свои чертоги,
Душою полная тревоги,
Царевна думает: «Во сне
Всё это чудилося мне?
Но нет, не сновиденье это!
Кольцо на палец мой надето
Почтенным старцем — вот оно.
Какую ж пользу в нем найду я?
Он говорил, его даруя,
Так бестолково, так темно».
Опять царевна унывает,
Недоумения полна;
Но вот невольниц призывает
И отыскать повелевает
Свою соперницу она.

По повелению другому
Как будто к празднику большому
Ее чертоги убраны;
Везде легли ковры богаты,
И дорогие ароматы
Во всех кадилах возжжены,
Все водометы пущены́;
Блистают редкими цветами
Ряды узорчатых кошниц,
И полон воздух голосами
Дальноземельных, чудных птиц;
Всё негой сладостною дышит,
Всё дивной роскошию пышет.
На троне, радостным венцом,
Порфирой светлою блистая,
Сидит царевна молодая,
Окружена своим двором.
Вотще прилежно наблюдает
Ее глаза смущенный двор
И угадать по ним желает,
Что знаменует сей позор.
Она в безмолвии глубоком,
Как сном объятая, сидит
И неподвижным, мутным оком
На двѐри дальние глядит.
Придворные безмолвны тоже.
Дверь отворилась. «Вот она!» —
Лицом бледнее полотна,

Царевна вскрикнула. Кого же
Узрела, скорбная душой,
В толпе невольниц пред собой?
Кого? Пастушку молодую,
Собой довольно недурную,
Но очень смуглую лицом,
Глазами бойкую и злую,
С нахмуренным, упрямым лбом.
Царевна смотрит и мечтает:
«Она ли мне предпочтена!»
Но вот придворных высылает
И остается с ней одна.

Царевна первого привета
Искала долго, наконец
Печально молвила: «Ниэта!
Ты видишь: пышен мой дворец,
В жемчуг и злато я одета,
На мне порфира и венец;
Я красотою диво света,
Очарование сердец!
Я всею славою земною
Наделена моей звездою,—
Чего желать могла бы я?
И что ж, Ниэта, в скорби чудной
Милее мне твой жребий скудный,
Милее мне звезда твоя.
Ниэта, хочешь ли, с тобою
Я поменяюся звездою?»
Мудрен царевнин был привет,
Но, не застенчива природно,
«Как вашей милости угодно»,—
Ниэта молвила в ответ.
Тогда на палец ей надела
Царевна дивное кольцо;
Закрыть смущенное лицо
Руками бедная хотела;
Но что же? В миг волшебный сей
Моя царевна оживилась
Душой Ниэтиной, а в ней
Душа царевны очутилась.
И, быстрым чудом бытие
Переменив, лицо свое
Закрыла дурочка степная,

Царевна же, наоборот,
Спустила руки на живот,
Рот удивленный разевая.
Где Зораида, где она?
Осталась тень ее одна.
Когда ж лицо свое явила
Ниэта, руки опустя
(О, как обеих их шутя
Одна минута изменила!),
Блистало дивной красотой
Лицо пастушки молодой;
Во взорах чувство выражалось,
Горела нежная мечта,
Для слова милого, казалось,
Сейчас откроются уста,
Ниэта та же, да не та.
Так из-за туч луна выходит,
Вдруг озаряя небеса,
Так зелень свежую наводит
На рощи пыльные роса.

С главой поникшею Ниэта,
С невольным пламенем лица
Тихонько вышла из дворца,
И о судьбе ее до света
Не доходил уж слух потом.
Так что ж? О счастии прямом
Поведать людям неудобно;
Мы знаем, свойственно ему
Любить хранительную тьму,
И драгоценное подобно
В том драгоценному всему.
Где искрометные рубины,
Где перлы светлые нашли?
В глубоких пропастях земли,
На темном дне морской пучины.

А что с царевною моей?
Она с плотнейшим из князей
Великолепно обвенчалась.
Он с нею ладно жил, хотя
В иное время не шутя
Его супруга завиралась,

И даже под сердитый час
Она, возвыся бойкий глас,
Совсем ругательски ругалась.
Он не роптал на то ничуть,
Любил житье-бытье простое
И сам, где надо, завернуть
Не забывал словцо лихое.
По-своему до поздних дней
Душою в душу жил он с ней.

Что я прибавлю, друг мой нежный?
Жизнь непогодою мятежной,
Ты знаешь, встретила меня;
За бедством бедство подымалось;
Век над главой моей, казалось,
Не взыдет радостного дня.
Порой смирял я песнопеньем
Порыв болезненных страстей,
Но мне тяжелым вдохновеньем
Была печаль души моей.
Явилась ты, мой друг бесценный,
И прояснилась жизнь моя:
Веселой музой вдохновенный,
Веселый вздор болтаю я.
Прими мой труд непринужденный!
Счастливым светом озаренный
Души, свободной от забот,
Он — твой достаток справедливый,
Он первый плод мечты игривой,
Он новой жизни первый плод.

1828

239. ЦЫГАНКА

ГЛАВА 1

«Прощай, Елецкой: ты невесел,
И рассветает уж давно;
Пошло мне впрок твое вино:
Ух! я встаю насилу с кресел!
Не правда ль, братцы, по домам?»
— «Нет! пусть попляшет прежде нам
Его цыганка. Ангел Сара,
Ну что? Потешить нас нельзя ль?
Ступай, я сяду за рояль».
— «Могу сказать, вас будет пара:
Ты охмелен, и в сон она
Уже давно погружена.
Прощайте, господа!..»
Гуляки
Встают, шатаясь на ногах;
Берут на стульях, на столах
Свои разбросанные фраки,
Свои мундиры, сюртуки;
Но, доброй воле вопреки,
Неспоры сборы. Шляпу на лоб
Надвинув, держит пред собой
Стакан недóпитый иной
И рассуждает: «Надлежало б...»
Умом и телом недвижим,
Он долго простоит над ним.
Другой пред зеркалом на шею
Свой галстук вяжет, но рука
Его тяжка и неловка:

Всё как-то врозь идут под нею
Концы проклятого платка.
К свече приставя трубку задом,
Ждет третий, пасмурный чудак,
Когда закурится табак.
Лихие шутки сыплют градом.
Но полно: вон валит кабак.
«Прощай, Елецкой, до свиданья!»
— «Прощайте, братцы, добрый путь!»—
И, сокращая провожанья,
Дверь поспешает он замкнуть.

Один оставшися, Елецкой
Брюзгливым оком обозрел
Покой, где праздник молодецкой
Порой недавнею гремел.
Он чувство возбуждал двойное:
Великолепье отжилое,
Штоф полинялый на стенах;
Меж окон зеркала большие,
Но все и в пятнах и в лучах;
В пыли завесы дорогие,
Давно не чищенный паркет;
К тому же буйного разгулья
Всегдашний безобразный след:
Тут опрокинутые стулья,
Везде табачная зола,
Стаканы середи стола
С остатками задорной влаги;
Тарелки жирные кругом;
И вот, на выпуске печном,
Строй догоревших до бумаги
И в блеске утренних лучей
Уже бледнеющих свечей.

Открыв рассеянной рукою
Окно, Елецкой взор тупой,
Взор, отуманенный мечтой,
Уставил прямо пред собою.
Пред ним, светло озарена
Наставшим утром, ото сна
Москва торжественно вставала.

Под раннею лазурной мглой
Блестящей влагой блеск дневной
Река местами отражала;
Аркада длинного моста
Белела ярко. Чуден, пышен,
Московских зданий красота,
Над всеми зданьями возвышен,
Огнем востока Кремль алел.
Зажгли лучи его живые
Соборов главы золотые;
Меж ними царственно горел
Иван Великий. Сад красивый,
Кругом твердыни горделивой
Вияся, живо зеленел.
Но он на пышную столицу
Глядел с душевною враждой.
За что? О том в главе другой
Найдут особую страницу.
Он был воскормлен сей Москвой.
Минувших дней воспоминанья
И дней грядущих córованья —
Всё заключал он в ней одной;
Но странной доли нес он бремя,
И был ей чуждым в то же время,
И чуждым больше, чем другой.

ГЛАВА 2

Отца и матери Елецкой
Лишился в годы те, когда
Обыкновенно жизни светской
Нам наступает череда.
И свет узнал он, и сначала
Являлся в вечер на три бала;
С визитной карточкой порой
Летел на выезд городской.
Согласно с общим заведеньем,
Он в праздник Пасхи, в Новый год
К дяди́м и теткам с поздравленьем
Скакал с прихода на приход...

Живее жизнью насладиться
Алкал безумец молодой
И начал с первых дней томиться
Пределов светской теснотой.

Ему в гостиных стало душно:
То было глупо, это скучно.
Из них Елецкой мой исчез,
И на желанном им просторе
Житьем он новым зажил вскоре
Между буянов и повес.
Развратных, своевольных правил
Несчастный кодекс он составил;
Всегда ссылалось на него
Его блажное болтовство.
Им проповедуемых мнений
Иль половины их большой,
Наверно, чужд он был душой,
Причастной лучших вдохновений,
Но, мысли буйством увлечен,
Вдвойне молву озлобил он.

С Москвой и Русью он расстался,
Края чужие посетил;
Там промотался, проигрался
И в путь обратный поспешил.
Своим пенатам возвращенный,
Всему решительным венцом,
Цыганку взял к себе он в дом,
И, общим мненьем пораженный,
Сам рушил он, над ним смеясь,
Со светом остальную связь.

Тут нашей повести начало.
Неделя светлая была
И под Новинское звала
Гражда́н московских. Всё бежало,
Всё торопилось: стар и млад,
Жильцы лачуг, жильцы палат
Живою, смешанной толпою
Туда, где, словно сам собою,
На краткий срок, в единый миг,
Блистая пестрыми дворцами,
Шумя цветными флюгерами,
Средь града новый град возник:
Столица легкая безделья
И бесчиновного веселья,
Досуга русского кумир!

Там целый день разгульный пир;
Там раздаются звуки трубны,
Звенят, гремят литавры, бубны;
Паясы с зыбких галерей
Зовут, манят к себе гостей.
Там клепер знает чет и нечет;
Ножи проворные венцом
Кругом себя индеец мечет
И бисер нижет языком.
Гордясь лихими седоками,
Там одноколки, застучав,
С потешных гор летят стремглав.
Своими длинными шестами
Качели крашеные там
Людей уносят к небесам.
Волшебный праздник довершая,
Меж тем с веселым торжеством
Карет блестящих цепь тройная
Катится медленно кругом.

Меж балаганов оживленных,
Ежеминутно осажденных
Нетерпеливою толпой,
Давно бродил Елецкой мой.
Окинув взорами собранье,
В одном остановил вниманье
Он на девице молодой.
Своими чистыми очами,
Своими детскими устами,
Своей спокойной красотой,
Одушевленной выраженьем
Сей драгоценной тишины,
Она сходна была с виденьем
Его разборчивой весны.
Давно он знал ее заочно.
С его глазами ненарочно
Глазами встретилась она;
Их выраженьем смущена,
Покрылась краскою живою
И отвела тихонько взор.
Охвачен бедственной межою,
Не зрел Елецкой с давних пор
Румянца этого святого!

Упадший дух подъемля в нем,
Он был для путника ночного
Денницы розовым лучом.
Он к милой думой умиленной
Летит. Меж тем она встает;
Девице руку подает
Ее сосед, старик почтенный;
Из балагана йдут вон —
И их в толпе теряет он.

Узнать, душою не в покое,
Он жаждет имя дорогое!
И незнакомка названа.
Гражданка сферы той она,
Того злопамятного света,
С кем в опрометчивые лета,
В избытке гордом юных сил,
Сам в бой неровный он вступил.
Смягчит ли идол оскорбленный
Он жертвой позднею своей?
Против него предубежденной,
Предстать осмелится ли ей?
И всех преград он сам виною!
Меж тем в борьбе его с молвою
Прошло, промчалось много дней.
Елецкой мыслил промежутком;
Полней других созрел рассудком
Он в самом опыте страстей,
И наконец среди пороков,
Кипевших роем вкруг него,
И ядовитых их уроков,
И омраченья своего
В душе сберег он чувства пламя.
Елецкой битву проиграл,
Но, побежденный, спас он знамя
И пред самим собой не пал.

ГЛАВА 3

Незамечаем и неведом,
За милою бродил он следом;
В тени задумчивых дубров
Прекрасных Пресненских прудов,

В аллеях стриженых бульвара,
Между красавиц городских
Искал он девы дум своих.
Не для блистательного дара
Актеров наших посещал
Он душный театральный зал —
Елецкой, сцену забывая,
С той ложи не сводил очей,
В которой Вера молодая
Сидела, изредка встречая
Взор, остановленный на ней.
Вкусив неполное свиданье,
Елецкой приходил домой,
Исполнен мукою двойной;
Но, полюбив свое страданье,
Такой же встречи с новым днем
Искал в безумии своем.

Однажды... погасал, свежея,
Июльский день. Бульвар Тверской
Дремал под нисходящей мглой;
Пустела длинная аллея;
Царица тишины и сна,
Высоко поднялась луна.
Но со знакомыми своими
Еще в болтливом забытье,
Сидела Вера на скамье.
В соседстве, не замечен ими,
За липой темной и густой,
Стоял влюбленный наш герой.
Перчатку Вера уронила.
Поспешно поднял он ее
И подал ей. Лицо свое
К нему с испугом обратила
Младая дева. Разговор
Прервав, на нем остановила
Встревоженный, но долгий взор.
Судьбу, душой своей довольный,
Он и за то благодарил.
Елецкой Веру поразил
Своей услугой своевольной,
И, хоть на час, ее мечта
Им, верно, будет занята.

Что ж! и сомнительное счастье
Мгновенных, бедных этих встреч
Ему осеннее ненастье
Не позамедлило пресечь.
Покрылось небо облаками;
Дождь бесконечный ливмя лил;
И вот мороз его сменил.
Застыли воды, снег клоками
На мостовую повалил,—
Пришла зима. Свистя, крутится
Метель на Пресненских прудах,
На обнаженных деревах
Бульвара иней серебрится.
Там, где недавнею порой
Гуляли грации толпой,
Какой-нибудь жандарм усатый,
Шагая, шпорами стучит;
С метлой стоит мужик брадатый
Иль школьник с сумкою бежит.
Для балов, вечеров при этом
Театр оставлен модным светом.
Елецкой мрачен и сердит...

Но вот в известном маскараде
Должна быть Вера. Ожил он
И в полнадежде, в полдосаде
Лелеет деятельный сон.

Живая музыка играет;
Кадрили вьются ей под лад,
Кипит, пестреет маскарад.
В его затею не вступает,
И кстати, большинство гостей;
В тени их он еще видней.
Призра́ки всех веков и наций,
Гуляют феи, визири,
Полишинели, дикари,
Их мучит бес мистификаций;
Но не выходит хитрых фраз:
«Я знаю вас! я знаю вас!..»
Ни у кого для продолженья
Недостает воображенья.
Признаться надобно: не нам,
Сугробов северных сынам,

Приноровляться к детям юга!
Метелей дух не создал нас
Для их блистательных проказ.
К чему неловкая натуга?
Мы сохраняем холод свой
В приемах живости чужой.

Елецкой и́з ряду выходит
И Веру чуть с ума не сводит.
Успел разведать он о ней
Довольно этих мелочей,
В которых тайны роковые
Девицы видят молодые.
В словах запутанных своих
Он намекает ей о них;
И, удивленья и смущенья
Полна, горит она лицом
И вот выходит из терпенья:
«Я как обманутая сном!
Скажите, ради бога, кто вы?»

Елецкой

Вы любопытны, как дитя.
Итак, со мною не шутя
Вы познакомиться готовы?
Нежданным именем моим
Я испугаю вас.

Вера

Как скучно!
Всё шутки.

Елецкой

Я не склонен к ним
И остерег вас добродушно.
Я дух... и нет глуши, жилья,
Где б я, незримый, не был с вами.
Всё чутким ухом слышу я,
Всё вижу зоркими очами.
Не бойтесь! Слушаю, гляжу
Я с полной преданностью дружбы;
Неожидаемые службы
Я вам догадливо служу;

Однажды перед ваши очи
Я в виде смертного предстал;
В ту пору сумрак летней ночи
Мне образ видимый давал...
Вы узнаете?

Вера

Ваши сказки
Вы продолжи́те до утра.
Смотрите: все снимают маски,
Снимите же свою, пора!

Елецкой

Не мне. Оставьте убежденья,
Я не исполню ваш приказ.
Лицо открыл бы я для вас
Без выраженья, без значенья.
Нет, нет: я вспомню веселей
Сей разговор непринужденный,
Почти нежданно уловлённый
Счастливой маскою моей,
Чем взор холодного смущенья,
Который на лицо мое
Вперите вы, когда ее
Сниму я вам из угожденья.
Нет, я б не мог его снести!
Прощайте, я не здешний житель,
В мою безвестную обитель
Я должен вовремя сойти.

Елецкой тихо удалился;
Уж был у выхода и зал
Совсем, казалось, покидал,
Но у дверей остановился:
Взглянуть он раз еще желал
На Веру... Тихий взор он встретил,
Мольбу немую в нем заметил,
Укор в нем дружеский постиг
И скинул маску. В этот миг
Пред ним лицо другое стало,
Очами гневными сверкало
И дико поднятой рукой
Грозило Вере и пропало
С Елецким вместе за толпой.

Едва веселыми лучами
День новый окна озлатил,
Елецкой скорыми шагами
Уже по комнате ходил.
Порой, в забвении глубоком
Остановясь, прилежным оком
Во что-то всматривался он.
Во взорах счастье выражалось;
Перед душой его, казалось,
Летал веселый, светлый сон.
Через мгновенье пробужденный,
Он, тем же чувством озаренный,
Свою прогулку продолжал
И скоро снова прерывал.
В покое том же, занимая
Диван, цыганка молодая
Сидела, бледная лицом.
Усталость выражали очи:
Казалось, в продолженье ночи
Их Сара не смыкала сном.
Она порывисто чесала
Густые, черные власы
И их на темные красы
Нагих плечей своих метала.
Она склонялась головой,
Но на Елецкого порой
Взор исподлобья подымала.
Какою злобой он дышал!
Другой мечты душою полон,
Подруги он не замечал;
К ней напоследок подошел он.
«Что это смотришь ты совой? —
Сказал он.— Сара, что с тобой?
Да молви слово!»

Сара

Ах, мой боже!
Ты ждешь ответа моего?
Вот он: я знаю, отчего
Ты так доволен!

Елецкой

Отчего же?

Сара

Меня ты думал обмануть,
Когда вчера, кривя душою,
Ты мне с заботою такою
Скорей советовал заснуть!
«Устала, Сара? Дремлешь, Сара?
Ляг, Сара, спать!» И я легла,
Да уж нарочно не спала!
Давно грозит мне эта кара!
Давно я брошена тобой!
Ты сутки целые порой
Двух слов со мной не произносишь,
Любимых песен петь не просишь!
Да и по ком твоя душа
Уж так смертельно заболела?
Ее вчера я разглядела:
Совсем, совсем не хороша!

Елецкой

Так вот в чем дело!

Сара

Сара знает,
Какая ждет ее судьба
За то, что служит, угождает
Тебе по воле, как раба:
Со знатной барышней своею
Ты обвенчаешься, а с нею
Простишься, и ее на двор
Метлою выметут, как сор.

Елецкой

Ты совершенно сумасбродишь!
Какие странные мечты!
По пустякам горюешь ты
И на меня тоску наводишь.

Сара

А кто, бывало, говорил,
Ко мне ласкаясь то и дело:
«Тебя я, Сара, полюбил.
Жить одному мне надоело,
Будь мне подругою! Со мной
Живи под кровлею одной!

Я нравом весел; живо, шумно,
В пирах и песнях завсегда
Мы будем проводить года».
Я согласилася безумно.
Что ж вышло?

Елецкой

Из моих речей
Тобой забыта половина.
Я говорил: твоя судьбина
Не будет скована с моей!
Покуда любо жить со мною,
Живи! Наскучило — прощай,
Былую радость поминай!
С твоей свободой той порою
Я выговаривал мою.
Но я тебя не узнаю!
И, сердце будущим тревожа,
Ты на цыганку не похожа.
Ваш род беспечен.

Сара

Проклят он!
Он человечества лишен!
Нам чужды все края мирские!
Мы на обиды рождены!
Забавить прихоти чужие
Для пропитанья мы должны.
Я о себе молчу: цыганка
Вам не подруга, а служанка!
Она пляши и распевай,
А сердцу воли не давай.

Елецкой

Оставь пустые опасенья,
Не разлучимся мы с тобой.
Хотя другого поколенья,
Родня я вашему судьбой.
И я, как вы, отвержен светом,
И мне враждебен сердца глас...
Не распадется, верь мне в этом,
Цепь, сопрягающая нас.

Когда с цыганкой молодою
Судьба Елецкого свела,
Своей разгульною душою
Она мила ему была.
«Я горя знать не буду с нею.
Каких тяжелых, черных дум,
Мне иногда гнетущих ум,
Свободной резвостью своею
Не удалит она сейчас?
Кому при блеске этих глаз
Приснятся мрачные печали?»
Так думал он, но дни мелькали;
К ее душе своей душой
На продолжительное время
Не мог пристать Елецкой мой.
Ему потом уж стали в бремя
Затеи девы удалой.
Не принимая в них участья,
Уж он желал другого счастья:
Души, с которой мог бы он
Делиться всей своей душою.
Надеждой томной увлечен,
Он Саре пробовал порою
Передавать свои мечты,
Но образованного чувства
Язык для дикой красоты
Был полон странной темноты.
Она, не ведая искусства,
Под речи друга своего
Без всякой совести зевала
И в скором времени его
Сторонней шуткой прерывала,
Но смутно трогалась, и ей
Невразумительных речей
Цыганка голос понимала.
Подруге ветреной своей
Он ежедневно был милей,
Но к ней хладел по той же мере.
Когда, любовью вспыхнув к Вере,
Он нравом стал еще мрачней,
Она развлечь его хотела,
Она родные песни пела,
Она по стульям, по столам
С живыми кликами скакала;

Она при нем по пустякам
Как можно громче хохотала;
Но завсегда ее смущал
В то время взор его брюзгливый,
Пред ним порыв ее игривый
В одно мгновенье упадал.
Она сердилась и роптала,
И грусть давила сердце ей,
И тщетно Сара призывала
Покой и радость прежних дней.

ГЛАВА 5

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
Как часто в середине бала,
Когда уж музыка играла
Иль попурри, иль котильон
И Вера со своим танцором,
Наскуча пошлым разговором,
Погружена в сторонний сон,
Глазами молча провожала
Среди блистательного зала
Пред нею вьющиесь четы,—
Елецкой речию своею,
Нежданно слышимой за нею,
Вдруг прерывал ее мечты.
Довольно холодно сначала
С ним в разговор она вступала,
Но оживлялася потом,
И, ободрен ее вниманьем,
Он был заманчивым свиданьем
К свиданью новому влеком.

Однажды он за стулом Веры
Средь вихря бального сидел.
В своих речах уж не умел
Он соблюдать холодной меры;

Она исчезнула. Лишен
Над пылким сердцем всякой власти,
Уж говорил открыто он
С ней языком мятежной страсти.
Кончая, «Дайте мне ответ! —
Он молвил.— Многое во вред
Мне городская злоба трубит;
Сжился я со враждой молвы;
Но вы? Что думаете вы
О том, который вас так любит?»

Вера

Что все другие; даже мне
Еще известнее, как пра́ва
О вас рассеянная слава,
Как должно верить ей вполне.

Елецкой

Вам всех известней? Вы всех строже?
Но почему же, отчего же?

Вера

Когда глаза мои в тот раз
Меня в обман не приводили,
Словами вашими сейчас
Двух, не одну вы оскорбили.

Елецкой

Я вашей искренности рад.
Уже в судьбе моей стократ
Я с вами жаждал объясненья!
Примите исповедь мою,
Весьма во многом, нет сомненья,
Останусь я без извиненья,
Но ничего не утаю.

Елецкой в тягостную повесть
Минувших дней своих вступил,
Свою запутанную совесть
Он перед Верой обнажил;
Поверил ей без украшенья
Свои былые заблужденья,
К которым, впрочем, был влеком
Он меньше сердцем, чем умом.

С ее случайною знакомкой,
Своею смуглой однодомкой,
Свое сближенье передал,
Как сам его он понимал:
Одним внушением унылым
Души, томимой пустотой,
Союзом, столько же постылым
Теперь ему, как ей самой.
«К ней обратиться,— он прибавил,—
Безумный миг меня заставил;
Ошибся я в себе и в ней.
Нет, нет! я не был с нею дружен!
Я для души ее не нужен,—
Нужна другая для моей».

И тихо речь его журчала
За Верой, ей одной слышна.
Но что? Вникала ли она
В слова его? Она молчала;
Была чуть-чуть обращена
К нему щека ее одна;
Но это легкое движенье
Заметить было мудрено,
Злословье самое оно
Не привело бы в искушенье.
Ей изменяло лишь одно:
Вниманье к балу притупело,
И краснощекий офицер,
Тогдашний Верин кавалер,
Ее в то время то и дело
К порядку танца пробуждал
И ей фигуры толковал.

Природа Веру сотворила
С живою, нежною душой;
Она ей чувствовать судила
С опасной в жизни полнотой.
Недавно дева молодая,
Красою свежею блистая,
Вступила в вихорь городской.
Она еще не рассудила,
Не поняла души своей,
Но темною мечтою в ней
Она уже проговорила.

Странна ей суетность была;
Она плениться не могла
Ее несвязною судьбиной;
Хотело б сердце у нее
Себе избрать кумир единый
И тем осмыслить бытие.
Тут романтические встречи
С героем повести моей,
Его задумчивые речи
Тревожить душу стали ей.
Одно, быть может, впечатленье
Ей берегло воображенье...
Его рассеял он. С какой
Благополучною душой
С тех пор она ему внимала!
С какою сладостью о нем
В невольном забытье своем
Уединенная мечтала!
Как, новой жизнию дыша,
Легко ей было! Как блистала,
Как ликовала в ней душа!
Девица юная не знала,
Живого счастия полна,
Что так доверчиво она
Одной отравой в нем дышала;
Что сей приветный ветерок,
Ее ласкающий так нежно,—
Грозы погибельной пророк;
Что вдруг дохнет она мятежно,
И мир в глазах ее затмит,
И все красы его разрушит,
И все цветы его иссушит,
И жизни путь опустошит.

ГЛАВА 6

Летели дни. Свои свиданья
Елецкой с Верой продолжал,
И с каждым больше упованья
Любви своей он обретал.
Увы! старательно скрывая
Заботу сердца, между тем,
Наверно, дева молодая
С ним не обмолвилась ничем;

Но не владела выраженьем
Лица невинного она,
На нем со всем ее смятеньем
Была душа ее видна.
«Любим я!» — с ропотом и мукой
Елецкой сам себе твердил.
Великий пост уж подходил
И с Верой скорою разлукой,
Разлукой долгою грозил!
. . . .
. . . .
«Нет! — мыслит он.— До расставанья,
Во что бы ни было, должна
Решить судьбу мою она!»

Он ждет удобного мгновенья;
И Вера, время разлученья
Предвидя, днями дорожит
И их считает и грустит.
Уехал дядя. В тихой зале,
При свете двух свечей, одна,
Твердила на своем рояле
Урок докучливый она;
Полна душой другой заботы,
Насильно всматриваясь в ноты...
Вдруг... протянувшись перед ней,
Закрыла их рука чужая.
Ветр пошатнул огонь свечей;
Вздрогну́ла дева молодая,
Оборотилася, глядит —
Елецкой перед ней стоит.
«Не беспокойтесь, ради бога!
Какая странная тревога
У вас написана в глазах!
Я вас прошу, не уходите!
Чего боитесь вы? Сидите,
Я всё скажу вам в двух словах».

Вера

Я не могу остаться с вами!
Подите. Разговор такой
Мне неприличен. Боже мой!
Одна я, видите вы сами!
Подите.

Елецкой

Наперед я знал,
Что я застану вас одною,
Одну я видеть вас желал.
Остаться должно вам со мною,
Вам должно выслушать меня.

Вера

Оставьте до другого дня,
Я умоляю вас, подите!
Мой дядя будет сей же час.

Елецкой

Один вопрос: люблю я вас,
Вы это знаете. Скажите:
Я равнодушен вам иль нет?

Вера

На всё, на всё один ответ:
Подите!..

Елецкой

Вы ли говорили?
Я ль слышал вас? и не во сне!
Я не любим... Зачем же мне
Давно вы это не внушили?
Своей холодности зачем
Вы мне тотчас не показали?
Зачем, скажите мне, внимали
Вы так приветно между тем?
Зачем, глаза мои встречая,
Не отводили ваших глаз?
Зачем дышала всякий раз
В них дума нежная такая?
Дитя! Кокетки записной
Постигнув опытную ролю,
Признайтесь: вы играли вволю
Моей безумною душой!
Кто б мог подумать! В ваши лéта!
Мою любовь мне не забыть;
Желал бы я ее предмета
Не презирать. Но — так и быть! —
Прощайте!

Вера

Нет! такого мненья
Я не оставлю ни за что!
Не правы ваши заключенья.
Я прямодушна. Я не то
Сказать хотела... Нет... Просите
Руки моей, и если...

Елецкой

Вы?
Вы мне об этом говорите?
А восклицанья всей Москвы!
На наш союз ваш дядя строгой
Не согласится никогда;
Молитвы будут без плода.
Нет, Вера, нет! Другой дорогой
Идти нам должно. Для венца
Сегодня ночью у крыльца
Я ждать вас буду. Всё готово.
Бежать со мною дайте слово!
Любовь слепая мне нужна.
Решитесь.

Вера

Я изумлена
Таким нежданным предложеньем.
Нет, это будет преступленьем!
Нет, я и думать не хочу!
Я так ужасно огорчу
Того, который...

Елецкой

Всё забудет
Он, нашим счастием счастлив,
И напоследок справедлив
Он и ко мне, наверно, будет.
Ему (вам нужно ль обещать?)
Я буду сыном самым нежным.
Страдал я долго безнадежным —
Ах, Вера! снова ли страдать!
Меня вы любите; судьбиной
Оставлен нам исход единый.

Ах, Вера, Вера! сердце в вас
Сей миг решительный измерит,
Меня печально разуверит
В нем малодушный ваш отказ.
Всё, всё он кончит между нас!
Бегите, Вера! дайте руку...
Не на ужасную разлуку,
С которой не сживуся я,
Но на союз святой и вечный.
Мой милый друг, мой друг сердечный!
Скажи: не правда ль? ты моя?

Вера

Люблю, люблю я вас... Но что же?
Что предлагаете вы мне?
На что решиться? Боже, боже!
Подумать дайте в тишине!

Елецкой

Я знаю, горестная мера;
Но — ты ль не видишь? — нет иной!
Решись!

Вера

Не нынче!

Елецкой

Нынче, Вера!
Сегодня, друг бесценный мой!

Недолго дева молодая
Еще противилась ему.
Он нежно к сердцу своему
Прижал ее. Лицом пылая,
Потупя взор, склонив главу,
Она умом изнемогала
И, ни во сне ни наяву,
Свое согласье прошептала.

Елецкой ликовал душой;
По темной улице домой
Он шел походкою веселой.
Но у порога своего
Остановился: ум его
Смутился думою тяжелой:

Там Сара! В голове своей
Уже Елецкой принял меры,
Чтоб неприличной встрече с ней
Вновь не подвергнуть милой Веры.
Москву с невестой в эту ночь
Покинет он; обряд венчальный
Он совершит в деревне дальной;
Он всё предвидел, всё точь-в-точь
Обдумал. Сары он не знает;
Любовью в ней не почитает
По нем расчетливой любви;
Не верит в ней ревнивой муке.
«Из них любую призови —
Все тверды в нужной им науке!» —
Так мыслил он. Но в этот миг...
Иль Сару лучше он постиг
При наступающей разлуке?
Упрек в душе его возник.
Его докучное внушенье
Он опроверг в уме своем
И, отряхнув недоуменье,
Вошел в свой дом, где в то мгновенье
И Сара думала о нем.

ГЛАВА 7

Грустила брошенная Сара;
Но в этот вечер было ей
Еще грустней, еще тошней.
Почти болезненного жара
Была тоска ее полна.
В своем волнении она
Платком в лицо себе махала —
Прохлады воздух не давал,
Но кровь ей пуще волновал!
Иглу к работе принуждала —
Колола пальцы ей игла.
Гадать цыганка начала —
Еще тошнее: карты врали,
Когда ей счастье предрекали,
И наводили страх, когда
В них выходила ей беда.
Их со стола она столкнула,
Шитье отбросила, вздохнула;

На стол локтями опершись,
Цыганка стиснула руками
Чело... и смятыми кольцами
Вкруг пальцев кудри обвились.
Закрыв глаза, она сидела...
Вдруг шепчут: «Сара, Сара!» К ней
В покой из боковых дверей
Цыганка старая глядела.

Сара

Ненила, ты? Войди скорей;
Я заждалась тебя, Ненила;
Совсем я брошена, совсем!
Не угожу ему ничем.
Хотя бы ты мне услужила!
Что, принесла ли?

Старуха

Принесла.
Да уж насилу добрела,
Метель такая закутила!
Гдяди-ка — вот твое вино!
Уж удружит тебе оно,
Спасибо скажешь.

Сара

Ах, Ненила!
Верь, ты мне душу воротила!
Я полюблюсь ему опять?
Да полно, правда ль?

Старуха

Что мне лгать!
Лишь дай испить, сама увидишь!
Он обвенчается с тобой,
И заживешь ты госпожой,
А там старухи не обидишь.
Ты мне поверь, моя красотка,
Придут другие времена!

Сара

Как я тобой одолжена!
Но там идут... его походка.
Поставь подарок свой на стол.

Дай и прощай, уйди отселе,
Уйди скорее!

В самом деле,
Елецкой в комнату вошел.
В глазах его была суровость,
Пред Сарой молча он ходил,
Речь наконец к ней обратил:
«Тебе сказать я должен новость:
С тобой я скоро расстаюсь.
Послушай, Сара! я женюсь».

Лицо у Сары побледнело
И загорелось в тот же миг.
Нож острый в сердце ей проник,
Оно то стыло, то кипело;
Хотела б смертная тоска
Излиться воплем и слезами...
Рвалися бурными волнами
У ней попреки с языка...
Но эти первые движенья
Она в себе перемогла
И голос мирный обрела,
Хотя дрожащий от волненья.
«Давно я этого ждала!
Не удивишь меня разлукой,—
Сказала Сара.— Долгой мукой
Я приготовлена была.
А скоро ль свадьба?»

Елецкой

В доме этом
Я не ночую; не жалей
О старине. В судьбе твоей
Я обязуюся ответом,
И уж подумал я о ней;
Довольна будешь.

Сара

Мне не нужно
Постылых милостей твоих.
Не беспокойся, и без них
С тобой расстануся я дружно.
Пенять не буду я тебе.

Жила я весело, счастливо;
Теперь не то,— какое диво?
Не всё стоять одной судьбе!
У нас верна одна могила;
А кто на свете долго мил?
Как ты сегодня разлюбил,
Так я бы завтра разлюбила;
За что сердиться?

Елецкой

Очень рад.
Дай руку, Сара! Пред тобою
Я совершенно виноват.
Я вижу, выше ты душою,
Чем полагал доселе я:
Ты не притворщица пустая.
Обыкновенье ваше зная,
Я ждал упреков, слез, вытья...
Спасибо, нет их; без сомненья,
Простимся дружно мы с тобой.
Мила ты, Сара!

Сара

Плач и вой
В душе... Но что до сокрушенья!
В слезах и воплях толку нет.
Мы расстаемся? Власть господня!
Простимся весело. Сегодня
Я именинница, мой свет!
В последний раз мое здоровье
Ты должен выпить... но до дна!
Как в старину; смотри ж: условье!
Не то сейчас заплачу... На!

Елецкой

Твое здоровье? Рад душою...
И вот — ни капли нет на дне.
Надеюсь, ты довольна мною?

Сара

Спасибо! Сядь теперь ко мне,
Поговорим по старине.

И с равнодушным послушаньем
К ней на диван Елецкой сел,
Но, далеко уже мечтаньем,
Он на часы свои глядел.
«Скажи мне,— Сара продолжала,—
Судьбою новою своей
Доволен ты?»

Елецкой

А что?

Сара

Ей-ей!
Я коротко твой нрав узнала:
Не переменишься ты в нем...
Привык ты к беззаботной доле,
Разгульной жизни, вольной воле,
Стошнишь порядочным житьем.
Наскучит, твердо предрекаю,
Тебе и милая твоя,—
Тебе наскучила же я!
Жаль бедной! По себе я знаю,
И слишком знаю, каково!
Как я бы выла да рыдала,
Когда бы втайне не питала
Еще у сердца моего
Одной надежды!

Елецкой

Полно, что ты?
Все были кончены расчеты,—
Что за надежда?

Сара

Брежу я.
И как равняться я посмею
С невестой счастливой твоею!
О ней единой мысль твоя;
Ты ею дышишь. Ах, царица,
Царица светлая она!
Я перед нею пыль одна.
Но... в ум придет же небылица!
Забудь любовь свою на час:
Какая разница меж нас?
Что я цыганкой уродилась?

Что нет за мною сел, хором?
Что говорить не научилась
Я иностранным языком?
Вот всё. Не шутка, очень знаю!
Но сердцем я не уступаю
Твоей невесте. Чем она
Любовь поныне доказала?
Какие слезы проливала?
Что перенесть была должна?
А я... что слез я источила,
Каких обид не проглотила,
Молчанье горькое храня!
Ты разлюбил — я всё любила;
Ты гнал безжалостно меня —
К тебе я, злобному, ласкалась,
Как собачонка. Рассмотри
Меня получше: говори,
Такая ль я тебе досталась?
Глаза потухнули от слез;
Лицо завяло, грудь иссохла;
Я только-только что не сдохла!..
Ты всё молчишь?

Елецкой

Тебе нанес
Я много горя... Я не ведал,
Когда другой мой жребий предал,
Что ты... Но что со мною?.. Свет
В глазах темнеет... всё кружится...
Мне дурно, Сара, дурно...

Сара

Нет!
Я знаю, что в тебе творится.
В душе мятущейся твоей
Я чудным чудом оживаю,
Разлучницы проклятой в ней
Бесовский образ погашаю.
Бледнеешь ты... Немудрена
Измена мне, а ей страшна!
Будь ей теперь моя судьбина!
Томись она, крушись она!
С тоски иссохни, как лучина!
Умри она! Ты мой: приди,
Прижмись опять к моей груди!

Очнись от лютого угара,
Приди, и всё забуду я.
Узнай меня, узнай: я Сара!
Я Сара прежняя твоя.

Цыганка страстными руками
Его, рыдая, обвила
И жадно к сердцу повлекла.
Глядел он мутными глазами,
Но не противился. Главой
Он даже тихо приклонился
К ее плечу; на нем, немой,
Казалось, томно позабылся.
По грозной буре тишина
Влилась отрадно в сердце Сары.
«Он мой! Подействовали чары!» —
С восторгом думала она.
Но время долгое проходит —
Он всё лежит, он всё молчит;
Едва дыханье переводит
Цыганка. «Милый мой!.. Он спит.
Проснись, красавец!» Зов бесплодный;
Миг страшной истины настал:
Она вгляделась — труп холодный
В ее объятиях лежал.

ГЛАВА 8

Стояла ночь уже давно.
Градские стогны опустели;
В домах уснувших ни одно
Не озарялося окно,
Все одинаково чернели.
Луна не светит, всё молчит;
Лишь ветер воет и свистит,
Метель до кровель воздымая.
Обету своему верна,
До самой улицы одна
Доходит Вера молодая;
Никем не встречена она.
В лицо, суровый и холодный,
Ей дует ветер непогодный,
И ночь ненастная черна.
Она стоит; она мгновенья
Считает, полная волненья...

Бегут мгновенья! Вера ждет —
Он не приходит; не придет!
В ней сердце замерло... Девицу
Приемлет снова прежний кров.
Уж ранний вой колоколов
Порою той будил столицу,
И в город, сквозь ночную тень,
Уж, голубея, крался день.

Холм, под которым спит Елецкой,
Где он забыл любовь, вражду,
Где равнодушен он к суду
Толпы и светской и несветской,
Уж не однажды порастал
Весенней, новою травою,
И снег пушистой пеленою
Его не раз уж покрывал.
Но долго ль юноша несчастный
Жил в сердце Веры? Много ль слез,
Ее сердечных первых грез
У ней исторг обман ужасный?
В ту ж зиму с дядей-стариком
Покинув город, возвратилась
Она лишь два года потом.
Лицом своим не изменилась,
Блистает тою же красой,
Но строже смотрит за собой:
В знакомство тесное не входит
Она ни с кем. Всегда отводит
Чуть-чуть короткий разговор.
Подчинены ее движенья
Холодной мере. Верин взор,
Не изменяя выраженья,
Не выражает ничего.
Блестящий юноша его
Не оживит, и нетерпенья
В нем не заметит старый шут;
Ее смешливые подруги
В нескромный смех не вовлекут;
Разделены ее досуги
Между роялем и канвой;
В раздумье праздном не видали
И никогда не заставали
С романом Веры Волховской.

Девицей самой совершенной
В устах у всех она слывет.
Что ж эту скромность ей дает?
Увы! тоскою потаенной
Еще ль душа ее полна?
Еще ли носит в ней она
О прошлом верное мечтанье
И равнодушна ко всему,
Что не относится к нему,
Что не его воспоминанье?
Или, созрев умом своим,
Уже теперь постигла им
Она безумство увлеченья?
Уразумела, как смешно
И легкомысленно оно,
Как правы принятые мненья
О романтических мечтах?
Или теперь в ее глазах
За общий очерк, в миг забвенья
Полусвершенный ею шаг
Стал детской шалостью одною,
И, с утонченностью такою
Осмотру светскому верна,
Его сама перед собою
Желает искупить она?

Одно ль, другое ль в ней виною
Страстей безвременной тиши —
Утрачен Верой молодою
Иль жизни цвет, иль цвет души.

Куда заснувшею столицей
При ярком блеске зимних звезд
В санях несется вереницей
Весельчаков ее поезд?
К цыганам. Пред знакомым домом
Остановились. В двери с громом
Стучат; привычною рукой
Им отворил цыган седой.
В хоромах спящих тьма густая,
Но путь знаком. Толпа лихая
Спешит проникнуть в тот покой,
Где, ночи шумной ожидая,
Еще с вечерней первой мглой

В свои постели пуховые
Легли цыганки молодые.
Уж гости ветреные там,
Уж кличут дев по именам.
Но всё египетское племя
Кругом приезжих в то же время
С веселым шумом собралось,
И свеч сиянье разлилось.
Дремоту девы покидают,
Встают на общий громкий зов,
Платками плечи прикрывают,
Ногами ищут башмаков
И вот уж весело болтают,
И табор к пению готов.
Одна цыганка на постели
Сидит недвижно. На гостей
Глядит сердито. Роем к ней
Подруги смуглые подсели;
Свой дикий взгляд она хранит,
Устами молча шевелит
Или бессмысленно порою,
Вздохнув, качает головою.
Но грянул своенравный хор —
Блеснул ее туманный взор,
Уста улыбка озарила;
Воскреснув в крике хоровом,
Она, веселая лицом,
С ним голос яркий согласила.
Умолкнул хор — и вновь она
Сидит сурова и мрачна.
Так воротилась в табор Сара.
Судьбы последнего удара
Цыганка вынесть не могла
И разум в горе погребла.
Вотще родимые напевы
Уносят душу бедной девы
В былые, лучшие года!
Так резвый ветер иногда
Листок упадший подымает,
С ним вьется в светлых небесах,
Но, вдруг утихнув, опускает
Его опять на дольний прах.

1829—1831, 1842

ПРИЛОЖЕНИЯ

I. СТИХОТВОРЕНИЯ, НАПИСАННЫЕ В СОАВТОРСТВЕ С ДРУГИМИ ПОЭТАМИ

240

Там, где Семеновский полк, в пятой роте, в домике низком,
Жил поэт Баратынский с Дельвигом, тоже поэтом.
Тихо жили они, за квартиру платили не много,
В лавочку были должны, дома обедали редко,
Часто, когда покрывалось небо осеннею тучей,
Шли они в дождик пешком, в панталонах трикотовых тонких,
Руки спрятав в карман (перчаток они не имели!),
Шли и твердили шутя: «Какое в россиянах чувство!»

1819

241. ПЕВЦЫ 15-ГО КЛАССА

Князь Шаховской согнал с Парнаса
И мелодраму и журнал;
Но жаль, что только не согнал
Певца 15-го класса.

Но я бы не согнал с Парнаса
Ни мелодраму, ни журнал,
А хорошенько б откатал
Певца 15-го класса.

Не мог он оседлать Пегаса —
Зато Хвостова оседлал,
И вот за что я не согнал
Певца 15-го класса.

(*Теперь певцы говорят сами:*)

Хотя и согнан я с Парнаса,
Всё на Песках я молодец:
Я председатель и отец
Певцов 15-го класса.

Я перевел по-русски Тасса,
Хотя его не понимал,
И по достоинству попал
В певцы 15-го класса.

Во сне я не видал Парнаса,
Но я идиллии писал
И через них уже попал
В певцы 15-го класса.

Поймав в Париже Сен-Томаса,
Я с ним историю скропал
И общим голосом попал
В певцы 15-го класса.

Я конюхом был у Пегаса,
Навоз Расинов подгребал
И по Федоре я попал
В певцы 15-го класса.

Я, сам Княжевич, от Пегаса
Толчки лихие получал
И за терпение попал
В певцы 15-го класса.

Хотел достигнуть я Парнаса,
Но Феб мне оплеуху дал,
И уж за деньги я попал
В певцы 15-го класса.*

Кой-что я русского Парнаса,
Я не прозаик, не певец,
Я не 15-го класса,
Я цензор — сиречь, я подлец.

Сочинил унтер-офицер
Евгений Баратынский с артелью
1823 ?

* В сенате третьего я класса,
А здесь в 15-й попал. *Прим. соч.*

Наш приятель, Пушкин Лёв,
Не лишен рассудка:
И с шампанским жирный плов,
И с груздями утка —
Нам докажут лучше слов,
Что он более здоров
Силою желудка.

Федор Глинка молодец:
Псалмы сочиняет,
Его хвалит бог отец,
Бог сын потакает.
Дух святой, известный льстец,
Говорит, что он певец...
Болтает, болтает.

1825

243. БЫЛЬ

Встарь жил-был петух индейский,
Цапле руку предложил,
При дворе взял чин лакейский
И в супружество вступил.

Он детей молил, как дара,—
И услышал Саваоф:
Родилася цаплей пара,
Не родилось петухов.

Цапли выросли, отстали
От младенческих годов;
Длинны, очень длинны стали
И глядят на куликов.

Вот пришла отцу забота
Цаплей замуж выдавать;
Он за каждой два болота
Мог в приданое отдать.

Кулики к нему летали
Из соседних, дальних мест,
Но лишь корм они клевали,—
Не смотрели на невест.

Цапли вяли, цапли сохли,
Наконец, скажу, вздохнув:
На болоте передохли,
Носик в перья завернув.

1825

244

Князь Шаликов, газетчик наш печальный,
Элегию семье своей читал,
А казачок огарок свечки сальной
В руках со трепетом держал.
Вдруг мальчик наш заплакал, запищал.
«Вот, вот с кого пример берите, дуры! —
Он дочерям в восторге закричал.—
Откройся мне, о милый сын натуры,
Ах! что слезой твой осребрило взор?»
А тот ему в ответ: «Мне хочется на двор».

15 мая 1827

245. ЖУРНАЛИСТ ФИГЛЯРИН И ИСТИНА

Он точно, он бесспорно
Фиглярин-журналист,
Марающий задорно
Свой бестолковый лист.
А это что за дура?
Ведь Истина, ей-ей!
Давно ль его конура
Знакома стала ей?
На чепуху и враки
Чутьем наведена,
Занятиям мараки
Пришла мешать она.

16 мая 1827

246. КУПЛЕТЫ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КНЯГИНИ ЗИНАИДЫ ВОЛКОНСКОЙ В ПОНЕДЕЛЬНИК 3-го ДЕКАБРЯ 1828 ГОДА, СОЧИНЕННЫЕ В МОСКВЕ:

кн. П. А. Вяземским, Е. А. Баратынским, С. П. Шевыревым, Н. Ф. Павловым и И. В. Киреевским

Друзья! теперь виденья в моде,
И я скажу про чудеса:
Не раз явленьями в народе
Нам улыбались небеса.
Они нам улыбнутся мило,
Небесным гостем подаря.
Когда же чудо это было?
То было третье декабря.

Вокруг эфирной колыбели,
Где гость таинственный лежал,
Невидимые хоры пели,
Незримый дым благоухал.
Зимой весеннее светило
Взошло, безоблачно горя.
Когда же чудо это было?
То было третье декабря.

Оно зашло, и звезды пали
С небес высоких — и светло
Венцом магическим венчали
Младенца милое чело.
И их сияньем озарило
Судьбу младого бытия.
Когда же чудо это было?
То было третье декабря.

Одна ей пламя голубое
В очах пленительных зажгла,
И вдохновение живое
Ей в душу звучную влила.
В очах зажглось любви светило,
В душе поэзии заря.
Когда же чудо это было?
То было третье декабря.

Звездой полуденной и знойной,
Слетевшей с Тассовых небес,
Даны ей звуки песни стройной,
Дар гармонических чудес;
Явленье это не входило
В неверный план календаря,
Но знаем мы, что это было
Оно на третье декабря.

Земли небесный поселенец,
Росла пленительно она,
И, что пророчил в ней младенец,
Свершила дивная жена.
Недаром гениев кадило
Встречало утро бытия:
И утром чудным утро было
Сегодня, третье декабря.

Мы, написавши эти строфы,
Еще два слова скажем вам,
Что если наши филосо́фы
Не будут верить чудесам,
То мы еще храним под спудом
Им доказательство, друзья:
Она нас подарила чудом
Сегодня, в третье декабря.

Такая власть в ее владенье,
Какая богу не дана:
Нам сотворила воскресенье
Из понедельника она
И в праздник будни обратило
Веселье, круг наш озаря;
Да будет вечно так, как было,
Днем чуда третье декабря!

3 декабря 1828

II. СТИХОТВОРЕНИЯ, ПРИПИСЫВАЕМЫЕ БАРАТЫНСКОМУ

247

С неба чистая,
    Золотистая,
К нам слетела ты;
Всё прекрасное,
    Всё опасное
Нам пропела ты!

Между 1823 и 1825

248

Приют, от светских посещений
Надежной дверью запертóй,
Но благодарною душой
Открытый дружеству и девам вдохновений.

4 декабря 1833

III. СТИХОТВОРЕНИЕ, НАПИСАННОЕ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

249. ⟨АВРОРЕ ШЕРНВАЛЬ⟩

Oh, qu'il te sied ce nom d'Aurore
Adolescente au teint vermeil!
Verse lumière, et plus encore
Aux cœurs dont tu romps le sommeil.
Entends la voix déjà souffrante
De la jeunesse prévoyante:
«Pour qui se lève ce beau jour?
Pour qui cette Aurore charmante
Sera-t-elle soleil d'amour?» [1]

1824?

[1] О румяная девушка, как тебе идет имя Аврора! Излучай свет, как можно больше света сердцам, которые ты лишила сна. Услышь страдающий голос предусмотрительной юности: «Для кого настает этот прекрасный день? Для кого эта очаровательная Аврора будет солнцем любви?»

IV. АВТОПЕРЕВОДЫ СТИХОТВОРЕНИЙ НА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

58

⟨«Чувствительны мне дружеские пени...»⟩

Merci, amis, pour votre indignation flatteuse, mais franchement je renonce à la lyre et me livre avec ivresse au bonheur sans conditions que m'offre la douce oisiveté. L'amour des vers a passé comme l'autre qui vaut bien mieux. Chanter encore, aimer encore... je le voudrais... mais mon âme est trop fatiguée. Je chéris mon pacte avec la désœuvrance; doucement bercé par une comnolence bienheureuse, je ne veux pas tromper par des transports empruntés ni les douces filles de la terre, ni les austères vierges de l'Hélicon.

89

⟨«В дорогу жизни снаряжая...»⟩

La bonne mère qui veut pour nous le voyage de la vie a soin à notre départ de nous pourvoir de rêves d'or. Les rapides années nous menent en poste de relais en relais, et c'est la monnaie dont nous payons les frais de route.

117

⟨«Старательно мы наблюдаем свет...»⟩

Aimons la science, étudions le monde, cherchons à sonder les abîmes du humain... Mais quel sera le fruit de nos longues années d'expérience et de méditation? Que saisira l'homme de la hauteur où il se sera placé? Rien peut-être que le véritable sens du plus vulgaire diction.

134

⟨«Порою ласковую фею...»⟩

Quelquefois une fée m'apparait en songe. Elle vient, souriante et pleine de sollicitude, m'offrir pour l'accomplissement de mes vœux toutes les ressources de sa puissante science. Plein d'allégresse, je me hasarde à lui bégayer mes mystérieux désirs, mais le dirai-je? même l'illusion du rêve ne me fait pas comprendre un bonheur inacheté. Toujours à ses magnifiques donc elle met une condition malicieuse qui les empoisonne ou les détruit. Ainsi notre âme est vaincue par l'esprit moqueur de la terre; ainsi toujours soumise aux despotiques impressions de la réalité, elle transporte ses habitudes journalières même dans le libre domaine de l'imagination.

140

⟨«Бывало, отрок, звонким кликом...»⟩

Enfant, mon cri aigu éveillait les forêts et l'écho fidèle me troublait en me ravissant. Une autre époque suivit celle de l'enfance et la rime succéda à l'écho pour captiver l'adolescent. Jeu des rimes, jeu prestigieux! Comme les sons répondant aux sons m'enivraient de leur volupté! Mais tout passe. Je deviens froid même à l'harmonie des vers et je ne cherche plus des cadences sonores, comme je n'interpelle plus les forêts!

142

⟨«В дни безграничных увлечений...»⟩

Ton élu, o Dieu de lumière, peut au début de sa vie être aux mains de l'esprit des ténèbres: il lui soufflera les ardeurs insensées, il l'entraînera aux festins du désordre; mais il ne pourra détruire en lui l'idéal du beau et la conscience des conditions rigoureuses, auxquelles est soumise toute œuvre d'harmonie. Si l'impétueux jeune homme se livrera aux orgies discordantes, l'amant de la lyre étudiera patiemment les lois de la juste cadence et les appliquera à ses chants.

Plus il cherchera à dompter ses passions; leur vapeur grossière n'offusquera plus sa vue, et l'horizon poétique s'agrandira sans bornes à ses yeux: l'harmonie de sa lyre, il voudra la donner à sa vie, il la rêvera pour l'humanité.

143

⟨«Где сладкий шепот...»⟩

Qu'êtes-vous devenus, doux frémissements de mes forêts? murmure des cascades, fleurs des prés? Les arbres sont dépouillés; un tapis de neige recouvre les collines, les prés et les vallons. Le ruisseau demeure muet sous son écorce de glace; tout s'engourdit, seul le vent furieux se démène et couvre le ciel d'un sombre voile. Pourquoi suivais-je avec mélancolie la tourmente de l'ouragan? Le favori du sort tient de lui un toit contre les orages. Un feu pétillant bourdonne dans ma cheminée et ses brilliants étincelles égayent mon regard insouciant. En paix je rêve devant son jeu plein de vie et j'oublie les cris de la tempête.

O Providence, merci! J'oublierai de même les orages du sort. La tristesse venue, j'appuierai ma tête sur son cœur, et sous la tourmente des orages, ranimé par son amour, j'oublierai bien vite la sombre peine, comme en cet instant j'oublie la face sépulclare de la nature et les cris furieux de l'ouragan.

148

⟨«К чему невольнику мечтания свободы?..»⟩

Pourquoi le captif aurait-il des rêves de liberté? Vois, les ondes puissantes de tes fleures coulent entre leurs rives immuables aussi résignées que majestueuses. Vois ton sapin rester superbe sur la plage qui l'a nourri, impuissant à se déplacer. Les astres du ciel sont mus par une loi impérative qui leur intime la voie immense qu'ils doivent parcourir: il n'est pas libre aussi le vent aux ailes légères, et une occulte loi dirige son haleine soit-disant capricieuse. Soumettons-nous donc à notre sort, sachons dompter, sachons oublier les insurrections de notre âme impatiente et nous aurons le repos et nous aurons le bonheur. Insensés, n'est ce pas aussi la volonté suprême qui a donné à l'homme la passion brûlante? Oh, qu'elle est pénible pour nous cette vie qui voudrait se répandre et que resserent des rives étroites posées par la fatalité!

155

⟨«О, верь: ты, нежная, дороже славы мне...»⟩

Crois moi, o toi, si aimante, je t'aime mieux que la gloire. L'inspiration souvent m'importune, son tumulte m'empêche d'appartenir uniquement à ton amour. Que le cœur se donne à l'union du cœur: viens, dissipe mes rêves, caresse, caresse-moi, o toi la consolation de mon âme et soumets à seule toi la muse rebelle!

158

⟨«Своенравное прозванье...»⟩

Nom de fantasie, nom carressant, donné à ma chérie, création de ma tendresse enfantiné, tu n'as pas de sens palpable pour les autres, mais n'es-tu pas pour moi le symbole des sentiments que le langage humain ne saurait exprimer? — Toi, qui as dû monde indifférent. Que ferait-il de tes sons? Mais si jamais le doute approchait de son cœur, oh, tu le vaincrais aussitôt! Mais dans cet autre monde où les formes des sens nous manqueront pour nous reconnaîre, c'est de ce nom, oh ma bien aimée, que je saluerai l'immortalité, c'est de ce nom que je t'appelerai à moi et ton âme s'élancera au devant de la mienne.

162. MORT DE GOETHE

⟨На смерть Гёте⟩

Elle vint et le grand vieillard ferma doucement ses yeux d'aigle. Il s'endormit tranquille, car, ici bas, il avait accompli tout ce qui est de la terre. Ne versez pas de larmes sur cette tombe glorieuse, oubliez que le crâne du génie est désormais l'héritage des vers.

Il n'est plus, mais il n'a rien laissé sous le soleil des vivants, que sa lyre n'ait salué, mais son âme a répondu à tous les appels de l'âme, mais son esprit a embrassé le monde et n'a trouvé de bornes qu'aux rives de l'infini.

Tout avait son amour: systèmes laborieux des sages, créations des art inspirés, testaments des siècles antiques, espérances des générations florissantes! Sa puissante imagination l'associait aux soucis du diadème comme aux chagrins de la masure délabrée.

Nature, une vie fraternelle l'unissait à toi: il savait interpréter le babil du ruisseau, il comprenait l'idiôme des feuilles frémissantes, son oreille entendait croître les gazons, il lisait aux livres des étoiles, et la vague marine conversait avec lui.

Il a connu, il nous a dit tout l'homme, et si notre existence est bornée à celle de la terre, si rien ne nous attend au delà des fugitives visions de ce monde: voyez sa tombe et dites si jamais Pharaon d'Egypte a élevé plus haute pyramide à sa mémoire.

Et s'il est une vie d'outre-tombe, lui qui a su répondre à toutes les voix de la terre et lui rendre ce qu'elle donnait en mélodies sonores et profondes, il s'élancera d'une âme légère vers celui qui était avant les siècles, et les vapeurs d'ici bas ne viendront pas troubler sa céleste félicité.

166. LE DERNIER POÈTE

⟨Последний поэт⟩

Siècle de fer, tu avances en ta voie: soif d'or, culte du quotidien et de l'utile, chaque jour plus habile et plus déhonté. L'éclat de la civilisation a fait fuir les songes naïfs de la poésie. Les générations les méprisent au sein de leurs préoccupations industrielles.

La Grèce renaît pour les joies de la liberté, elle ressemble ses peuples, elle rélève ses capitales. De nouveau les sciences y fleurissent, le commerce y envoie ses vaisseaux, mais il est veuf de chants, l'antique paradis des muses!

Vous régnez, neiges resplendissantes d'un monde qui vieillit: à vos lueurs, l'homme est sévère et pâle; mais la patrie d'Homère a des prairies verdoyantes, des fleuves azurès, des bocages odoriferans. Le Parnasse est en fleurs, vive et llmpide, comme jadis, bouillonne à ses pieds l'onde castalienne. Enfant inattendu des derniers efforts de la nature, un poète naquit: il fait entendre sa voix.

Simple de cœur, il chante la beauté et l'amour, le vide et la vanité d'une science qui voudrait les proscrire; il chante l'insouciance des maux fugitifs de la vie: autrefois l'homme moins prévoyant goûtait plus de boheur.

Aux froids adorateurs de la triste Uranie il ose vanter les passions impétueuses. Ainsi que le souffle orageux d'Éole féconde les guérets, elle féconde les cœurs. De leur sein agité s'élance la

divine fantasie, comme Vénus surgit aurefois du sein de la mer écumante.

Et pourquoi refuserez-vous votre foi à vos inspirations les plus intimes, les plus souriantes? Cœurs vaillants! Pourquoi souscriez-vous à des traités pusillanimes? Oh, soumettez-vous aux douces convictions auxquelles vous envoie le tendre regard de la femme! Oh, acceptez les consolantes révélations d'un ciel compatissant.

Il entend un rire dédaigneux: ses doigts s'arrêtent sur les cordes de sa lyre, sa voix expire sur ses lèvres,— mais son âme n'est pas vaincue. Il portera ses pas en un désert sauvage; mais, hélas! le monde ne possède plus d'autre inhabité, mais il n'est plus de solitude sur la terre.

Seule, la profonde mer repousse le joug de l'homme. Libre, vaste, prestigieuse, elle ne change pas de face, depuis que Phoebus, le flambeau de jour à la main, se mira pour la première fois dans ses flots.

Du haut du rocher de Leucade, l'enfant de la lyre la contemple, rêveur et agité. Tout à coup ses yeux rayonnent de compréhension satisfaite: l'ombre de Sapho, cette roche célèbre, la voix de la vague harmonieuse qui chante une hospitalité souveraine... C'est dans ces flots, où l'amante de Phaon éteignit les flammes d'un amour insulté, c'est dans ces flots qu'il éteindra son imagination trompée, son inspiration inutile.

Et le monde, comme avant, rayonne de luxe inanimé; il dore et redore son vieux squelette; mais l'homme rêve malgré lui au bord de l'Océan? mais le bruit des vagues l'interdit, mais il quitte la grève, l'âme mélancolique et troublée!

178

⟨«Толпе тревожный день приветен, но страшна...»⟩

La foule aime le jour qui l'appelle au tumulte, tan dis qu'elle craint la silencieuse nuit qui accueille les fantômes d'une imagination insubordonnée. Mais nous, nous ne craignons point ces légères visions, filles diaphanes d'une ombre protectrice. L'aube du jour réveille des spectres plus effrayants: ce sont les vanités humaines et les devoirs quotidiens.

Etends la main, touche du doigt aux ténèbres insurgées, et le fantôme qui t'effrayait glissera dans l'abîme, et tu n'auras qu'à rire de l'aberration momentanée de tes sens.

O vous, enfants de la fantasie, vous, que dès le berceau ont visité des fées pleines de grâces; vous, les familiers de l'occulte, vous, hôtes journaliers de ses festins, sachez braver le fantôme du réel, allez à lui,— il fuira, et le nuage évanoui, la famille des esprits ouvrira de nouveau les portes de son Eden au vainqueur de la matière.

182

〈«На что вы, дни! Юдольный мир явленья...»〉

Pourquoi luisez-vous, jours opiniâtres? la terre ne changera pas de face, ses phénomènes resteront les mêmes. L'avenir ne promet que des redites.

Ils ont été vains tes combats et tes tumultes, âme ardente de compréhensions! âme insensée, tu as fourni ta carrière avant le corps.

Tu as épuisé les impressions du vulgaire, tu connais son cercle retréci: bercé par les pâles ombres du passé, tu dors — et ton compagnon de voyage.

Contemple d'un œil indifférent l'inutile soleil qui vient détrôner une nuit sans prestige, les ombres de la nuit engloutir un stérile soir, triste couronne d'un jour vide de sens.

183

〈«Всегда и в пурпуре и в злате...»〉

Toujours éblouissante de parure, toujours puissante de passion inassouvies, tu ne soupçonnes pas même que ton printemps est bien loin de toi, et te voilà plus brillante que toutes nos grâces nouvelles, et ton crépuscule a plus de feu que leur froide aurore. L'esprit des voluptés l'anime mieux que leur existence végétative. Ombre ardente, tu soumets celles qui sont à celle qui n'est plus.

185

⟨«Всё мысль да мысль! Художник бедный слова!..»⟩

Raison Souveraine! toi qui prend pour guide l'artiste de la parole, que lui veux-tu? Pas d'oubli — c'est l'homme, c'est le monde, c'est la vie, c'est la mort, et toujours la vérité sans voile! Orgue, palette, ciseau! Heureux celui qu'entraîne votre inspiration sensuelle sans le porter au delà. Il y a place pour lui au festin de la terre, il y a des coupes pour l'enivrer; mais devant toi, raison inexorable, aigu rayon ainsi que devant le glaive nu, pâlit toute humaine allégresse.

186. LA RIME

⟨Рифма⟩

Lorsqu'aux jeux olympiques, au sein des jeunes villes de la Grèce, tu chantais, o fils d'Apollon, tu te faisais entendre à une multitude avide d'émotions généreuses; tu avais foi en la sympathie populaire, et un mètre large et libre cadençait sans la gêner ta puissante voix. La foule restait muette et attentive, jusqu'à ce qu'entraînée par une commotion victorieuse, elle éclatait en applaudissements et lui inspirait de nouveaux accords.

Mais de nos jours, hélas! qui interroge nos lyres proscrites? Qui voudrait quitter les sentiers du vulgaire en s'élevant sur nos ailes? De nos jours le poète ignore la portée de son essor. Juge et partie à la fois, est-ce à lui de résoudre si la voix qui lui parle est celle d'une fièvre bizarre, ou de la véritable inspiration, don souverain du ciel?

Au sein de ce sommeil de mort, au sein de cette glaciale indifférence du monde, toi seule, o rime! viens l'encourager par tes échos bienfaisants! Ainsi que la colombe de l'arche, seule tu lui présentes le rameau fleuri, seule tu viens approuver ses veilles solitaires et légitimer ses aspirations.

188. LE PREJUGÉ

⟨Предрассудок⟩

Préjugé tu es le dernier rayon d'une vérité qui va s'évanouissant dans la nuit des siècles; le temple est tombé et l'esprit de ses ruines parle une langue oubliée.

Une génération dédaigneuse poursuit en lui (ne pouvant reconnaître les traits de son visage) le grand aïeul de notre vérité contemporaine.

Arrêtez vos efforts parricides, respectez son agonie et accordez une honnête sépulture aux cendres qui vous ont donné la vie.

227

⟨Коттерии⟩

Fraternisez, veillez à la défense de vos médiocrités respectives, vous, ineptes et intrigants écrivassiers; mais ne conviez pas le vrai talent à boire à votre coupe,— il retournera contre vous les paroles du Seigneur: amen, amen, vous dira-t-il, où vous serez trois je ne serai pas avec vous.

233

⟨«Когда, дитя и страсти и сомненья...»⟩

Lorsque le poète, cet enfant du doute et de la passion, te considéra de son proford regard, tu consentis à partager ses jours agites, aimant en lui le mystère de la douleur.

Toi, si timide et si courageuse à mes côtes, ta main dans ma main, tu me suivis dans mon sauvage enfer, et là ton divin amour voyait le paradis!

Oh toi, si sainte et si tendre! que de fois ma tête rebelle chercha l'appui de ton cœur et retrouva auprès de toi la croyance en moi-même et la foi au ciel.

V. ПРЕДИСЛОВИЯ К ПОЭМАМ

⟨ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ ПОЭМЫ «ЭДА»⟩

Сочинитель предполагает действие небольшой своей повести в 1807 году, перед самым открытием нашей последней войны в Финляндии.

Страна сия имеет некоторые права на внимание наших соотечественников любопытною природою, совершенно отличною от русской. Обильная историческими воспоминаниями, страна сия была воспета Батюшковым, и камни ее звучали под конем Давыдова, певца-наездника, именем которого справедливо гордятся поэты и воины.

Жители отличаются простотою нравов, соединенною с некоторым просвещением, подобным просвещению германских провинций. Каждый поселянин читает Библию и выписывает календарик, нарочно издаваемый в Або для земледельцев.

Сочинитель чувствует недостатки своего стихотворного опыта. Может быть, повесть его была бы занимательнее, ежели б действие ее было в России, ежели б ход ее не был столько обыкновенен, одним словом, ежели б она в себе заключала более поэзии и менее мелочных подробностей. Но долгие годы, проведенные сочинителем в Финляндии, и природа финляндская, и нравы ее жителей глубоко напечатлелись в его воображении. Что же касается до остального, то сочинитель мог ошибиться; но ему казалося, что в поэзии две противоположные дороги приводят почти к той же цели: очень необыкновенное и совершенно простое, равно поражая ум и равно занимая воображение. Он не принял лирического тона в своей повести, не осмеливаясь вступить в состязание с певцом «Кавказского пленника» и «Бахчисарайского фонтана». Поэмы Пушкина не кажутся ему безделками. Несколько лет занимаясь поэзиею, он заметил, что подобные безделки принадлежат великому дарованию, и следовать за Пушкиным ему показалось труднее и отважнее, нежели идти новою собственною дорогою.

⟨ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ ПОЭМЫ «НАЛОЖНИЦА» [1]⟩

Сочинение, представляемое теперь публике, одно из тех, которое журналисты наши обыкновенно называют безнравственными, хотя обвинение в безнравственности довольно странно в государстве,

[1] Название поэмы «Цыганка» в первой редакции.—*Ред.*

имеющем цензуру и где *печатать позволяется*, являющееся на первом листе книги, уже ручается за безвредность ее содержания.

Странно также, что г-да журналисты, позволяя себе столь неприличные обвинения, называя развратными произведения: «Руслана», «Онегина», «Цыган», «Нулина», «Эду», «Бал» и потому имея полное право поместить в тот же разряд и «Наложницу», до сих пор не определили, в чем, по их мнению, состоит нравственность или безнравственность литературных произведений.

Постараемся решить вопрос, равно важный для писателей и для читателей.

Журналисты наши выразили некоторые положительные требования. Воспевайте добродетели, а не пороки, говорили они; изображайте лица, достойные подражания; пишите для назидательной нравственной цели, не замечая, что каждое из сих требований противоречит другому.

Изобразить какую-либо добродетель — значит заставить ее действовать, следственно, подвергнуть испытаниям, искушениям, т. е. окружить ее пороками. Где нет борьбы, там нет и заслуги. Следственно, лицо, достойное подражания, не может выказываться иначе, как между лицами, ему противуположными.

Что такое нравственная цель литературного произведения? В чем состоит она? Есть люди, называющие нравственными произведениями только те, в которых наказывается порок и награждается добродетель. Мнение это некоторым образом противно нравственности, истине и религии. Ежели бы добродетель всегда торжествовала, в чем было бы ее достоинство? Этого не хотело провидение, и здешний мир есть мир испытаний, где большею частию добродетель страждет, а порок блаженствует. Из этого наружного беспорядка в видимом мире и феологи и философы выводят необходимость другой жизни, необходимость загробных наград и наказаний, обещаемых нам откровением.

Нравственное сочинение не состоит ли в выводе какой-нибудь философической мысли, вообще полезной человечеству? Но чтобы в самом деле быть полезною, мысль должна быть истинною, следственно, извлеченною из общего, а не из частного. Как же, изображая только добродетель, играющую довольно второстепенную роль в свете, и минуя торжествующий порок, я достигну этого вывода? Я скажу мысль блестящую, но необходимо ложную, следственно, вредную.

Нет, скажут наши противники, мы не требуем, чтобы вы изображали одну добродетель: изображайте и порок, но первую привлекательною, второй отвратительным.

Мы погрешим против истины: не все пороки имеют вид решительно гнусный. По большей части наши добрые и злые начала так смежны, что нельзя провести разделяющей линии между ними. В этом случае отменно истинны шуточные стихи Панара:

Trop de froideur est indolence,
Trop d'activité turbulence,
Trop de rigueur est dureté,
Trop de finesse est artifice,
Trop d'economie avarice,
Trop d'audace témérité,
Trop de complaisance est bassesse,

Trop de bonté devient faiblesse,
Trop de fierté devient hauteur, etc.[1]

Вот естественная причина той привлекательности, которую имеют иные пороки: мы обмануты сходством их со смежными им добродетелями, но должно заметить, что в самом увлечении нашем мы поклоняемся доброму началу, а не злому.

Нет человека совершенно добродетельного, т. е. чуждого всякой слабости, ни совершенно порочного, т. е. чуждого всякого доброго побуждения. Жалеть об этом нечего: один был добродетелен по необходимости, другой порочен по той же причине; в одном не было бы заслуги, в другом вины; следственно, ни в том, ни в другом ничего нравственного.

Характеры смешанные, именно те, которые так не любы г-дам журналистам, одни естественны, одни нравственны: их двойственность и составляет их нравственность. Одно и то же лицо является нам попеременно добродетельным и порочным, попеременно ужасает нас и привлекает. Федра, оплакивающая незаконную страсть свою, и Федра, ей уступающая,— две противуположные Федры; мы любим добродетельную, ненавидим порочную, и здесь мы не можем ошибиться, не можем принять добродетель за порок и порок за добродетель. Действия не смешаны, как характеры; действие добродетельное совершенно прекрасно, действие порочное совершенно безобразно, и нравственный вывод, о котором так хлопочут г-да журналисты, хлопочут до того, что ради оного предлагают нам удаляться от истины, изображая лица неестественные,— этот нравственный вывод внушает нам без всяких посторонних соображений всякое лицо, верно снятое с природы.

Но не безнравственно ли, скажут они, то участие, которое возбуждает в нас герой трагедии, романа, поэмы даже в ту минуту, когда он уступает преступному побуждению? Не говорит ли нам наше сердце, что и мы охотно совершили бы то же преступление, надеясь возбудить то же участие? Если означенное лицо без борьбы уступает искушению, оно не возбуждает участия, не возбуждает его и тогда, когда мы чувствуем, что оно не употребило всего могущества воли своей на победу преступной наклонности и позволило побороть себя, а не пало под силою обстоятельств, превышающих нравственную его силу. Побежденные трояне возбуждают наше участие потому, что они защищались до последней крайности; побежденные, они не ниже победителей; расчетливая сдача какой-нибудь крепости не восхищает нас, подобно падшей Трое, и никто не сравнивает ее коменданта с божественным Гектором.

Должно прибавить, что творения, развивающие чувствительность, в то же время просвещают совесть. Ежели они располагают нас к лишнему числу искушений, они развивают в нас лишние способы противустоять им.

Рассматривая литературные произведения по правилам наших журналистов, всякую книгу найдем мы безнравственною. Что, например, хуже Квинта Курция? Он изображает привлекательно неистового честолюбца, жадного битв и побед, стоящих так дорого роду челове-

[1] Избыток холодности — это равнодушие, избыток деятельности — суетность, избыток суровости — черствость, избыток тонкости — лукавство, избыток бережливости — скупость, избыток храбрости — безрассудство, избыток услужливости — низость, избыток доброты становится слабостью, избыток гордости становится высокомерием и т. д. (фр.).— *Ред.*

ческому; кровь его не ужасает; чем больше ее прольет, тем он будет счастливее; чем дальше простреет он опустошение, тем он будет славнее, а эту книгу будут читать юные властители! Что хуже Гомера? В первом стихе «Илиады» он уже показывает безнравственную цель свою, намерение воспевать порок:

Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына!

Раскроем даже «Ивана Выжигина», творение г. Булгарина, писателя, который всех настоятельнее требует нравственной цели от современных сочинений. Найденыш воспитывается в доме белорусского помещика, который кормит его и одевает довольно скудно, но и это благодеяние для подкидыша. Он за это платит ему неблагодарностью, помогает какому-то удальцу увезти дочь своего благодетеля и сам за нею следует. Потом ведет жизнь бродяги, негоден и порядочен, смотря по обстоятельствам; получает толчок от одного офицера, за который не сердится; присваивает себе чужое имя; наконец, наследует два миллиона денег, женится по любви и живет в совершенном благополучии. Что заключите вы из подобного романа? Какую нравственную мысль вы из него извлечете, если даже узнаете, что он отменно хорошо раскупился? Ничто не придет вам на ум, кроме старой русской пословицы: не родись ни хорош, ни умен, а родись счастлив; но что в ней назидательного?

Читатель видит, что подобным образом можно неопровержимо доказать вредное влияние всякого сочинения и из следствия в следствие заключить с логическою основательностью, что в благоустроенном государстве должно запретить литературу.

В таком случае должно запретить и человека. Но природа одарила его разумом не для невежества, одарила словом не для молчания. Какой незваный критик решится воспретить ему дозволенное провидением и тем явно противоречить его цели? Запретить человеку пользоваться его разумом — значит унизить его до животных, его лишенных.

Сами г-да журналисты, вероятно, на это не согласятся: их постигла бы общая участь человечества.

Чем согласиться критику на уничтожение литературы, следственно, на уничтожение человека, не благоразумнее ли взглянуть на нее с другой точки зрения: не требовать от нее положительных нравственных поучений, видеть в ней науку, подобную другим наукам, искать в ней *сведений*, а ничего иного?

Знаю, что можно искать в ней и прекрасного, но прекрасное не для всех: оно непонятно даже людям умным, но не одаренным особенною чувствительностью; не всякий может читать с чувством, каждый с любопытством. Читайте же роман, трагедию, поэму, как вы читаете путешествие. Странствователь описывает вам и веселый юг, и суровый север, и горы, покрытые вечными льдами, и смеющиеся долины, и реки прозрачные, и болота, поросшие тиною, и целебные, и ядовитые растения. Романисты, поэты изображают добродетели и пороки, ими замеченные, злые и добрые побуждения, управляющие человеческими действиями. Ищите в них того же, чего в путешественниках, географах: известий о любопытных вам предметах; требуйте от них того же, чего от ученых: истины показаний.

Читайте землеописателей, и, не выходя из вашего дома, вы будете иметь понятие об отдаленных, разнообразных краях, которых вам, может быть, не случится увидеть собственными глазами. Читайте

романистов, поэтов, и вы узнаете страсти, вами или не вполне, или совсем не испытанные; нравы, выражения которых, может быть, вы бы сами не заметили; узнаете положения, в которых вы не находились; обогатитесь мыслями, впечатлениями, которых вы без того бы не имели; приобщите к опытам вашим опыты всех прочтенных вами писателей и бытием их пополните ваше.

Ежели показания их верны, впечатление, вами полученное, будет непременно нравственно, ибо зрелище действительной жизни, развитие прекрасных и безобразных страстей, дозволенное в ней провидением, конечно, не развратительно и мир действительный никого еще не заставил воскликнуть: как прекрасен порок! как отвратительна добродетель!

Из этого следует, что нравственная критика литературного произведения ограничивается простым исследованием: справедливы или несправедливы его показания?

Критика может жаловаться также на неполноту их, ибо самое полное описание предмета есть в то же время и самое верное. Можно сказать недостаточную правду. Есть истины относительные, которых отдельное выражение внушает ложное понятие.

Иностранные литературы имеют книги, по счастию неизвестные в нашей: это подробные откровения всех своенравий чувственности, подробные хроники развращения. Несмотря на то, что все их показания справедливы, книги сии, конечно, развратительны, но это потому, что их показания не полны. В действительной жизни за часами развратного упоения следуют часы тяжелой усталости; какое отвращение возбуждают тогда в развратнике воспоминания нечистых его наслаждений! Выразите так же полно чувство последующее, как полно выразили предыдущее, и картина ваша не будет безнравственною: одно впечатление уравновесит другое. Ежели вы изобразили первые шаги разврата, изобразите и последние. Описав любострастие, злоупотребляющее силами юности, опишите и следствия злоупотребления. Представьте нам раннюю, болезненную старость сластолюбца, раннюю неспособность его не только к тем наслаждениям, которых несет он наказание, но и к обыкновенным, позволенным; ранний упадок умственных его способностей. Что будет поучительнее изображения преждевременно поседевшего разврата, в страданиях благоприобретенного недуга, смешащего не природным, но заслуженным тупоумием? И в этом изображении не будет ничего насильственного.

Невоздержность телесная приемлет мзду свою еще в здешней жизни; временное тело обретает ее во времени, между тем как неумирающий дух находит ее только в вечности.

С творениями, о которых мы говорили, не должно смешивать эротические стихотворения, вакхические и застольные песни. Не упоминая уже о том, что из похвал красоте не следует позволительности разврата, в эротической поэзии чувственность обыкновенно уравновешивается чувством, и большая разница — живописать красоту, обладание которой может быть беспорочным, и живописать своенравия разврата, которые нельзя удовлетворить без преступления. Славить вино и обеды не значит проповедывать пьянство и обжорство. Каждый это разумеет. Державин, воспевающий иногда красоту и пиршества, Дмитриев, говорящий иногда о вине и поцелуях, Богданович, который

Киприду иногда являл без покрывала,

Батюшков, Пушкин, написавшие несколько эротических элегий и вакхических песней, конечно, не безнравственные писатели. Не говоря уже о том, что сии писатели не ограничивались выражением одного чувства; что подражатель Анакреона в то же время певец «Фелицы», певец «Бога»; что автор стихотворения «Счет поцелуев» в то же время творец «Ермака» и преложитель высоких песней Давида; что «Душенька» изобилует не одними сладострастными картинами; что между шаловливыми стихотворениями Батюшкова есть и унылые, есть и высокие; что автор «Руслана» в то же время автор «Годунова» и что никто не принуждает читателя в целой книге стихотворений твердить одно для него соблазнительное, когда, перевернув страницу, он найдет другое, впечатление которого исправит впечатление первого; вообще несправедливо быть строже к писателю, нежели к человеку; и ежели действие не вредит доброй славе одного, еще менее его описание может вредить доброй славе другого.

Тем менее, что выбор предмета не столько зависит от самого писателя, сколько от свойства его дарований; что упрекать в разврате эротического поэта так же несправедливо, как упрекать в жестокости поэта трагического. Неужели вы думаете, что Анакреон не желал быть Гомером, Проперций — Вергилием, Шолье — Расином и т. д.? Чем обширнее гений писателя, тем он полнее и разнообразнее в своих творениях, тем он вернее отражает действительность и тем он нравственнее. Но только Гомеры, Шекспиры являют нам полный мир в своих творениях. Дарования односторонние обрекают других на изображение частностей. Произведение одного имеет нужду быть поясненным, пополненным произведением другого, и писатели сего рода только в своей совокупности доставляют нам то нравственное впечатление, которое производит один многообразный писатель.

Или не читайте, или читайте все: иначе вы будете всегда в заблуждении. Читать одного автора с частным дарованием все равно что читать одну страницу в писателе многообъемлющем. Раскройте Шекспира на монологе злодея, искусными софизмами ободряющего себя к преступлению, остановитесь на нем — и Шекспир будет для вас проповедником злодеяния; но прочтите всё творение, прочтите всего Шекспира, и самая эта страница будет наставительна; так и книга односторонняя занимает не лишнее место в библиотеке.

Журналисты наши говорят часто о юных читателях и юных читательницах, которым может быть вредно такое-то и такое-то произведение. Кто с этим спорит? Но нянька не позволяет ребенку играть ножом. Благоразумные наставники не дают своим воспитанникам книги, несообразные с их летами. Когда ж мы уже вышли из-под надзора, вступили в свет и можем всё видеть и всё слышать, мы можем и всё читать; и как не мир, а мы сами виновны, когда злоупотребляем жизнию, так не писатели, а мы сами виноваты, когда злоупотребляем чтением.

До сих пор мы говорили о книгах, преимущественно посвященных изображению лиц и нравов, выражению страстей, чувств и впечатлений, но не говорили о книгах, писанных для доказательства того или другого мнения, книгах, писанных с положительною нравственною целью.

Книги сего рода подлежат тому же исследованию, что и первые. Мнение тогда только полезно и нравственно, когда оно справедливо, но всякий чувствует (не говоря уже о вреде, наносимом совершенно ложным нравственным понятием и который нельзя сравнивать со вредом, причиняемым неверным изображением характера, страсти или

картины), всякий чувствует, что в подобных книгах развитие односторонней истины может иметь особенно пагубное влияние. Сколько преступлений, сколько бедствий народных произошло от превратных нравственных мнений, от частных истин, принятых за общие! Не буду исчислять их. Скажу только, что мало истин не относительных, следственно, мало книг, писанных с нравственною целью, т. е. посвященных выражению одной избранной мысли, которых исключительное чтение не было бы вредно и влияние которых не было бы нужно уравновешивать чтением других, им противуречащих.

Заключим и надеемся, что заключит с нами и читатель, что в книге безнравственна только ложь, вредна только односторонность; но ни лжи, ни односторонности не существует там, где литература деятельна, где ложное показание тотчас рождает улику, где решение нравственного вопроса тотчас вызывает исследования и противуречия, где публика не осуждена на чтение одной указанной книги.

Просим читателя судить о нравственном достоинстве «Наложницы» по правилам, нами изложенным, а не по правилам, исповедуемым г-дами журналистами, по нашему мнению, довольно необдуманным.

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ

Варианты приводятся согласно порядку стихов в основном тексте произведения. Под нумерацией строк указывается источник варианта. Если он не указан, это означает, что источник тот же, что и для предыдущего варианта. Список условных сокращений см. на с. 389—390.

СТИХОТВОРЕНИЯ

1

загл. МАДРИГАЛ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЕ
Б И ВСЕ ЕЩЕ ПРЕКРАСНОЙ

1—4
И в осень лет красы младой
Она всю прелесть сохраняет.
Старик крылатый не дерзает
Коснуться хладной к ней рукой

8

загл. ПОРТРЕТ В...
Б

1 Как описать тебя? — Я, право, сам не знаю!

вм. 4—8
Во всем, что лишь в тебе встречаю,
Непостоянство примечаю,—
Но постоянно ты мила!

9

загл. К ДЕЛЬВИГУ
СО

12 Скука томно дни прядет

16—19

Феба луч едва блеснет,—
Марс затянутый, в штиблетах
В строй к оружию зовет.
Пробужденный грозным боем

вм. 23—40

Трудно, верь, с душой унылой
Счастье, радость воспевать;
В карауле трудно, милый,
Об Аркадии мечтать!
Ты, ведущий дни в забавах,
На лугах, у светлых вод,
Ты, с кем ре́звятся в дубравах
Музы, нимфы и Эрот,—
Пой бессмертных, сын любимый!
Глас внимать я буду твой,
Как язык страны родимой
Слушают в стране чужой!

11

загл. *СО*

Т — МУ
(В альбом)

1—8

Пускай измаранный листок
Тебе напомнит о поэте!
Кто знает, друг, какую в свете
Ему тропу назначил рок?
Увы, с растерзанной душою
Не раз я милых покидал
И руку друга пожимал
В прощанье трепетной рукою!

вм. 13—30

Ручей покинул я родной,
Побрел пустынною тропою;
Провесть, быть может, и с тобою
Мне суждено лишь день-другой!
Быть может, друг, путеводимый
Своей блуждающей звездой,
Я кончу век в стране чужой
И не увижу кров родимый!
А ты, к отеческим полям
С полей победы возвращенный,
Хваля покой уединенный,
Сожжешь мастики в честь богам.
Но где ж певец, тобой любимый?
Он совершил судьбы завет,
Судьбы враждебной с юных лет
И до конца непримиримой!
Когда ж стихи его найдешь —
Залог простой, но дружбе милый,—
Прочтешь с улыбкою унылой
И тихо лист перевернешь.

вм. 1—8 Изд. 1884, копия А. Л. Баратынской

Земляк! в стране чужой, суровой
Сошлись мы вновь, и сей листок
Ждет от меня заветных строк
На память для разлуки новой.

12

Б⟨ОРАТЫНСКО⟩МУ ПРИ ОТЪЕЗДЕ ЕГО В АРМИЮ

ред. Б

Итак, беспечного досуга
Отвергнув сладостный покой,
Уж ты в мечтах покинул друга,
И новый путь перед тобой!
Настанет скоро день желанный,
И воин мой, противным страх,
Надвинув шлем, с мечом в руках
Летит на голос славы бранной.
Иди! — воинственный наряд
Приличен юности отважной.
Люблю я пушек гул протяжный,
Люблю красивый вахтпарад,
Люблю питомцев шумной славы.
Смотри,— сомкнулись в бранный строй;
Идут! — блестящей полосой
Горят их шлемы величавы,—
Идут. Вскипел кровавый бой!
Люблю их видеть в битве шумной,
Летящих в пламень роковой
Толпой отважной и безумной.
И вот, под тению шатров,
Дружина ветреных героев
Поет за чашей славу боев
И стыд низложенных врагов.
Спеши же к ним, любовник брани,
Ступай, служи богине бед!
И к ней с мольбою твой поэт
Подымет трепетные длани.
Зовут! — лети в опасный путь.
Да идет мимо рок-губитель!
Люби, рубись и вечно будь
В любви и в брани победитель!

загл. Изд. 1827

К *** ПРИ ОТЪЕЗДЕ В АРМИЮ

вм. 18—22

Люблю я марсовы шатры
(Хотя под ними, слава богу,
Не ночевал до сей поры),
Люблю красивые смотры,
Люблю военную тревогу,
Люблю бесстрашных, милый мой

13

ЭЛЕГИЯ

ред. НЗ

Ужели близок час свиданья!
Тебя ль, мой друг, увижу я!
Как грудь волнуется моя
Тоскою смутной ожиданья!
Родная хата, край родной,
С пелен знакомые дубравы,
Куда невинные забавы
Слетались к нам на голос твой,—
Я их увижу, друг бесценный.
Что ж сердце вещее грустит?
Что ж ясный день не веселит
Души, для счастья пробужденной?
С тоской на радость я гляжу:
Не для меня ее сиянье!
И я напрасно упованье
В душе измученной бужу.
Печаль все чувства утомила,
Мечтою мрачной болен дух;
Быть может, поздно, милый друг,
Меня и радость посетила:
Я наслаждаюсь не вполне
Ее пленительной улыбкой;
Всё мнится, счастлив я ошибкой
И не к лицу веселье мне!

14

ред. НЗ

ЭПИГРАММА

Хоть глуповат подчас Дамон,
Люблю я милого собрата;
Не виноват пред светом он,—
Пред ним природа виновата!

16

загл. СО

ЭЛЕГИЯ

вм. 1—4

На краткий миг пленяет в жизни радость,
Невидимо мелькают счастья дни:
Едва блеснут и скроются они.
На краткий миг узнал любви я сладость:
О милый друг, тебя уж нет со мной!
Уж он исчез — блаженства сон мгновенный,
И я один, и на груди стесненной
Лежит тоска разлуки годовой.
Где вы, где вы, любви очарованья?
Не вечность ли меж нами протекла?
Ужель на час мне счастьем жизнь была?

18

загл. *НЗ* ПОСЛАНИЕ К Б⟨АРОНУ⟩ ДЕЛЬВИГУ

23—25 Лишь слабо теплится в туманной тишине
Дианы бледная лампада.
С улыбкой будит нас малютка Купидон

27 «Проснитесь, юноши! Для вас ли»,— шепчет он

29—34 «Смотрите: видите ль, покинув ложе сна,
Перед окном, полуодета,
С тоскою страстною не вас ли ждет она,
Не вас ли ждет моя Лилета?»
Она! О нега чувств! О сладкие мечты!
Счастлив, кто легкою рукою

37 Кто пренебрег судом завистливых и злых

53—56 И я, певец утех, теперь утрату их
Пою в тоске уединенной,
И воды чуждые шумят у ног моих,
И брег невидим отдаленный.

20

вм. 1—4 *НЗ* Заснули рощи над потоком,
Легла на холмы тишина,
Дремало всё,— но тщетно сна
Я ждал на ложе одиноком.
Сыны души моей больной,
Сыны полуночного бденья —
Вокруг, мешаясь с темнотой,
Мелькали смутные виденья.

5—10 «Итак, исчезли,— думал я,—
Весенних лет мечты златые,
Часы приспели роковые,
И вянет молодость моя!»
Невольник истины угрюмой,
От неги с праздною душой

20 Еще младенец сердцем ты;

22

вм. 1—37 *СО* Громады вечных скал, гранитная пустыня!
Вы дали страннику убежище и кров;
Ему нужней покой обманчивых даров
Слепой, взыскательной и ветреной богини.

Забытый от людей, забытый от молвы,
Доволен будет он углом уединенным;
Он счастье в нем найдет, он будет, как и вы,
В пременах рока неизменным.

Как всё вокруг меня пленяет грозно взор!
Пустынный неба свод, угрюмый вид природы,
О каменистый брег дробящиеся воды
И дремлющий над ними бор!
Скалы далекие подернулись туманом,
В зерцале зыбких вод глядится черный лес;
Всё тихо! всё молчит! и бледный свод небес
Слился с безбрежным океаном.
Здесь всё беседует с унынием моим:
И сосен шум глухой, и волн неясный лепет,
Как будто бы знаком, как будто внятен им
Младого сердца томный трепет.
Здесь, окруженный тишиной
Природы, дремлющей под кровом ночи звездной,
Люблю сидеть один над сумрачною бездной,
Молчать и вдаль лететь душой.
Здесь в думу важную невольно погруженный,
Люблю воспоминать о сильных прежних
дней,
О бурной жизни их средь копий, средь мечей,
Безумствам громким посвященной.
Ничто не прочно на земли:
Ложатся грады в прах и рушатся державы.
Не здесь ли некогда с победой протекли
Сыны Оденовы, любимцы бранной славы?
Следы минувшего исчезли в сих местах,
Отзы́вы праздные не вторят песне скальда,
Молва умолкнула о спутниках Роальда,
О древних сильных племенах;
Развеял бурный ветр торжественные клики,
Забыли правнуки о подвигах отцов,
Померкла слава их,— и в прахе их богов
Лежат низверженные лики.
И всё вокруг меня в глубокой тишине:
Не слышен стук мечей, давно умолкли бои.
Куда вы скрылися, полночные герои!
Мой взор теряется в бездонной вышине:
Не вы ли, бледные вперив на звезды очи,
Плывете в облаках туманною толпой?
Не вы ль?.. ответствуйте! вам слышен голос мой,

Одушевите сумрак ночи.
вм. 51—57 Могу ль себя томить гадательной тоскою?
Пусть всё разрушится, пусть всё умрет со мною.
Не вечный для времен, я вечен для себя.

Златые призраки, златые сновиденья,
Желанья пылкие, слетитеся толпой!
Пусть жадно буду пить обманутой душой
Из чаши юности волшебство заблужденья.

25

1—4 автограф, ранняя ред.

Слепой поклонник красоты,
Любви и неги сын беспечный,
Я нес ей в дар восторг сердечный
И сладострастные мечты.

загл. ПЗ Л⟨УТКОВСК⟩ОЙ

1—4

Слепой поклонник красоты,
Наперекор моей судьбине,
В нее я веровал доныне;
Ей нес я в дар мои мечты;

26

загл. Изд. 1827 УНЫНИЕ

1 Рассеивает грусть веселый шум пиров.

3—4

В семействе дружеском соратных шалунов
Мечтал воскреснуть я душою.

14 Всесильным собственною силой;

16 Способен чувствовать унылый!

27

загл. СО СЕЛЬСКАЯ ЭЛЕГИЯ

28 Науке созидать твердыни боевые

38 Прилежный Яков мой! Ты, первый огород

49 Они доступны всем, и мне за тяжкий труд

59—60

И вместо мрамора положит над гробницей
Мой заступ и топор меж лирой и цевницей.

31

10—11 Прелестным призраком былого;
Cop. Воображения больного

33

загл. ЛИДЕ
СО

между 4 и 5 Что нужды в том? утешься, Лида!
Ты без учености мила,
И все мы знаем, что Киприда
В Цитере школ не завела!
Тебе ль заняться важным чтеньем?
Читать не любит Купидон:
Всегда за книгой дремлет он
И тяготится размышленьем.
Его пример тебе закон!

вм. 19—28 Питомец муз равно безгласен
В толпе вертушек молодых,
И верь, мой друг, в мечтах своих
Он был бы странен и неясен.
Душой высокое любя,
Он воздаянья ждет от Феба
И дар святой благого неба
Хранит для муз и для себя.

35

загл. БУЛГАРИНУ
СО

1 Нет, нет, Булгарин! ты не прав

5—6 Из своеволия страстей
С себя мы правил не слагали

13—14 Младую жизнь боготворили.
В кругу веселых шалунов

16—17 Мы пели негу, шум пиров,
Не замечая крикунов

23—24 Душа приметно отцветала,
В усталом сердце пламень гас

26 Беспечных опытность застала.

между 31 и 32

Так разрезвившихся детей
Средь их младенческих затей
Приводит вдруг в остолбененье
Со строгой важностью очей
Педанта школы появленье.

36

загл. СО

К⟨ОНШИ⟩НУ

вм. 10

Что жизнь? — медлительный недуг,
Условный дар скупого неба;
Врата туманного Эреба
Для всех отверсты, милый друг!

37

загл. «Рецензент»

ТОСКА

1—2

Один за чашей пуншевою
В светлице я сидел

между 16 и 17

Опустошенный смертью злобной,
Печален дом отцов,
И заменяет плач надгробный
Веселый шум пиров.

22

Знать, горе мне удел

40

загл. Сор., автограф

ВОДОПАД

5—12

Я слышу грохот вод твоих:
Свистя, сливает ветр порывный
Свой вопль глухой и заунывный
С однообразным шумом их.

С каким-то смутным ожиданьем
В их говор вслушиваюсь я;
Куда-то вдаль душа моя
Летит надеждой и желаньем.

16

Музы́ку важную твою.

41

2—3 Сор. Угрюмая страна,
Где мрачен вид нагой природы

13 Где шумным светом позабытый

15 Своею музой домовитой

между 16 и 17 Порой печальны песни были:
Хвала, о музы, вам —
Вы, благосклонные, любили
Внимать моим струнам!

43

1—2 Сор. Порою утренней Людмила,
Держа в руке цветок

5—8 Не нужны мне дары богаты
За свежий мой цветок;
А кто приглянется — без платы
Получит мой цветок.

25—26 Он что же деве? — Он шутливо:
«Спасибо за цветок!

45

загл. РИ К ***

1—4 Кто жаждет славы, милый мой!
Тот не всегда себя прославит:
Терзает комик нас порой,
Порою трагик нас забавит.

вм. 11—13 Утех любовник постоянный,
Толпой красавиц окружен,
С главою, розами венчанной,
Веселый пел бокалов звон,
Смеясь над мудростью жеманной

21—24 Неисповéдим Фебов суд.
К чертогу муз, к чертогу славы
Одних ведет упорный труд,
Других ведут одни забавы!

47

загл. К ДЕЛЬВИГУ
ПЗ

вм. 3—4

Дай руку мне,— я чувствую, мы оба
Родилися под тою же звездой.
Нас не вотще судьба соединила,
Суровая двух добрых полюбила
И, слабая от бедствий их спасти,
Опорою друг другу быть судила,
Чтоб с ней самой могли борьбу вести.
От детских дней знакомы мы с бедами,
Казалося, у люльки ждал нас рок:
Что ж, гневный, он свершить над нами мог?
И не всегда ль он побеждался нами?

вм. 6

На дружбу ты мне руку дал впервые,—
И, думая: «По сердцу мы родные»,—
Стал навещать мой скромный уголок?

9—10

Не ты ль тогда мне бодрость возвратил?
Не ты ль душе повеял жизнью новой?

15—18

Когда ты сам носил в душе печаль,
Кому вверял признанья в грусти тайной,
Не мне ль, скажи? и дружба не всегда ль
Тебя ждала с отрадой обычайной?

48

загл. ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ
ПЗ

23—24

Любим я жребием — и весь
Я не умру ни там, ни здесь:

26—27

Не жалки мне земные дни
У тихих вод спокойной Леты

50

загл. ПОЦЕЛУЙ

подзаг. *(Дориде)*
Б

5

Случайным сном забудусь ли порой

вм. 7

Блаженствую, обманутый мечтой,
Но в тот же миг встречаю пробужденье,
Обман исчез, один я, и со мной

52

загл. НЛ ДОРИДЕ

вм. 1—4
Зачем нескромностью двусмысленных речей,
Руки всечасным пожиманьем,
Притворным пламенем коварных сих очей,
Для всех увлажненных желаньем,
Знакомить юношей с волнением любви,
Их обольщать надеждой счастья
И разжигать шутя в смятенной их крови
Бесплодный пламень сладострастья?
Он не знаком тебе, мятежный пламень сей;
Тебе неведомое чувство
Вливает в душу их, невольницу страстей,
Твое коварное искусство.

9 Не верь судьбе слепой, не верь самой себе

12—28
Любви безумье роковое!
Но избранный тобой, страшась знакомых бед,
Твой нежный взор без чувства встретит
И, недоверчивый, на пылкий твой привет
Улыбкой горькою ответит.
Когда же в зиму дней все розы красоты
Похитит жребий ненавистный,—
Скажи, увядшая, кого посмеешь ты
Молить о дружбе бескорыстной,
Обидной жалости предметом жалким став?
В унынье всё тебя оденет,
Исчезнет легкий рой веселий и забав,
Толпа ласкателей изменит,
Изменит и покой, услада поздних лет!
Как дщери ада — Эвмениды,
Повсюду, жадные, тебе помчатся вслед
Самолюбивые обиды.

57

1 НЛ Поблекнули ковры полей

5—8
Болезни жертва в цвете лет,
К сей роще юноша унылый
Последний горестный привет
Отдать прибрел отчизне милой:

вм. 13—40
С ненастной осенью приспеет,
Вещало ты, мой смертный час,
И для страдальца пожелтеет
Дубравный лист в последний раз.
Заплачет милая мне дева;
Я вяну: легкою мечтой
Мелькнув, исчез мой век младой.

Последний лист падет со древа,
Последний час ударит мой!
Затмили тучи свод лазурный;
Осенних ветров слышен свист.
Шуми, шуми, о ветер бурный!
Вались, вались, поблеклый лист!
От взоров матери унылой
Сокрой меня с моей могилой;
Когда ж с отчаяньем в очах,
Пустыню воплем оглашая,
Моя подруга молодая
Ее отыщет в сих местах,
Тогда под камнем безответным,
Где я навек опочию,
Буди ты шорохом приветным
Тень услажденную мою!»

вм. 45—48 Близ рощи той его гробница;
Но не пришла краса-девица
Свой долг заветный ей отдать,
А зрела каждая денница
Над ней рыдающую мать.

61

вм. 1—4 НЛ «Прости» сказать ты поспешаешь мне,
И пылкое любви твоей начало
Предательски безумца обласкало.
Всё видел я — я видел всё во сне!
Ты, наконец, мне взоры прояснила;
В душе твоей читаю я теперь.
Проснулся я,— и мне легко, поверь,
Тебя забыть, как ты меня забыла.

62

загл. НЛ БЕЗНАДЕЖНОСТЬ

4—5 Не ведая куда, прошел я полдороги.
Довольно! Я устал, и путь окончен мой.

7 Стою задумчивый над жизненной стезей

63

вм. 1—3 Изд. 1827, Изд. 1835 Так! для отрадных чувств еще я не погиб

вм. 1—4 НЛ Столицей шумною в изгнанье позабыт,
Я не забыл тебя, любимец Аонид!

32—38
Изд. 1827,
Изд. 1835

Как беден страждущий бездействием своим!
Печальный, жалкий раб тупого усыпленья,
Не постигает он души употребленья,
В дремоту грубую всечасно погружен,
Отвыкнул чувствовать, отвыкнул мыслить он,
На собственных пирах вздыхает он украдкой,
Что длятся для него мгновенья жизни краткой.

53
НЛ,
Изд. 1827,
Изд. 1835

Всемирных перемен читаю в них причины

71—72
список ГПБ

Кто рад своей казне, кто псарне рад своей,
Кто наслаждается, гоняя голубей...

66

загл.
ПЗ

К...

между 27 и 28

Враги повсюду, милый воин,
Они поверены судьбе,
Благому небу и тебе,—
Но ты ль их веры недостоин!

между 44 и 45

А я, любезный командир,
Молвой забытый, о досада!
Ношу свой унтерский мундир
Для щегольства и для парада!

67

загл.
ПЗ

ПРИЗНАНИЕ

вм. 9—34

Спокойна будь: я не пленен другою;
Душой моей досель владела ты одна;
Но тенью легкою прошла моя весна:
Под бременем забот я изнемог душою,
Утихнуло волнение страстей,
Промчались дни; без пищи сам собою
Огонь любви погас в душе моей.
Верь, беден я один: любви я знаю цену,
Но сердцем жить не буду вновь,
Вновь не забудусь я! Изменой за измену
Мстит оскорбленная любовь.
Предательства верней узнав науку,
Служа приличию, фортуне иль судьбе,
Подругу некогда я выберу себе
И без любви решусь отдать ей руку.
В сияющий и полный ликов храм,

Обычаю бесчувственно послушный,
Введу ее, и деве простодушной
Я клятву жалкую во мнимой страсти дам...
И весть к тебе придет; но не завидуй нам:
Не насладимся мы взаимностью отрадной,
Сердечной прихоти мы воли не дадим,
Мы не сердца Гимена связью хладной —
Мы жребий свой один соединим.
Прости, забудь меня; мы вместе шли доныне;

37 Как я безропотно покорствуя судьбине.

39—40 И слишком ветрено в младые наши лета
Даем нескромные обеты

68

вм. 1—2 «Весы». 1908, № 5

Души признательной всегдашний властелин,
Художник лучший наш и лучший гражданин,
Ты даже суетной забаве песнопенья
Общеполезного желаешь назначенья!

между 4 и 5

Любовь порочная рождает ли участье?
Бесславны в ней беды, еще бесславней счастье!
Безумна сих певцов новейшая орда,
Свой стыд поющая без всякого стыда!

вм. 11—17

Не тою, верю я, в какой иной певец,
Француза Буало приняв за образец,
Поклонник набожный его бессмертной славы,
По-русски галльские осмеивает нравы.
Устава нового держась в стихах моих,
Пусть глупость русскую дразнить я буду в них.
Что будет пользы в том? А без особой цели,
Согласья легкие затейливой свирели
В неугомонный лай неловко превратя,
Зачем я полк врагов создам себе шутя?
Страшуся наперед я злобы их опасной.

21—22

Упреков и улик язвительным орудьем —
Клеймит бездельников, забытых правосудьем,

вм. 25—26

Личину чуждую срывая с человека,
Являя в наготе уродливости века,
Он исправляет их; и как умом ни быстр,
Едва ль полезней нам юстиции министр.
Всё так, но, к обществу усердьем пламенея,
Я смею ль указать на всякого злодея?
Гражданского глупца позволено ли мне
С негодным рифмачом цыганить наравне?
И справедливо ли, во смысле прямо здравом,
Кому-либо из нас владеть подобным правом?

вм. 32—36

Того ли устрашу, кому не страшен кнут?
Кого и божий гнев в заботу не приводит?
Наместник плох умом и явно сумасбродит;
Положим, что в стихах ему скажу я так:
«Ты добрый человек, но, слушай: ты дурак!
Однажды с разумом вступя в очну́ю ставку,
Для общей выгоды нельзя ль подать в отставку?»
Уж он готовился обдумать мой совет,
Но оду чудаку поднес другой поэт,
Где в двадцати строфах взывается бесстыдно,
Сколь зорок ум его, сколь око дальновидно!
Друзья и недруги, я спрашиваю вас:
Кому охотнее поверит он из нас? —

45—50

Но за бесстрашное пороков обличенье
Какое, мыслишь ты, мне будет награжденье?
Не слава ль громкая? — талантом я убог!
Признательность людей? — людей узнать я мог!
Не обольстит меня газет высокопарность,
Где встречу я порой сограждан благодарность.

59—62

Что мыслили о нем сограждане тогда?
Уж он витийствовать радехонек всегда!
Но столь торжественно не попусту хлопочет,
Свой дар ораторский нам выказать он хочет;

вм. 71—72

Признаться, в день сто раз бываю я готов
Немного постращать парнасских чудаков,
Сказать хоть на ухо фанатикам журнальным:
Срамите вы себя ругательством нахальным.
Не стыдно ль ум и вкус коверкать на подряд
И травлей авторской смешить гостиный ряд?
Россия в тишине, а с шумом непристойным
Воюет «Инвалид» с «Архивом» беспокойным;
Сказать Панаеву: не музами тебе
Позволено свирель напачкать на гербе;
Сказать Измайлову: болтун еженедельный,
Ты сделал свой журнал парнасской богадельной,
И в нем ты каждого, убогого умом,
С любовью жалуешь услужливым листком.
И Цертелев блажной, и Яковлев трактирный,
И пошлый Федоров, и Сомов безмундирный,
С тобою заключив торжественный союз,
Несут к тебе плоды своих лакейских муз;
Тобой предупрежден листов твоих читатель,
Что любит подгулять почтенный их издатель;
А я тебе скажу: по мне, пожалуй, пей,
Но ум не пропивай и дело разумей.
Меж тем иной из них, хотя прозаик вялый,
Хоть плоский рифмоплет — душой предобрый малый!
Измайлов, например, знакомец давний мой,
В журнале плоский враль, ругатель площадной,
Совсем печатному домашний не подобен,
Он милый хлебосол, он к дружеству способен:

В день Пасхи, Рождества, вином разгорячен,
Целует с нежностью глупца другого он;
Панаев в обществе любезен без усилий
И, верно, во сто крат милей своих идиллий.
Их много таковых,— за что же голос мой
Нарушит их сердец веселье и покой?
Зачем я сделаю нескромными стихами
Их из простых глупцов сердитыми глупцами?

вм. 73—78 Нет, нет! мудрец прямой идет путем иным.
И, сострадательный ко слабостям людским,
На них указывать не станет он лукаво!
О человечестве судить желая здраво,
Он страсти подавил, лишающие нас
Столь нужной верности и разума, и глаз.
В сообщество людей вступивший безусловно,
На их дурачества он смотрит хладнокровно,
Не мысля, чтоб могли кудрявые слова
В них свойства изменить и силу естества.

вм. 81—82 Зачем же: будь умен — он вымолвит глупцу?
Покой, один покой любезен мудрецу.
Не споря без толку с чужим нелепым толком,
Один по-своему он мыслит тихомолком;
Вдали от авторов, злодеев и глупцов,
Мудрец в своем углу не пишет и стихов.

70

загл. Изд. 1827 ДЕВУШКЕ, ИМЯ КОТОРОЙ БЫЛО АВРОРА

вм. 1—4 Соименница Авроры,
О царица красоты!
Не сама ль Аврора ты?
Для тебя все наши хоры
И куренья и цветы!

72

загл. ПЗ СТАНСЫ

перед 1 О чем ни молимся богам,
Что дать нам боги ни во власти,
Ничто не даст отрады нам,
Когда ошибочные страсти
Вредят сердечной тишине,
Когда господствуют оне.

Ко счастью, способов одних
Для счастья истинного мало;

Употреблять с уменьем их
Еще бы людям надлежало,
И не на то ль своим творцом
Одарены они умом?

А мы, мы ум свой обрекли
Господству легких своенравий!
Достиг владычества земли
Счастливец ветреный Октавий;
Достиг, и что ж? — всемирный трон
Покинуть замышляет он.

Всё суета! Мудрец прямой
Далеких благ не жаждет праздно,
Но дух воспитывает свой
Случайной доле сообразно;
Для счастья надобное в ней
Дарует он душе своей.

73

вм. 21—30 СЦ

Гроб вопрошать дерзает человек —
О суетный, безумный изыскатель!
«Живи, живой, тлей, мертвый!» — вот что рек
Всего ясней таинственный создатель.

Его судьбам покорно гроб молчит.
Зачем же нас несбывшееся мучит?

74

загл. СЦ

ОПРАВДАНИЕ

перед 1

Я силился счастливой старины
Возобновить счастливые мечтанья;
Взывал к тебе, взывал от глубины
Души моей, исполненной страданья.

вм. 5—16

Виновен я — и в памяти твоей
Не оживу! Прощенья у жестокой
Не вымолю! Я был неверен ей,—
Нет жалости к тоске моей глубокой,
Вниманья нет к мольбам любви моей.
Виновен я! Я нежные признанья
Твердил сто раз красавицам другим;
Я к ним спешил на тайные свиданья,
Я расточал живые ласки им,
Но всё дышал Доридою одною,
В объятьях их мечту о ней тая;
В объятьях их был верен ей душою
И отдавал им только чувства я.

В собраниях, веселью посвященных,
На празднествах столичных богачей,
При пламени бесчисленных свечей,
При гуле струн, смычками оживленных,
Как бешеный в безумном вальсе мча

вм. 30—37 Доверчивых вертушек обольщая,
С восторгом пел я чувство к ним мое;
Но жар любви, но голос я ее
Как находил? — тебя воображая!
Не внемлешь ты и, мук моих жадна,
По правилам прелестниц хладнокровных,
Всё памятью обид своих полна.

75

19—21 СЦ Всего усерднее поют свою тоску;
«На свете тошно жить, так бросьтеся в реку!» —
Иной бы молвил им. Увы, не в этом дело!

вм. 39—44 И видим мы его себе в пример и срам,
Не потакающим бессмысленным писцам;

49—51 Екатерина, двор семьею торопливой
Так лестно встретили, из «Душеньки» игривой
Отрывки целые читая наизусть!

59—62 Судей особенных на то имеем мы,
Свой вкус услужливый пускающих внаймы
И, способов других не зная к пропитанью,
Торгующих у нас хвалой своей и бранью;

64 Голодным бешенством внушенный приговор.

вм. 91—94 В замену красоты даю стихам моим
Я силу истины — а в них на блажь людскую
Неловко, может быть, но смело негодую.

98—99 Изд. 1827 Другие времена — другие упражненья;
Теперь зрелей мой ум, черствей душа моя

76

загл. НЛ К...

вм. 1—7 Зачем живые выраженья
Моей приязни каждый раз
В вас возбуждают опасенья
И возмущают даже вас?
Страшитесь вы (страшитесь, право) —
Не взволновали ль вы мне кровь

И голос дружества любовь
Не принимает ли лукаво?
Душа полна тоски ее,
Но я рассудка не забуду
И на смятение мое

вм. 29—48

Жестокий мстительный Зевес
К вершине дикого Кавказа
Его цепями приковал;
Вран сердце грызть ему летал.
Кто от единого рассказа
Не цепенел, не трепетал?
И вы трепещете, но что же?
В огне любезных мне очей
Я занял жизнь души моей.
За это мстили вы мне тоже
И также рады мстить, ей-ей!
Но в жар краса меня не вводит,
Тяжелый опыт взял свое,
Я захожу в приют ее,
Как вольнодумец в храм заходит.
Душою праздный с давних пор,
Вам лепечу я нежный вздор,
Увы! беру прельщенья меры,
Как он порою в храме том
Благоуханье жжет без веры
Пред сердцу чуждым божеством.

90

загл. «Урания»

К ***, ПОСЫЛАЯ ТЕТРАДЬ СТИХОВ

5—8

Когда в то время знал я вас,
Равно страдала бы, Темира,
Душа моя, но во сто крат
Была бы пламеннее лира.

96

загл. СЦ

Л. С. П⟨УШКИ⟩НУ

13—15

Ей видеть хочется начальное волненье
Души неопытной твоей,
И счастлива она, когда заметит в ней

101

загл. МВ

ПОДРАЖАТЕЛЯМ

вм. 22—24

А ваша муза выписная,
Питомцы вымышленных бед,
Растрогать чающая свет,
Печаль заемную лаская,—
В его догадливых глазах

112

1—6 Изд. 1835

Тебя из тьмы не изведу я,
О смерть! и, детскою мечтой
Гробовый стан тебе даруя,
Не ополчу тебя косой.

Ты дочь верховного Эфира,
Ты светозарная краса

вм. 1—4 МВ

О смерть! твое именованье
Нам в суеверную боязнь:
Ты в нашей мысли тьмы созданье,
Паденьем вызванная казнь!

Не понимаемая светом,
Рисуешься в его глазах
Ты отвратительным скелетом
С косой уродливой в руках.

13—15

И ты летаешь над созданьем,
Забвенье бед везде лия
И прохлаждающим дыханьем

17—20

Ты фивских братьев примирила,
Ты в неумеренной крови
Безумной Федры погасила
Огонь мучительной любви...

25—27

Ты предстаешь, святая дева! —
И с остывающих ланит
Бегут мгновенно пятна гнева

между 28 и 29

И краски жизни беспокойной
С их невоздержной пестротой
Вдруг заменяются пристойной
Однообразной белизной.

131

загл. *СЦ* — МУЗА

. . .

10—12

Достоинством обдуманных речей
С ней, может быть, скучает обхожденьем,
Но с похвалой относится о ней.

167

между 8 и 9 *МН*

Весел я небес красой,
Но слепец я. В разуменье
Мне завистливой судьбой
Не дано их провиденье.
Духи высшие, не я,
Постигают тайны мира,
Мне лишь чувство бытия
Средь пустых полей эфира.

171

между 74 и 75 *Сов.*

Алкаемых неопытным, тобой
Сердечных нег вкусив отраву,
Ты, может быть, любовью мировой
Пылая, звал и ведал славу?
О, для тебя уже призра́ков нет,
Их разогнал неодолимый свет!

Кругом себя взор отрезвелый ты
С недоумением обводишь;
Где прежний мир? где мир твоей мечты?
Где он? — ты ищешь, не находишь!

118—120

Всесильным гласом примиренным,
Внимающий в веселье и тиши
Лучам небес раскрывшейся души,—

187

1—4 *Изд. 1869* *1-й вар.*

Когда поэта красота
Своей улыбкой оживила,
Не думай, чтоб любви мечта
Его глаза одушевила.

1—4 *Изд. 1869* *2-й вар.*

Как взоры томные свои
Ты на певце остановила,
Не думай, чтоб мечта любви
В его душе заговорила.

230

25—28
автограф 1-й

А между тем не песнями весна
Мной встречена; мне лиры строй несносен,
Рука моя бросает семена
Не спелых дум, но елей, сосен.

231

1—8
автограф

Над дерзновенной головою,
Как над землей скопленный пар,
Нависли тучи надо мною
И за ударом бьет удар.

Я бросил лирную порфиру,
Боюсь явленья бога струн,
Чтоб персты падшие на лиру
Не пробудили бы перун.

ПОЭМЫ

234

2—4
Сор., ЭП

На всё взглянул я верным глазом,
Любовник, воин и поэт,
Трем божествам служил я разом.

вм. 5—8
Сор.

Искал я счастья, как другой,
Волшебный сон и мне приснился,
Но, разуверенный душой,
Вздохнул, заплакал и простился
С моей несбыточной мечтой.
Непрочно то, что сердцу мило;
Кто сердцу верит, тот глупец.
А поэтический венец?
Никак оно же мне сулило!
Но что скажу вам наконец?

вм. 5
ЭП

Досталось много мне на часть
Душе любезных заблуждений,
Прошла их временная власть:
Утихла жажда наслаждений
И охладела к славе страсть.

вм. 23
Сор., ЭП

Зато не грустно: сладкий сон
Недуг минутный успокоит,—
Здоров и весел встанет он,
И отдых силы в нем удвоит,
Пирует он — и, горя чужд,

вм. 26—34
Сор.

От лишних прихотей своих
Почти всегда мы страждем, други!
Кому не стоят мук живых
Любви роскошные досуги?

Кто, возвратясь в отцовский дом
Калекой жалким с поля славы,
Не называл себя слепцом
И про военные забавы
Словца не вымолвил тишком?
Хвала тебе, веселый Ком!

вм. 36—40

Красив, не спорю, бранный шлем;
Победный лавр еще прекрасней,
Приятно драться — между тем
Обедать, право, безопасней.

вм. 36—40
Изд. 1827

Прекрасно, други, рифмы плесть,
Служить любви еще прекрасней,
Приятно драться: слаще есть
И, право, право, безопасней.

72—75
Сор.

Садятся гости; без чинов
Усердно потчуют друг друга
И наливают до краев
Бокалы сладкого досуга:

вм. 105—114

Воображенье позлащало
Судьбу неведомых годов;
Игрушки тешили певцов,
И веки сердце проживало.
Пусть не роскошен был прибор,
Пусть не богаты брашны были,
Всё приправлял веселый вздор,—
И сладко ели мы и пили.
Поверхность шаткого стола,
Благословенного забавой,
В большие праздники была
Прикрыта скатертью диравой;
И между тем, друзья мои,
В простые чаши бог похмелья
Роскошно лил сынам веселья

между 131 и 132

Потупя сумрачные взоры,
В печали робкой и немой,
Не слушал радостные хоры,
Не трогал чаши круговой.

вм. 144—148

Знакомо мне ее страданье,
Но я страдать желал бы вновь!
И где же вы, душе родные,
Друзья, делившие со мной
И заблужденья молодые,
И радость жизни молодой?
Разлучены богиней строгой:

вм. 173

Уж в мире нет отцов моих,
Безмолвен терем опустелый,
В тени прохладной лип густых
Таится ряд могил немых —

Там скрыт их пепел охладелый;
Дом счастья мрачен и угрюм.
Но что к унынью нас принудит?
Пиров бывалых новый шум
В нем голос радости пробудит!

вм. 178—183

Ты, поневоле милый льстец,
Очаровательный певец
Любви, свободы и забавы,
Ты, П⟨ушкин⟩, ветреный мудрец,
Наперсник шалости и славы,—
Молитву радости запой,
Запой: соседственные боги,
Сатиры, фавны козлоноги
Сбегутся слушать голос твой,
Певца внимательно обстанут
И, гимн веселый затвердив,
Им оглашать наперерыв
Мои леса не перестанут.

вм. 187

Упиться радостью свиданья!
Толпой сберитеся опять
Шуметь за чашей круговою,
Былое время вспоминать
И философствовать со мною.

вм. 194—206

Мы соберемся! — но не те,
По легковерной простоте
Сыны любимые надежды,
Которым в полной красоте,
Во блеске праздничной одежды
Являлась жизнь: прозрели вежды,
Предстала в скудной наготе.
Так в школе опытов суровых
Учились многие из нас —
И приготовили рассказ
Своих открытий тяжко-новых!
За полной чашей кто ни есть,
Быть может, вздумает прочесть
Свои игривые творенья,
В которых дань свою принесть
Успел богиням вдохновенья,

между 211 и 212

Прочтем! — Унынием немым
Все, думой тяжкою объяты,
Считают горькие утраты,—

235

перед 1
ЭП, автограф ПД

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

вм. 5—8

«Верь, неспособен я душой
К презренным умыслам разврата;
Ты, как сестра, любима мной:
О, полюби меня, как брата!

В родной далекой стороне
Сестру я милую имею:
Черты лица у вас одне;

10—15

Но что? ты видишь: воин я;
Всегда кочует рать моя;
За нею пó свету блуждая,
Бог весть, уже с какой поры,
Я не видал родного края,
Не целовал моей сестры!

21
автограф ПД

Делить с тобою жажду я

вм. 24—26

Оставь, красавица моя;
К чему пустая боязливость,
К чему?..» —
Питая чувства жар,
Так говорил младой гусар
Финляндке Эде. Взоров живость,

вм. 24—26
ЭП

К чему пустая боязливость?
Во мне пылает чистый жар...» —
Так говорил младой гусар
Финляндке Эде. Взглядов живость,

вм. 27—29
автограф ПД

Из-под фуражки по щекам
Два черных локона к плечам,
Виясь, бегущие красиво,
Одевший ловко ловкий стан,
Щеголеватый доломан.
И без речей красноречиво
Всё было в нем. Но кто бы мнил,
Любуясь на его ланиты,
Легчайшим пухом чуть покрыты,
Чтобы умел... Он русский был,
И завела в отчизну финна
Его походная судьбина.

вм. 27—29
ЭП

Из-под фуражки по щекам
Два черных локона к плечам,
Виясь, бегущие красиво,
Гусарский щегольский убор,—
И без речей для девы гор
Всё было в нем красноречиво.
Ему отчизной Русь была.
Полков бродящая судьбина
Его недавно завела
В пустыни пасмурные Финна.

30
МТ

Чудесный край! Его красам,

38—39
ЭП, автограф ПД

Там холм очей не веселит,
Он лавой каменной облит;

47
ЭП

Нежданный цвет в пустыне той,

вм. 48—51
автограф ПД

Красой лица, красой души
Уединенно расцветая,
Отца простого дочь простая,
Являлась Эда в сей глуши
Очей отрадою нежданной.
Так на нагих ее скалах
Растет цветок благоуханный.

49
ЭП

Красой лица, души красой

54
автограф ПД

В роскошных кольцах по щекам,

57—58
ЭП, автограф ПД

Готовность к чувству в сердце чистом,—
Вот Эда вам!
На камне мшистом

59
автограф ПД

Сидела невзначай она,
Сходил на землю вечер томный.
Как миг такой не подстеречь?

59
ЭП

Сидела по́д вечер она.

63—65
автограф ПД

Увы! красотка молодая
Прервать не думала ее,
И, сердце нежное свое
Ей с верой детской открывая,
В сетях не видела сетей!

70

Благоуханный свой листок

71
ЭП

И не предвидит близкий хлад.

72
автограф ПД

От севера дохнуть готовый.

вм. 73—75
ЭП

Давно рука ее лежала
В руке его. Потупя взгляд,
Она краснела, трепетала,
Но у Владимира назад

вм. 75
автограф ПД

Стыдом красавица пылала
Меж тем, забывшись, у него

75
У

Но у предателя назад

76
ЭП, автограф ПД

Руки своей не отнимала.

81—82
автограф ПД

Любовь, одна любовь дышала
В ее неопытных очах,

84
ЭП, автограф ПД

Она лукавцу отвечала:

108—112
ЭП

— «Я твой губитель? Вечный бог
Мне да готовит наказанье!
Я друг твой, верный друг, в залог
Прими нежнейшее лобзанье!»
— «Что, что, зачем? Какой мне стыд!»

119—120

Нет, я тебя не покидаю:
Мое забвенье мне прости!»

вм. 122—127

— «Я гнев в очах твоих читаю,
Уверь меня, что он погас;
Поцеловать еще мне раз
Позволь себя».— «Пусти, несчастный!»

вм. 132—138

Нет, боле ей не верю я!
Друг милый мой, одно лобзанье!
Тебя ль не тронет сердца боль,
Слов убедительнейших сила?
Одно лобзанье мне позволь!» —
И отвращенное дотоль
Лицо тихонько обратила
К нему бедняжка.
                                О злодей!

150

Полна с поры мятежной сей

186—189

«Друг, поздно!» — девица шепнула;
Оставив друга своего,
Пошла в свой угол, но взглянула
Дорогой дважды на него.

после 189
ЭП

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

208
М

Горячих слез на них заметны!

210

С красоткой хитрый постоялец,

210
ЭП

С малюткой хитрый постоялец:

213

Когда же бусы подарит

213
М

Когда ж ей серьги подарит

214—215
М, ЭП

Или платок повеса ловкой,
Она красивою обновкой

217 *М*	Потом его благодарит
219	На сонного его порой
222	И долго слышен детский смех.
223—229	*заменены точками с примеч.:* «Точки поставлены самим сочинителем»
234 *М, ЭП*	Теперь уж нет! Простых речей
240	К груди лукавца, вся в огне,
241 *М*	Сама бедняжка припадает,
244	К лобзаньям страстным обращает
262 *ЭП*	Но только хитрый мой шалун
280—281	У бедной Эды, «Что ворчать?» — Тогда промолвилася мать:
между 287 и 288	Из спора этого ни слова Владимир мой не проронил; Ему он умысел внушил: Всё как-то злому учит злого.
316	Лукавца слушала она.
вм. 348—350	К устам красавицы моей И полдуши оставлю ей Я в лобызании прощальном: Решись!» Волнения полна,
вм. 353—354	Ему довериться она:
вм. 366—370	Ты дух нечистый, вижу ясно. Жестокий! Сердца Эды ты Лишил уж первой чистоты. Что вновь замыслил? Нет, ужасно! От друга сердце далеко, Я без надежд, без утешений, С тоски моей умру легко, Умру без новых прегрешений».
375	Злодея стало деве милой,
428	Сама себя не разумея,

430	Уже в объятиях злодея...
431—432 *У*	Ему, злодею, в эту ночь Досталась полная победа:
после 464 *ЭП*	ЧАСТЬ ТРЕТИЯ
472 *М*	То приютит безмолвный бор
вм. 473—477	Но чаще в ближний дол они Нисходят разными путями. Там над прозрачными струями Ручья веселого, в тени Густых берез, рябин узорных, Обросших, вести нет когда, Два камня, падшие туда С высот соседственных нагорных;
вм. 480—488	Кладет усталую главу, Беспечным сном глаза смыкает. Она от друга своего Докучных мошек отгоняет, Власами мягкими его Рукой младенческой играет!
486 *ЭП*	Древесной ветвью отвевает
488	Его кудрявыми власами
490	Когда ж подъемлется луна,
498—500 *М*	Они воссели молчаливо. Глазами в тихом забытьи Шалун следил его струи,
499 *ЭП*	Владимир в тихом забытьи
499 *У*	Лукавец в тихом забытьи
509—511 *М*	У добродушной красоты Уста в то время улыбнулись, Но тут же скорбь взяла свое
512 *ЭП*	И на глазенках у нее
517 *М*	«Нет, нет, некстати мне тоска!

вм. 524—533
ЭП

Ужели не был тронут он
Ее любовию невинной?
До сей поры, шалун бесчинный,
Он только знал бокалов звон,
Дым трубок, шумные беседы
Соратных братиев своих
И за преступные победы
Слыл удальцом промежду них.
Наукой жалкою обманов
Гордился он — и точно в ней
Другого был посмышленей.
Успел он несколько романов,
Зевая и крутя усы,
Прочесть в досужные часы
От царской службы и стаканов;
Собой пригож был, нравом жив.
Едва пора самопонятья
Пришла ему, наперерыв
Влекли его к себе в объятья
Супруги, бывшие мужей
Чресчур моложе иль умней.
И жадно пил он наслажденье,
И им повеса молодой
Избаловал воображенье.
Не испытав любви прямой,
Питомец буйного веселья,
В пустыне скучной заключен,
За милой Эдой вздумал он
Поволочиться от безделья
И, как вы видели, шутя,
Увлек прелестное дитя.
Увы, мучительное чувство
Его тревожило потом!
Не раз гусарским языком
Он проклинал свое искусство;
Но чаще, сердцем увлечен,
«Какая дева,— думал он,—
Ее прелестней в поднебесной,
Душою проще и нежней?»
И провиденья перст чудесный
Он признавал во встрече с ней.
Своей подругой неразлучной
Уж зрел ее в мечтах своих,
Уже в тени дерев родных
Вел с нею век благополучный...
Вотще!
Коварный швед опять

между 571 и 572
ОА

Очнувшись, долго грустный взор
Кругом себя она водила:
Неутешительный позор!
За летом осень наступила;
Тяжелая седая мгла
Нагие скалы обвила.

Всё мертво было, лист дубравный
Крутил уж вихорь своенравный.
С природой вместе расцвела
Ты для любви, младая дева!
Жила в ее восторгах ты;
Вся отлетела, как со древа
Летят поблеклые листы!
Жестоко сердце обманула
Любви коварная мечта!
Как дней весенних красота,
Тебе на миг она блеснула:
Исчезло всё — земля пуста!
Сил на роптанье не имея,
Вошла бедняжка в угол свой
И зрит письмо перед собой,
Письмо от милого злодея.
«Прости,— несчастный пишет ей,—
Прости! Быть может, сон мятежный,
Что ты была в любви своей,
А не казалась прямо нежной;
Что с Эдой счастлив был бы я,
Когда б умел я в счастье верить...
Бог нам обоим судия!
Ваш пол умеет лицемерить!
Меня зовет кровавый бой;
Не знаю сам, куда судьбой
Я увлечен отселе буду;
Но ты была любима мной,
Но ввек тебя я не забуду.
Забудь меня; в душе своей
Любовь другую возлелей.
Всяк будет пленником послушным
Твоей цветущей красоты.
Легко воспользуешься ты
Моим советом добродушным.
Легко... но если из очей
Слезу уронишь в самом деле
Ты на листок заветный сей,
Утешься: жребий мой тяжеле
Судьбины бедственной твоей».

576
М Из-под сугробов снеговых

578 Скалы чернеют: снег буграми

579—580 Лежит на соснах вековых.
Кругом всё пусто. Зашумели

594—595 Давно увянул счастья свет,
Что ж для меня кончины нет?

597—600 Но сон желанный, сон глубокий.
О, скоро ль гроб меня возьмет
И на него сугроб высокий
Дыханье бури нанесет?»

между 600 и 601

Не тщетно дева молодая
Кончину раннюю звала:
Уж Эды нет! Кручина злая
Ее в могилу низвела.
Кто б думать мог? В ее обитель
Меж тем лукавый соблазнитель
Неожидаемый летел.
Какой он умысел имел,
Бог весть. Но прибыл он,— и что же? —
Узрел ее на смертном ложе.
В слезах пред милою упал:
«Постой,— отчаянный взывал,—
Тебе ль назначена могила!
О жертва милая любви,
Я твой навек, живи, живи!
Ты ль голос друга позабыла?»
Но меркнул свет в ее очах;
На леденеющих устах
Уже душа ее бродила...

после 613

ЭПИЛОГ

«Звездочка»

Ты покорился, край гранитный,
России мочь изведал ты
И не столкнешь ее пяты,
Хоть дышишь к ней враждою скрытной!
Срок плена вечного настал,
Но слава падшему народу!
Бесстрашно он оборонял
Угрюмых скал своих свободу.
Из-за утесистых громад
На нас летел свинцовый град;
Вкусить не смела краткой неги
Рать, утомленная от ран:
Нож исступленный поселян
Окровавлял ее ночлеги!
И всё напрасно! Чудный хлад
Сковал Ботнические воды;
Каким был ужасом объят
Пучины бог седобрадат,
Как изумилися народы,
Когда хребет его льдяной,
Звеня под русскими полками,
Явил внезапною стеной
Их перед шведскими брегами!
И как Стокгольм оцепенел,
Когда над ним, шумя крылами,
Орел наш грозный возлетел!
Он в нем узнал орла Полтавы!
Всё покорилось. Но не мне,
Певцу, не знающему славы,
Петь славу храбрых на войне.
Питомец муз, питомец боя,
Тебе, Давыдов, петь ее.

Венком певца, венком героя
Чело украшено твое.
Ты видел финские граниты,
Бесстрашных кровию омыты;
По ним водил ты их строй.
Ударь же в струны позабыты
И вспомни подвиги твои!

237

перед 1
Изд. АН (2)

Умеют жить в Москве богатой
И для себя и для других.
У знатных бар, сынов прямых
Столицы праздной, тороватой,
Одно веселье на уме,
Одно занятие — банкеты.
Как рады жители зиме!
Теперь — бог весть, а в прежни леты
Зимой у них за пиром пир.
Ношу ли фрак я иль мундир,
Женат ли я, хочу ль жениться,—
Мне всякий рад. Когда не лень,
Вальсировать и волочиться
В Москве могу я каждый день.

5
МТ, ДП

Блистает тысячью огней

5
автограф на экз.
ДП из собрания
К. В. Пигарева

Сияет тысячью огней

7—13
МТ, ДП

Гудят смычки; толпа гостей
С приличной важностию взоров,
В чепцах узорных, вычурных,
Ряд пестрый барынь пожилых
Сидит. Причудницы от скуки
То поправляют свой наряд,
То на толпу, сложивши руки,

8—9
автограф на экз.
ДП из собрания
К. В. Пигарева

И пестрота и блеск уборов.
С улыбкой сонной на устах,

9
«Звездочка»,
автографы ПД
и ЦГАЛИ

В чепцах узорных, распашных

13
автограф на экз.
ДП из собрания
К. В. Пигарева

И на безумный вихорь бала

16—17 *«Звездочка», автографы ПД и ЦГАЛИ*	Пылают негой взоры их, Огнем каменьев дорогих
18 *МТ, «Звездочка»*	Блестят уборы головные,
26 *автограф ЦГАЛИ*	С волненьем ловят каждый взгляд
27—28 *автограф ПД*	Из них несчастных и счастливых, Шутя, волшебницы творят.
28 *«Звездочка», автограф ЦГАЛИ*	Из них волшебницы творят.
31—32	Кавалерист крути́т усы, Франт штатский чопорно острится,
31—32 *МТ*	Герой крути́т свои усы, Политик чопорно острится,
39 *«Звездочка»*	Выходят тучные бояры,
42 *МТ*	Под гул порывистых смычков.
44	Вся зала ропотом полна:
52—54	Мигрень... Не знаю... В сюрах шесть». «С княгиней рядом вы стояли, Графиня, знать желал бы я...
53—54 *Изд. АН (2)*	«Графиня, вы тогда стояли С княгиней рядом, что виной?
56	Она страдает тошнотой?»
73	Чьи пурпуро́вые уста
75—80	Кто между скромниц городских, Между Людмил самолюбивых, Сиянья взоров голубых И даже роз ланит стыдливых Ей не отдал бы сей же час За глянец яркий черных глаз,
87	Как остроумна и нежна!
102—103	Вокруг нее заразы страстной Исполнен воздух! Беден тот,

108	Страшися пламенных речей
113	Нет, не сочувствия прямого
122	Мертвела вдруг мечта ее:
143	Когда Цирцея так легко
271 *ДП*	Безмолвствуй! не нуждаюсь я
285	Мое унынье не вини».
293	Меж тем на карточке визитной
327—332	Я к ней способна! Погляди, Вот любопытное колечко, Его ношу я на груди. Не всё, постой!.. еще словечко: Арсений, знай, одарено Волшебной силою оно;
336	Дивишься! Яд оно таит».
483 *СЦ*	Ее чело жемчу́г облег
488	И в томной прихоти своей,
527 *ДП*	Или насмешливо взглянуть
538 *автограф на экз. ДП из собрания К. В. Пигарева*	То на окладе заиграет;
539 *ДП*	Кругом глубокий, смертный сон!
540—546 *автограф на экз. ДП из собрания К. В. Пигарева*	Но час за часом утекает, Перед рассветом ночи мгла На город пуще налегла. Слабее теплится лампада, И вовсе свет ее заснул. Из лона дремлющего града Стал возникать заутрень гул.
551 *ДП*	Вот чья-то дряхлая рука
578	К тому же званья ты большого;
592	Прости, дай руку мне». Вздыхая,

598 автограф на экз. ДП из собрания К. В. Пигарева	Глаза недвижны, в пене рот...
598 ДП	Глаза распухли, в пене рот...
615	Обыкновенными словами

238

вм. 7—8 СЦ	Где душу парную найти? Где? — Разлилося в наше время Так далеко людское племя, Так многочисленны пути!
вм. 13—15	Не всё... приводит в искушенье Еще другое затрудненье: Порою с родственной душой Столкнешься, пó свету блуждая,
вм. 39—40	В Мемфисе древнем уступали Одни пиры пирам другим, В прикрасу блюдам дорогим Красивый череп подавали.
вм. 85—90	Вот с важным видом наконец Так молвил дочери отец: «Я негодую совершенно. Не все ль возможные цари Перед тобою, говори? Чрез трое суток непременно Ты жениха мне избери, Не то... клянуся бородою, Шутить не буду я с тобою». Такая речь была ясна. Что стало с милою царевной?

239

загл. Н	НАЛОЖНИЦА
вм. 11—13 Н, Изд. 1835	Хмель разобрал тебя совсем, Она с дремоты побледнела». «Ты, Сара, спать поди! Зачем До утомленья ты сидела? В другое время, господа! Прощайте». Буйная орда Восколебалася. Гуляки

23

Докончить дело!» — Недвижим,

вм. 38—43
Д

Спешит он дверь свою замкнуть.
Один оставшийся Елецкой
Суровым оком обозрел
Покой, где только что гремел
Пир разливной и молодецкой.
Двояко взор он поражал,
Двойное чувство возбуждал:

46—48

Меж окон зеркало большое,
Но с середины все в лучах,
В пыли богатые завесы

51—53

Ночного пированья след
К тому ж оставили повесы,
Зола из трубок здесь и там,

51—52
Н, Изд. 1835

Вот опрокинутые стулья,
Табачный пепел тут и там,

54
Н

Ряды стаканов по столам,

54
Н, Изд. 1835

Стекло по окнам, по столам,

вм. 56—58
Д

И вот докучливый глазам
Полк догорелых до бумаги

между 60 и 61
Н

Елецкой с думою немою
Поник печально головою,
Но скоро поднял бодрый взор:
«Гей! — закричал он.— Черномор!»
Явился карлик. Понемногу
Лицо Елецкого совсем
Уж прояснилось между тем.
«Ну что соседи?» — «Слава богу!
Всё хорошо: дружна со мной
Служанка барышни самой».
— «Ну, мой красавец, это славно;
Смотри ж теперь, когда, куда
Пойдут, поедут господа,
Что скажут,— всё ты знай исправно».
— «Об вас-то был уж разговор».
— «Не лжешь?» — «Застал меня вечор
У них в передней старый дядя;
Не позабуду я в мой век,
Как гаркнул он, медведем глядя;
„Откуда? чей ты, человек?“
Я доложил».— «Что ж он?»
— «Не смею...»
— «Эх! говори, не размышляй».

— «Ну, братец,— молвил он,— жалею,
А уж твой барин негодяй!»
Елецкой громко засмеялся,
Но тут же на его чело
Густое облако нашло:
Вновь грустной думе он предался.
Тихонько вышел Черномор.

Изд. 1835 имеет по отношению к тексту этого отрывка следующие вар.:

3	Но вдруг, очнувшись, поднял взор;
6—7	Туман, который покрывал Лицо Елецкого, пропал.
вм. 9—11	Знаком мне в доме стар и мал». — «Вот, мой красавец, это славно;
вм. 16—29	«Прекрасно! Что же говорили?» — «Что говорили! Всякий вздор; А молвить правду, не хвалили». Покой оставил Черномор.
вм. 62—64 Н, Изд. 1835	Окно, меж тем уставил взор
97	В нее вступил он, и сначала
102	И в Рождество, и в Новый год
вм. 105	У них в беседах самых чинных Без нетерпенья заседал И на обедах именинных Прибор всегдашний занимал. Но волей полной насладиться
107	И вскоре начал он томиться
вм. 110	Ему досадно и смешно В них показалося одно, Другое глупо, третье скучно.
между 114—115	Товарищ скромный их сперва, Потом решительный глава. Он и уму (что вдвое хуже) Дал со страстями волю ту же. Одушевлен в речах своих Враждою к мнимым предрассудкам, Подвергнул дерзновенным шуткам Он всё святое для других.

вм. 123—124

Но, сам не ведая о том,
Он был в разврате хвастуном.
Его пословиц вольнодумных,
Ничуть не новый, впрочем, род,
Им в свете дал обширный ход,
И от людей благоразумных
Чудовищем со всех сторон
Елецкой был провозглашен.

149

Народной живости кумир.

155

Там клепер чует чет и не́чет;

вм. 172

К забавам шумным страсти полон,
С утра бродил Елецкой мой,
И вот в один из них вошел он.
На то имел он все права,
И под Новинским час и два,
С полудня начиная, мода,
По снисхожденью своему,
Делить веселости народа
Не запрещает никому.

174

Остановил свое вниманье

179

Столь благородным выраженьем

189

Елецкой тронулся душою;

192—194

Как бодрость в путника ночного,
На небе утреннем горя,
Вливает алая заря,—
Так точно, жизнью обновленной,
Страстями долго омраченной,
Душе его дохнул тогда
Румянец нежного стыда.

вм. 201—214

И незнакомку молодую
С тех пор он в сердце заключал
И скоро Веру Волховскую,
Свою соседку, в ней узнал.
Ей дядя, после объяснилось,
Служил заботливым отцом
И, как бывало говорилось,
Держал в Москве открытый дом.
Что пользы, что отрады в этом? —
Сношенья все с враждебным светом
Прервал он давнею порой:
Кого и как ему заставить
В почтенный дом его представить,
Его, гонимого молвой?
Что скажет дядя оскорбленный,
Против него предубежденный?
Как он предстанет даже ей?

Но слишком свет его бесславил,
С тех пор, как он его оставил

между 226 и 227

Вседневно нашему герою
Усердный карлик намекал,
Где вероятна встреча с тою,
К которой пламенной мечтою
Он непрестанно улетал.

228

Ходил, бродил за ней он следом

239

В которой Вера Волховская

261

Приближась, поднял он ее

266
Н

Внимательный и робкий взор.

вм. 292—307
Н, Изд. 1835

Театр? — И тот в разладе этом
Забыт для балов модным светом.
Елецкой сердцем унывал;
Но в зимний холод, как и летом,
Проворный карлик не дремал.
Донес он нашему герою,
Что Вера едет в маскарад
К таким-то. Ожил он душою.
«Спасибо,— молвил,— крайне рад!»
Елецкой не́зван: что за горе?
На то и маска. Веру вскоре
Увидит он, и почему
С ней в безымянном разговоре
Не познакомиться ему?
И вот уж вечер маскарада
Им ожидаемый настал.
Москва ли тешиться не рада?
Кипит народом светлый зал;
Живая музыка играет;
В лад упоительным смычкам
Кадрили вьются здесь и там.
Кругом, волнуяся, мелькает
Толпа гуляющих гостей,
И половина их большая,
Наряд привычный соблюдая,
Тем выдает еще живей
Бродящих рыцарей, шаманов,
И арлекинов, и брахманов,
Диан, весталок, Флор и фей,
Народов всех веков и наций.

311

«Здоровы ль вы?» Для продолженья

вм. 319—324

Смеются наши образцы:
Живых не дразнят мертвецы.

Скрывать лицо под маской душной,
Как ведает читатель мой,
Нельзя девице молодой,
Закону светскому послушной.
И Веру милую тотчас
Нашел Елецкой. Этот раз
На мертвеца он не походит
И чуть с ума ее не сводит:
От Черномора знал о ней
Он много этих мелочей,

вм. 377—386

Еще в последнее желал
Взглянуть на Веру он и встретил
Ее невинный, тихий взор;
Прочел в нем дружеский укор,
Мольбу немую в нем заметил —
И скинул маску. Вере зрим
Он был единое мгновенье:
Толпа сгустилась перед ним,
И он исчез, как привиденье.

ГЛАВА 4

между 386 и 387
Н

Когда из блеска жизни светской,
В котором с Верою своей
На миг так близок был Елецкой,
Отшельник, снова чуждый ей,
В своих стенах он очутился,—
Казалось, грустному, ему,
Что вновь, как узник, погрузился
Он в ненавистную тюрьму,
Из коей на одно мгновенье
Его исторгло сновиденье;
И Веры милый идеал
С тех пор его воображенье
Еще сильнее волновал.
Часы летучие мелькали
И в томном сердце заставали
Всё ту же думу, тот же лик.
«Чего надеяться могу я? —
Порою мыслил он тоскуя.—
Нет, заглушу сердечный крик!»
Напрасно: о единой Вере
Мечта в душе его жила,
Одна внимаема была.
Когда бы мог, по крайней мере,
Свободно видеться он с ней,
Как всякий светский дуралей!

И, предан грустному томленью,
Досадой тайною язвим,
Он ищет способов к сближенью,
Но недоволен ни одним.

Мысль наконец ему блеснула,
Душа в нем весело вздрогну́ла:
«Прекрасно! — шепчет.— Я решен!
В театр они, сомненья нету,
Хоть раз поедут в зиму эту...
Гей, Черномор!» Явился он.
«Послушай-ка,— сказал Елецкой,—
Подъезд у нас точь-в-точь соседской,
Вход не походит ли?» — «А что ж?
Ведь и поистине похож!
Да что вам в этом?» —«Пригодится:
Незнанье — тьма, а знанье — свет;
Предупреди, когда случится
Им для театра взять билет».

Не слишком долго ждал Елецкой.
Один предмет беседы светской,
Сердец чувствительных кумир,
Любимец лож, райка, партера,—
Жоко влечет к себе весь мир.
В театр сегодня едет Вера,
Захлопотал Елецкой наш;
Кровь заиграла в нем живее,
Зовет людей: «Найти скорее
Точь-в-точь соседский экипаж.
Теперь смотрите: слушать слово!
С ним у театра ближе стать,
К подъезду прежде всех подать,
Крича: «Карета Волховского!»
Вмиг посадить господ потом
И привезти ко мне их в дом».

Давно громада городская
Покрылась ночи темнотой;
Давно, прохожих окликая,
Раздался буточников вой;
У моего повесы в доме,
Что обмануть ему верней
Глаза ожи́данных гостей,
Давно нигде нет света, кроме
Того покоя, в коем он
Один развязки приключенья
Ждет, полный странного волненья.
Невнятным стуком поражен
Кареты дальной, вспыхнет духом,
Вскочив, к окну приникнет ухом:
Они!.. Неправда! Стихнул гул,
Иль в переулок повернул.
Вот наконец пред самым домом
Карета покатилась с громом;
Затрясся, зазвенел весь дом,—
И тишина тотчас потом.
«Да осветите, бога ради!» —
Раздался в зале голос дяди;

И наш услужливый герой
К нему выходит со свечой.
Гостям с притворным удивленьем
В глаза он пристально глядит.
«Чему обязан,— говорит,—
Я вашим лестным посещеньем?»
И осмотрелся дядя:
«Ба!
Какая странная судьба!
В чужом мы доме! Извините,
Обеспокоили мы вас.
Домой уедем сей же час!
Вы, негодяи! поглядите,
Куда заехал с вами я!..
Вот славно! Странности какие:
И люди у меня чужие!
Карета, верно, не моя?»

Елецкой мнения того же:
«Ужель?» — «Да, так! на то похоже!»
Теперь и чуда в этом нет:
В его карету сел сосед.
Своим жильцам, мужчине с дамой,
Он дал ее в тот вечер самый.
(Уж эта баснь у шалуна
Была давно сочинена.)
Он разговор не опускает;
Свой экипаж он предлагает
Доехать до́ дому; пока
Садиться просит старика;
Осведомляется учтиво,
С кем так случайно и счастливо
Он познакомлен? — Боже мой!
Иван Петрович Волховской!
Елецкой давнего почтенья
Исполнен к гостю своему
И, безо всякого сомненья,
На днях представится ему.

Пока беседу вел такую
Со старым дядей наш герой,
Он на племянницу младую
Украдкой взглядывал порой.
Бесценный взор он думал встретить,
Узнанье думал в нем заметить:
Напрасная надежда! Он
Не на него был обращен:
Дверь в глубине туманной зала
Вниманье Веры привлекала.
Под ярко-пурпурным платком,
Оттуда, смуглая лицом,
Сверкая черными глазами,
Блистая белыми зубами,
Глядела Сара. Взоры их
Какая сила сопрягала?

В соображениях каких
Мысль у обеих утопала?

Елецкой, проводив гостей,
Был вне себя от восхищенья:
Ему не будет затрудненья
В свиданьях с Верою своей!
Зачем же способ этот странный
К знакомству с ней был избран им?
Иль он не мог путем другим
Достигнуть цели, им желанной?
Зачем со светом не искал
Он понемногу примиренья? —
Он срок желанного сближенья
Надолго этим отлагал;
К тому ж, однажды свет оставив,
Свою вражду к нему ославив,
Он изменить себе краснел
И вновь искать в нем не хотел.
Но, может быть, причиной главной
Был дух природно-своенравный,
Противший завсегда идти
Ему по битому пути;
Сей дух, который отступленья
Незрелых лет его рождал,
Мог даже в годы размышленья
Им обладать — и обладал.

В Изд. 1835 по отношению к этому тексту имеются следующие вар. и сокращения:

вм. 26—45 И помогла ему судьбина.
Не хуже, чем герой Расина,

47 Любимец лож, восторг партера,

вм. 50—59 Вздрогну́л душой Елецкой наш,
Разъезд безумный, торопливый;
Немного сходный экипаж...
Чего и думать? план счастливый!
Людей, не медля, он зовет
И приказанья отдает.

65—66 *отсутствуют*

388 СЦ День новый окна золотил,

406—408 Она их не смыкала сном.
Рукой сердитою чесала
Цыганка черные власы,

435 Любимых песней петь не просишь

478—479 Забавить племена чужие
Из пропитанья мы должны;

542—543 И хладным ядом проникала
Грусть роковая в сердце ей,

544—545 *Н* И бесполезно призывала
Она свободу прежних дней.

вм. 546—553 Едва забывшись, пробудился
От грезы счастья наш герой;
Но от того своей душой
Для Веры он не изменился,
И Волховскому отдал он
Ему обещанный поклон.
Однако вряд бы согласился
К себе принять его сосед,
Когда б случайно в самый след
Других гостей он не явился.
Елецкой строгим стариком
Был встречен вовсе неприветно:
Он показал ему заметно,
Что поневоле с ним знаком.
Елецкой в доме Волховского
Уже ногою б не был снова,
Когда в нетерпеливый миг
С владычицей своих мечтаний
В нем независимых свиданий
Он своенравно не постиг.
Открыто жил сосед почтенный
И балы частые давал,
Меж тем, годами удрученный,
Участья в них не принимал
И сам в палате отдаленной
За мирным вистом заседал.
Всё это ведая подробно,
Елецкой наш весьма удобно
Мог всякий раз являться в дом,
Совсем не видим стариком.

В Изд. 1835 по отношению к этому отрывку имеются следующие вар.:

7—10 *отсутствуют*

11—12 Елецкой вовсе неприветно
Был встречен строгим стариком:

вм. 15—20 Да мало нужды было в том.

579 *Н* С ней языком открытой страсти,

579
Изд. 1835

С ней языком безумной страсти,

592
Н, Изд. 1835

Когда глаза мои у вас

вм. 703—704

В сии недели покаянья
У Волховского балов нет;
Затворит дом ему сосед...

774
Н

Я, давний ужас всей Москвы!..

774
Изд. 1835

А мненье общее Москвы!..

850
Н

Но тот же час его внушенье

897—898

Как с Фимкой Павел Удальской;
А там меня ты не обидишь.

между 898 и 899
Н, Изд. 1835

Тут трав-то! трав-то! босиком,
Весь день не пив, не ев, колдунье
Сбирать их надо в полнолунье,
Да нашептать еще потом!

968
Н

Теперь довольна ли ты мною?

между 1091 и 1092

Погиб жених ее мгновенный.
Слуга́ми вынесенный в зал,
Труп на столе уже лежал,
Их смутным роем окруженный,
Который сброд обыкновенный
Зевак захожих умножал.
Цыганка в вечер тот несчастный
Внезапно скрылась. Лекарь частный
С двумя квартальными стоял
И подозрительной рукою
Перед встревоженной толпою
Труп посинелый осязал.
Но должностной обряд исправлен;
Для любопытства пищи нет;
Зал полицейскими оставлен,
Все разбрелись за ними вслед.
Зал опустел. Псалтирь читая,
Дьячок остался с мертвецом,
Да, горьки слезы кулаком
Ежеминутно отирая,
В углу стоял, потупя взор,
Осиротелый Черномор.

В Изд. 1835 по отношению к этому отрывку имеются следующие вар.:

8 Из дома скрылась. Лекарь частный

15 Дом полицейскими оставлен,

1174—1176 Н
В непродолжительное время
К приезжим шумно собралось,
И двадцать свеч кругом зажглось.

ПРИМЕЧАНИЯ

При жизни Баратынского вышло шесть книг его стихотворений и поэм. Первому сборнику стихотворений, изданному в Москве в 1827 г., в котором была помещена также стихотворная сказка «Телема и Макар», предшествовала книга: «Эда. Финляндская повесть, и Пиры. Описательная поэма» (Спб., 1826). В книге «Две повести в стихах», изданной также в Петербурге в 1828 г., вместе с «Графом Нулиным» Пушкина была напечатана поэма Баратынского «Бал». Три последние книги поэта увидели свет в Москве: в 1831 г. поэма «Наложница» (первая редакция «Цыганки»); в 1835 г.— «Стихотворения» (в двух частях, из которых вторую часть составили поэмы) и в 1842 г.— сборник «Сумерки», включавший в себя всего 26 стихотворений 1834—1841 гг.

В отличие от сборника 1827 г., в котором стихотворения были сгруппированы по жанрам (элегии, смесь, послания),— причем элегии помещались в трех разделах, названных Баратынским книгами,— первая часть издания 1835 г. была построена по идейно-тематическому принципу. Желая показать внутреннее единство книги, которая, по замыслу автора, должна была отразить творческую индивидуальность поэта, Баратынский в большинстве случаев заглавия уже известных читателю стихотворений убрал и, дав стихотворениям сплошную нумерацию, расположил в непосредственной близости друг от друга элегии и мадригалы, послания и эпиграммы, как бы создавая тем самым звенья единой стихотворной исповеди.[1]

Издавая «Сумерки», Баратынский также в ряде случаев снял названия стихотворений, озаглавив одновременно несколько других. Об особом строении «Сумерек» писали неоднократно. Исследователи видели в этом сборнике и «стройный цикл философских стихотворений»,[2] и такой цикл полифонического звучания, где «одно стихотворение дополняется другим, оценивается в свете другого».[3] Сам же поэт, посылая книгу П. А. Плетневу, писал: «...почти все пьесы были уже напечатаны; собранные вместе, они должны живее выражать общее направление, общий тон поэта».[4] И действительно, из 26 стихотворений сборника только 4 были опубликованы впервые в книге,

---

[1] Подробнее об архитектонике и жанровом построении книг Баратынского см.: Фризман Л. Г. Поэт и его книги // Баратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы. М., 1982. С. 507—549.

[2] Купреянова Е. «Сумерки» // Баратынский Е. А. Полн. собр. ст-ний. Л., 1936 (Б-ка поэта, БС). Т. 1. С. 356.

[3] Фризман Л. Г. Поэт и его книги. С. 547.

[4] «Рус. старина». 1904, № 6. С. 522.

а остальные появились в периодической печати 1835—1841 гг.[1] Но самое главное, что, несмотря на «общее направление, общий тон поэта», присущие стихам «Сумерек», увидеть в них «единую тему лирико-философского цикла» [2] нельзя. К этому выводу приводят при внимательном анализе структуры книги и неоднородность стихотворений, и свойственное им разнообразие авторских позиций.

Первое посмертное собрание сочинений Баратынского было издано его сыном Л. Е. Баратынским в 1869 г. в Москве. Исправленное и дополненное, оно было переиздано другим его сыном, Н. Е. Баратынским, в 1884 г. в Казани. Оба эти издания были подготовлены с привлечением рукописей поэта, значительная часть которых до нас не дошла. Однако, как указывает М. Л. Гофман, характеризуя издание 1869 г., «в руках издателей... были, несомненно, громадные материалы для полного и всестороннего изучения творчества Баратынского, но приходится пожалеть, что эти материалы были использованы весьма малоудовлетворительно».[3] Далее, говоря о выборе источников текста для этого издания, Гофман отмечал, что многие стихотворения были напечатаны не по журнальным и книжным публикациям, а «по автографам, копиям и собственным исправлениям издателей, причем издание пестрит таким количеством существенных опечаток, что во многих случаях трудно установить, дается ли обоснованный вариант стихотворения, принятый почему-то издателями в основной текст, или же мы имеем дело просто с испорченным чтением стихотворения».[4] Издание же 1884 г., по словам Гофмана, «мало чем отличается от издания 1869 года».[5] И все же, несмотря на общее несовершенство этих изданий — неверный выбор источников публикаций, ошибки в датировках и просто опечатки,— многие материалы, содержащиеся в них, не утратили своей ценности до сих пор. Следует учитывать и тот факт, что Баратынский, думая о новом собрании своих сочинений, не раз возвращался к работе над ранее изданными стихотворениями и поэмами, но, «так как многие рукописи поэта сгорели в Казани»,[6] исследователи вынуждены обращаться к изданиям наследников, хотя и критически подходя к проделанной ими работе.

Из последующих изданий выделяется как полнотой собранного

---

[1] В сборнике «Сумерки» стихотворения были помещены в таком порядке: «Князю Петру Андреевичу Вяземскому», «Последний поэт», «Предрассудок! он обломок...», «Новинское», «Приметы», «Всегда и в пурпуре и в злате...», «Увы! Творец непервых сил!..», «Недоносок», «Алкивиад», «Ропот», «Мудрецу», «Филида с каждою зимою...», «Бокал», «Были бури, непогоды...», «На что вы, дни! Юдольный мир явленья...», «Ахилл», «Сначала мысль воплощена...», «Еще, как патриарх, не древен я; моей...», «Толпе тревожный день приветен, но страшна...», «Здравствуй, отрок сладкогласный!..», «Что за звуки? Мимоходом...», «Всё мысль да мысль! Художник бедный слова!..», «Скульптор», «Осень», «Благословен святое возвестивший!..», «Рифма».

[2] Купреянова Е. «Сумерки». С. 355—356.

[3] Гофман М. Л. Обзор изданий сочинений Е. А. Боратынского // Боратынский Е. А. Полн. собр. соч. Спб., 1915. Т. 2. С. 313.

[4] Там же. С. 314.

[5] Там же. С. 318.

[6] Там же. 1914. Т. 1. С. XV.

материала, так и научной основой двухтомное Полное собрание сочинений (Спб., 1914—1915), выпущенное в серии «Академическая библиотека русских писателей» под редакцией и с примечаниями М. Л. Гофмана. Однако желая «дать полную картину развития творчества» Баратынского,[1] Гофман отдавал предпочтение ранним редакциям произведений поэта, а последующие помещал в особых приложениях к томам. Этот метод в значительной степени снизил качество большого труда, вложенного Гофманом в издание Баратынского. Позднее, при подготовке нового издания, Гофман, признав ошибочность принятого им принципа, отказался от него.[2]

В 1936 г. Е. Н. Купреяновой и И. Н. Медведевой в Большой серии «Библиотеки поэта» было издано «Полное собрание стихотворений» Баратынского в двух томах, которое воспроизводило состав и композицию прижизненных книг поэта. На его основе в 1957 г., также в Большой серии «Библиотеки поэта», было выпущено новое Полное собрание стихотворений Баратынского, подготовленное Е. Н. Купреяновой. В этом издании весь стихотворный материал, за исключением сборника «Сумерки», был расположен в хронологическом порядке. Но, как справедливо отмечал Л. Г. Фризман, «не все принципиально важные проблемы текстологии Баратынского получили в Изд. 1957 удовлетворительное решение».[3] В частности, недостаточная последовательность в выборе источника текстов нуждалась «в проверке и дополнительной аргументации».[4]

В 1951 г. вышла книга: Е. А. Боратынский. Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма (подготовка текста и примечания О. Муратовой и К. Пигарева), в которой хронологический порядок расположения текстов был выдержан до конца.

Последнее издание Баратынского, о котором следует сказать,— это вышедшая в серии «Литературные памятники» в 1982 г. книга «Стихотворения. Поэмы», подготовленная Л. Г. Фризманом. Продуманная и тщательная работа над этим изданием позволяет отнести его к числу лучших собраний Баратынского.

Настоящее издание включает в себя все дошедшие до нас стихотворные произведения Баратынского. Тексты их заново проверены по всем доступным рукописным и печатным источникам, и публикуются они, как правило, в последней авторской редакции. Орфография и пунктуация приближены к современным нормам.

Основной корпус книги составляют стихотворения (с выделением в особый подраздел стихотворений, не печатавшихся при жизни Баратынского) и поэмы. В разделе «Приложения» публикуются: стихотворения, написанные в соавторстве с другими поэтами; стихотворения, приписываемые Баратынскому; стихотворение, написанное на французском языке; автопереводы стихотворений на французский язык,— выполненные в прозе, они интересны как авторская интерпретация своих произведений (эти переводы помещены под соответствующими номерами оригиналов) — и предисловия к поэмам «Эда» (1826) и «Наложница» (1831), из которых второе является, по сути, программным выступлением Баратынского и ярким выражением его

---

[1] Там же. С. XIV.

[2] Баратынский Е. А. Избр. соч. Берлин; Пб.; М., 1922.

[3] Фризман Л. Г. Проблемы текстологии Баратынского // Баратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы. М., 1982. С. 560.

[4] Там же. С. 561.

творческой позиции. Произведения во всех разделах расположены в хронологическом порядке.

Большинство стихотворений Баратынского не поддается точной датировке. Даты, уточненные в настоящем издании, оговариваются в примечаниях особо. При отсутствии данных, позволяющих установить время написания стихотворения, в угловых скобках указывается дата первой публикации или год, не позднее которого оно было написано. Предположительные даты сопровождаются вопросительным знаком. Даты, отделенные запятой, обозначают время создания первоначальной редакции и окончательной переработки произведения.

В разделе «Другие редакции и варианты» приводятся наиболее значимые и показательные для творческой лаборатории поэта редакции и варианты.

Каждое примечание начинается с порядкового номера стихотворения, вслед за которым дается ссылка на его первую публикацию. Далее через точку и двойной дефис перечисляются все источники, содержащие какие-либо смысловые изменения, вплоть до той публикации, в которой текст установился окончательно. Ссылка только на первую публикацию означает, что в дальнейшем текст изменениям не подвергался. Формула «Печ. по...» применяется в том случае, когда текст печатается по автографу или реконструируется по нескольким источникам. В тех случаях, когда в источнике, по которому печатается стихотворение, оговаривается сохранение или отсутствие заглавия, это означает, что в указанном источнике имели место и другие (как правило, незначительные) смысловые отличия от предшествующих публикаций. Отсутствие полной подписи автора везде отмечается. Сообщаются сведения о наличии и месте хранения автографов и авторизованных списков, а также в необходимых случаях наиболее авторитетных копий и списков с указанием архивохранилищ. Звездочка перед порядковым номером стихотворения означает, что в разделе «Другие редакции и варианты» к данному произведению имеется материал. Если в примечаниях или в разделе «Другие редакции и варианты» есть ссылки на отсчет стихов, то произведения, содержащие 50 и более строк текста, сопровождаются нумерацией стихов по десяткам.

Написание фамилии поэта в его изданиях до сих пор различно: «Баратынский» и «Боратынский». Общепринятого решения этого вопроса пока нет.[1] В настоящем издании сохраняется написание «Баратынский», как наиболее распространенное при жизни поэта и в изданиях советского времени.

При составлении реального и словарного комментария были использованы примечания к произведениям Баратынского М. Л. Гофмана, Е. Н. Купреяновой, И. Н. Медведевой, К. В. Пигарева и Л. Г. Фризмана.

---

[1] Противоположные мотивировки правильности написания фамилии поэта см. в примеч. Е. Н. Лебедева к изд.: Боратынский Е. А. Разума великолепный мир. М., 1981. С. 185—186 и Л. Г. Фризмана к изд.: Баратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы. М., 1982. С. 575—576.

СПИСОК условных сокращений, принятых в примечаниях и в разделе «Другие редакции и варианты»

Б — журнал «Благонамеренный».

ВОЛРС — Вольное общество любителей российской словесности (Общество соревнователей просвещения и благотворения). Петербург.

ГБЛ — Рукописный отдел и Отдел редких книг Гос. библиотеки им. В. И. Ленина.

ГИМ — Отдел письменных источников Гос. исторического музея.

ГЛМ — Гос. литературный музей.

ГПБ — Отдел рукописей и редких книг Гос. публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Д — альманах «Денница». М., 1830; 1831.

ДП — «Две повести в стихах». Спб., 1828 (Бал. Повесть. Соч. Евгения Баратынского. Граф Нулин. Соч. Александра Пушкина).

Е — журнал «Европеец».

ЖМНП — «Журнал Министерства народного просвещения».

Изд. АН (1,2) — Боратынский Е. А. Полное собрание сочинений / Под ред. и с примеч. М. Л. Гофмана. Пг.: Изд. разряда изящной словесности имп. Академии наук. 1914. Т. 1; 1915. Т. 2.

Изд. 1827 — Стихотворения Евгения Баратынского. М., 1827.

Изд. 1835 (1,2) — Стихотворения Евгения Баратынского. М., 1835. Ч. 1 (Стихотворения). Ч. 2 (Поэмы).

Изд. 1869 — Баратынский Е. А. Сочинения. М., 1869.

Изд. 1884 — Баратынский Е. А. Сочинения: Изд. 4-е. Казань, 1884.

Изд. 1936 (1,2) — Баратынский Е. А. Полное собрание стихотворений / Ред., коммент. и биограф. статьи Е. Купреяновой и И. Медведевой. Л.: «Сов. писатель», 1936. Т. 1—2 (Б-ка поэта, БС).

Изд. 1951 — Боратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма / Подг. текста и примеч. О. Муратовой и К. Пигарева. М.; ГИХЛ, 1951.

Изд. 1957 — Баратынский Е. А. Полное собрание стихотворений / Вступ. статья, подг. текста и примеч. Е. Н. Купреяновой. Л.: «Сов. писатель», 1957 (Б-ка поэта, БС).

Изд. 1982 — Баратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы / Изд. подг. Л. Г. Фризман. М.: «Наука», 1982 («Литературные памятники»). Дополнительный тираж книги вышел в 1983 г.

ЛГ — «Литературная газета».

ЛМ — Литературный музеум / Под ред. А. С. Николаева и Ю. Г. Оксмана. Пг., 1921. Т. 1.

ЛН — «Литературное наследство».

М — альманах «Мнемозина: Собрание сочинений в стихах и прозе». М., 1825. Ч. 4 (ценз. разр. 13 окт. 1824 г.).

Материалы — Баратынский Е. А. Материалы к его биографии из Татевского архива Рачинских. Пг., 1916.

МВ — журнал «Московский вестник».

МН — журнал «Московский наблюдатель».

МТ — журнал «Московский телеграф».

Н — Наложница. Соч. Е. Баратынского. М., 1831.

НЗ — журнал «Невский зритель».

НЛ — журнал «Новости литературы».

ОА — «Остафьевский архив князей Вяземских». Спб., 1899—1913. Т. 1—5.

ОЗ — журнал «Отечественные записки».
ПД — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинского Дома) АН СССР.
ПЗ — альманах «Полярная звезда: Карманная книжка для любительниц и любителей русской словесности, изданная А. Бестужевым и К. Рылееевым». Спб., 1823—1825 (ПЗ-23, ценз. разр. 30 ноября 1822 г.; ПЗ-24, ценз. разр. 20 дек. 1823 г.; ПЗ-25, ценз. разр. 20 марта 1825 г.).
Пушкин (Пушкин-11, Пушкин-13, Пушкин-14) — Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. М.: Изд. АН СССР, 1937—1949. Т. 1—16.
РА — журнал «Русский архив».
РИ — газета «Русский инвалид».
РС — журнал «Русская старина».
С — Сумерки. Соч. Евгения Боратынского. М., 1842.
Слав.— журнал «Славянин».
СН — журнал «Старина и новизна».
СО — журнал «Сын отечества».
Сов.— журнал «Современник».
Сор.— журнал «Соревнователь просвещения и благотворения».
СЦ — альманах «Северные цветы». Спб., 1825—1832 (СЦ-25, ценз. разр. 9 авг. 1824 г.; СЦ-26, ценз. разр. 25 февр. 1826 г.; СЦ-27, ценз. разр. 18 янв. 1827 г.; СЦ-28, ценз. разр. 3 дек. 1827 г.; СЦ-29, ценз. разр. 27 дек. 1828 г.; СЦ-30, ценз. разр. 20 дек. 1829 г.; СЦ-31, ценз. разр. 18 дек. 1830 г.; СЦ-32, ценз. разр. 9 окт. 1831 г.).
ТС — Татевский сборник С. А. Рачинского. Спб., 1899.
У — альманах «Утренники». Пг., 1922. Кн. 1.
УЗ — альманах «Утренняя заря». Спб., 1840 (ценз. разр. 14 окт. 1839 г.).
УР — Базанов В. Г. Ученая республика. М.; Л.: «Наука», 1964.
«Урания» — альманах «Урания: Карманная книжка на 1826 год для любительниц и любителей русской словесности, изданная М. Погодиным». М., 1826 (ценз. разр. 26 ноября 1825 г.).
ЦГАЛИ — Центральный гос. архив литературы и искусства.
ЦГИА — Центральный гос. исторический архив.
ЦС — альманах «Царское Село на 1830 год». Спб., 1829 (ценз. разр. 2 дек. 1829 г.).
ЭП — Эда. Финляндская повесть, и Пиры. Описательная поэма Евгения Баратынского. Спб., 1826.

СТИХОТВОРЕНИЯ

***1.** Б. 1819, № 4, под загл. «Мадригал пожилой женщине и всё еще прекрасной», с вар. ст. 1—4, подпись: Е. Б. - - Изд. 1827, под загл. «Женщине пожилой, но всё еще прекрасной». - - Изд. 1835. Обращено к Марии Андреевне Панчулидзевой, урожд. Боратынской (1781—1845), тетке поэта. Написано предположительно осенью 1818 г., по возвращении Баратынского в Петербург после двухлетнего отсутствия. *Летун седой* — бог времени Кронос (греч. миф.) или Сатурн (римск. миф.); в произведениях искусства изображался в виде старика с крыльями за плечами.

2. Изд. 1827, под загл. «Случай». - - Изд. 1835. Автограф в альбоме П. Л. Яковлева — ПД.

3—4. Б. 1819, № 6.

5. Б. 1819, № 9, подпись: Е. Бор.....ий. Адресатом эпиграммы, вероятно, является Петр Иванович Шаликов (1767—1852), поэт-сентименталист, приторно-чувствительные ст-ния которого были постоянным объектом пародий и эпиграмм. Как издатель «Аглаи» (1808—1812) и «Дамского журнала» (1823—1833) пользовался особой популярностью у читательниц.

6. Б. 1819, № 15, подпись: Е — ъ Б...ский. В доносе В. Н. Каразина, председателя ВОЛРС, написанном 4 июля 1820 г. на имя министра внутренних дел В. П. Кочубея, рядом с именами только что сосланного Пушкина и В. К. Кюхельбекера как автора возмутившего Каразина ст-ния «Поэты» (1820) упомянуто и имя Баратынского, а в качестве одного из свидетельств безнравственного поведения молодых поэтов приводится это ст-ние Баратынского с указанием на место его публикации в Б (РС. 1899, № 5. С. 277—278; УР. С. 145).

7. СО. 1819, № 30, с перестановкой слов в ст. 16 («теперь стократ» вм. «стократ теперь»), без ст. 19, замененного точками, и с опечаткой в ст. 31 («внимаешь» вм. «внимать»). - - Печ. по копии В. К. Кюхельбекера (ГПБ). Александр Николаевич *Креницын* (1801—1865) — близкий товарищ Баратынского по Пажескому корпусу, вращавшийся в кругу деятелей тайных обществ; поэт. *Я свиделся с тобой!* Речь идет о встрече с адресатом осенью 1818 г. в Петербурге после двухлетней разлуки, вызванной исключением Баратынского из корпуса.

***8.** Б. 1819, № 6, под загл. «Портрет В...», другая ред. -- Изд. АН (1). -- Печ. по автографу поздней ред. (ПД), относящейся к 1823—1824 гг., в альбоме А. В. Лутковской (см. о ней примеч. 25). Это ст-ние, переадресованное Лутковской, по всей вероятности, вначале было обращено к дальней родственнице поэта Варваре Кучиной. *Противности* — противоположности.

***9.** СО. 1819, № 31, под загл. «К Дельвигу», другая ред. -- Изд. 1827, с опечаткой в ст. 17 (исправляется по СО). Для Изд. 1835 было запрещено цензурой (см. ЛМ. С. 15—17; Изд. 1982. С. 654—655). Обращено к Антону Антоновичу *Дельвигу* (1798—1831), поэту, издателю альм. «Северные цветы» и «Литературной газеты», ближайшему другу Баратынского. Написано по случаю зачисления Баратынского рядовым в л.-гв. Егерский полк. Ответное послание Дельвига — «К Евгению» (1819). Квинт *Гораций* Флакк (65—8 до н. э.) — римский поэт, воспевавший мирную, счастливую жизнь. *Сын милый Венеры* — Амур (римск. миф.). *Пафос* — город на Кипре, где находился храм богини любви и красоты Афродиты (греч. миф.). *Цитера* (Кифера) — остров, центр культа Афродиты. *Гордый лавр и мирт веселый... на главе моей измял.* Баратынский говорит здесь о себе иронически, так как в древности лавровым венком награждали прославленных поэтов и певцов, а миртовым — украшались служители культа Афродиты. *Пинд* — горный хребет в Греции, на котором, согласно мифам, обитали бог поэзии Аполлон и музы. *Камены* (римск. миф.) *...аониды* (греч. миф.) — то же, что музы,— девять богинь-покровительниц искусств и наук. *Хариты* (греч. миф.) — три богини красоты.

10. НЗ. 1820, № 1, с опечаткой в ст. 85 («Кавказы» вм. «Рассказы»), исправляемой по Изд. 1936 (1). Вольный перевод фрагментов поэмы французского поэта Жана Батиста Легуве (1764—1812) «Les souvenirs ou les avantages de la mémoire» («Воспоминания, или Преимущества памяти»). Сократив оригинал наполовину, Баратынский исключил мотивы, связанные с личной жизнью французского поэта, а также его рассуждения об истории своей страны. Поэма Легуве стала для Баратынского средством выражения собственных философских воззрений на историю, поэзию, искусство, жизнь. Анализ текста позволяет увидеть внутреннюю связь ст-ния Баратынского со ст-нием Пушкина «Деревня» (1819), их своеобразную творческую перекличку. *Цевница* — свирель. *Фебовы сыны* — поэты; Феб (греч. миф.) — одно из имен Аполлона. *Плутарх* (ок. 46 — ок. 127) — древнегреческий философ и писатель, автор знаменитых «Сравнительных жизнеописаний». *Фукидид* (ок. 460 — ок. 400 до н. э.) — древнегреческий историк и писатель. *Леонид* — царь Спарты, героически погибший при защите от персов Фермопильского ущелья (480 до н. э.). *Виргиния* — легендарная древнеримская героиня, убитая своим отцом для спасения ее чести; ее смерть вызвала народное восстание. Порций *Катон* Младший (ок. 96—46 до н. э.) — политический деятель Древнего Рима, неколебимый защитник республиканского строя. *Карфаген* — столица одноименного государства в Северной Африке; разрушен римлянами в 146 г. до н. э. *Пальмира* — город в древней Сирии, славившийся своей богатой архитектурой; разрушен римлянами в 273 г. *Авзония* — поэтическое название Италии. *Когорты плебеян.* Когорта — древнеримское войсковое соединение, состоявшее из 500—600 человек. Плебеи — третье, самое низшее свободное сословие Древнего Рима. *Толпы рабов... Эллады.* Греция (древнее название — Эллада) в то время находилась под турецким владычеством; война греков за свою независимость началась в 1821 г. *Диана* (римск. миф.) — богиня Луны и растительности, покровительница охоты. *Паллада* — одно из прозвищ Афины (греч. миф.), богини войны, мудрости и искусства. *Солон* (640—588 до н. э.) — афинский законодатель, считавшийся одним из т. н. «семи мудрецов». *Перикл* (ок. 490—429 до н. э.) — афинский государственный деятель, при котором Афины достигли наивысшего расцвета и могущества.

***11.** СО. 1819, № 49, под загл. «Т — му (В альбом)», другая ред. - - Сор. 1821, ч. 15, № 3, под загл. «Прощание», с вар. ст. 17 по отношению к тексту СО. - - Изд. 1827, под загл. «В альбом». - - Изд. 1835. С. А. Рачинский назвал адресатом ст-ния знакомого Баратынского — Ш. Шляхтинского (Материалы. С. VI). Возможно, в СО опечатка: не «Т—му», а «Ш—му».

12.** НЗ. 1820, № 1, под загл. «Брату при отъезде в армию», другая ред., с пропуском ст. 1 и 5. - - Б. 1820, январь, № 2, под загл. «Б — му (при отъезде его в армию)», с восстановлением пропусков. - - НЛ. 1823, кн. 3, № 2, под загл. «К Б.», с вар. ст. 14, 20, 22—23 и 32 по отношению к тексту Б. - - Изд. 1827, под загл. «К * при отъезде в армию», новая ред. - - Изд. 1835. Адресат ст-ния — брат поэта Ираклий Абрамович Боратынский (1802—1859), служивший адъютантом И. Ф. Паскевича; позднее — генерал-лейтенант, военный губернатор Казани. *Арей* — Арес (греч. миф.), бог войны.

***13.** НЗ. 1820, № 1, под загл. «Элегия», другая ред. - - Изд. 1827, под загл. «Ропот», новая ред. - - Изд. 1835, без загл. По указанию С. А. Рачинского (Материалы. С. VI), обращено к Кучиной (см. о ней примеч. 8). *И не к лицу веселье мне.* О. И. Сенковский, хорошо знавший в те годы Баратынского, позднее писал: «Мы помним Баратынского с 1821 г., когда изредка являлся он среди дружеского круга, гнетомый своим несчастием, мрачный и грустный, с бледным лицом, где ранняя скорбь провела уже глубокие следы испытанного им. Казалось, среди самой веселой дружеской беседы, увлекаемый примером других, Баратынский говорил сам себе, как говорил в стихах своих: „Мне мнится, счастлив я ошибкой, и не к лицу веселье мне...“» («Библиотека для чтения». 1844. № 9. С. 7—8).

***14.** НЗ. 1820, № 1, под загл. «Эпиграмма», другая ред., подпись: Е. Б........ий. - - Изд. 1827, новая ред. - - Изд. 1835. Эпиграмма направлена против Дмитрия Ивановича Хвостова (1756—1835), поэта, неуклюжие стихи которого сделали его адресатом многих эпиграмм современников. В Изд. 1827, где ст. 1: «Поэт Графов в стихах тяжеловат...», адресат угадывался легко благодаря прозрачным намекам на графский титул Хвостова и его известную графоманию. До Баратынского эти лексические связи были обыграны Пушкиным в ст-нии «К другу стихотворцу» (1814). Кроме того, в поэме самого Хвостова «Наука стихотворства» (песнь 4) именем Графова назван бездарный сочинитель. По всей вероятности, притворившись, что истинный адресат эпиграммы ему неизвестен, Хвостов в письме к Баратынскому сделал против него выпад: «Я не отопрусь, что мне весьма полюбилась эпиграмма очень замысловатая:

Поэт Графов в стихах тяжеловат,
Но я люблю не злобного собрата *и т. д.*

Стихи Ваши на моего Графова, коего я поместил в «Науке стихотворной», столько хороши, что я сделал к ним прибавление, которое относится к тем писателям, кои чужды изящного, потому что не ищут его, и мою шуточку прилагаю у сего к Вам первому:

Ты, Баратынский, прав, пусть слог тяжеловат.
Коль мал, посредствен дар, Графов не виноват.
Виновен тот певец, неугомонный хват,
Кто с Фебом, музами живет запанибрата,
Рассудку объявя в стихах своих разлад,
В один сливает ключ и небеса и ад.
Кто мыслит, чувствует без цели наугад
И благонравия устав отринуть рад,
Коль кто восторга чужд и чужд любви собрата,
Не может тот сказать: „Природа виновата“».

(Изд. 1936 (2). С. 245).

15. НЗ. 1820, № 2, под загл. «К девушке, которая на вопрос, как ее зовут, отвечала: „Не знаю“». - - Изд. 1827, с тем же загл., но без предлога «К». - - Изд. 1835, без загл.

***16.** Сор. 1820, ч. 9, № 2, под загл. «Элегия», другая ред., с пропуском ст. 6. - - СО. 1821, № 21, с восстановлением ст. 6 и вар. ст.

8 и 14 по отношению к тексту Сор. - - Изд. 1827, под загл. «Разлука», новая ред. - - Изд. 1835, без загл. По указанию С. А. Рачинского (Материалы. С. VI), ст-ние связано с именем Кучиной (см. о ней примеч. 8). Положено на музыку Н. С. Титовым.

17. Сор. 1820, ч. 9, № 3. Ст-ние рассматривалось на заседании ВОЛРС 19 января 1820 г., постановившем «исправить» текст (УР. С. 371). На основании этого датируется первой половиной января 1820 г. Обращено к Александру Абрамовичу *Крылову* (1793—1829), поэту, члену ВОЛРС. Публий Овидий *Назон* (43 до н. э.— 17 н. э.) — римский поэт, автор «Любовных элегий», поэм «Наука любви» и «Лекарство от любви», которые здесь имеет в виду Баратынский. *Мом* (греч. миф.) — бог злословия и смеха. *Гея* (греч. миф.) — олицетворение земли, богиня — прародительница людей.

***18.** НЗ. 1820, № 3, под загл. «Послание к б⟨арону⟩ Дельвигу», с вар. ст. 23—25, 27, 29, 31—34, 37, 40, 43—45, 49, 53—56. - - Изд. 1827, под загл. «Делию», с вар. ст. 1 и 9. - - Изд. 1835. Было одобрено на заседании ВОЛРС 19 января 1820 г. (УР. С. 371). Поскольку ст-ние было написано в Финляндии, куда, произведенный 4 января 1820 г. в унтер-офицеры, был сразу же переведен Баратынский, датировать его следует 10—15 января 1820 г. Ответное послание Дельвига — «Евгению» (1820).

19. СО. 1820, № 5, с датой: 18 января 1820. Адресовано Вильгельму Карловичу *Кюхельбекеру* (1797—1846), поэту-декабристу, с которым Баратынский был знаком, вероятно, с осени 1818 г. В Изд. 1827 и 1835 по ценз. условиям не включалось. В письме к Н. В. Путяте от второй половины февраля — начала марта 1825 г. Баратынский о Кюхельбекере писал так: «... он человек занимательный по многим отношениям и рано или поздно в роде Руссо очень будет заметен между нашими писателями. Он с большими дарованиями, и характер его очень сходен с характером женевского чудака: та же чувствительность и недоверчивость, то же беспокойное самолюбие, влекущее к неумеренным мнениям, дабы отличиться особенным образом мыслей; и порою та же восторженная любовь к прекрасному, которой он все готов принести на жертву. Человек вместе достойный уважения и сожаления, рожденный для любви к славе (может быть, и для славы) и для несчастия» (РА. 1867, вып. 2. Стб. 265—267). *В отчизне бранного Одена* — здесь: в Финляндии, где служил в то время Баратынский. Оден (Один) — верховный бог в скандинавской мифологии.

***20.** НЗ. 1820, № 3, вместе со ст-нием В. Л. Пушкина под общим загл. «Элегии», другая ред., с пометой и датой: Фридрихсгам, 15 марта 1820. - - СО. 1821, № 27, под загл. «Элегия», с вар. ст. 1 и 3 по отношению к тексту НЗ, подпись: Б — ий. - - Изд. 1827, под загл. «Утешение», с подзаг. в оглавлении «Подражание Лафару», новая ред. - - Изд. 1835, под загл. «Подражание Лафару». Вольный перевод мадригала французского поэта Шарля Огюста *Лафара* (1644—1712) «À madame la comtesse de Caylus» («Графине де Кайлю»).

21. Сор. 1820, ч. 10, № 4. Было одобрено на заседании ВОЛРС 22 марта 1820 г. (УР. С. 375). *Филомела* (греч. миф.) — афинская царевна, превращенная богами в соловья; иносказательно — соловей.

***22.** Сор. 1820, ч. 10, № 5, другая ред. - - СО. 1820, № 22, с вар. ст. 18, 21, 39, 51, 60, 62 по отношению к тексту Сор. - - Изд. 1827. Было одобрено на заседании ВОЛРС 19 апреля 1820 г. (УР. 377). Датируется так же, как и следующее ст-ние, мартом — первой половиной апреля 1820 г. *Отечество Одиновых детей* — см. примеч. 19. *Воспламененный дуб угас.* По ритуальным обычаям скандинавов во время празднеств зажигались дубы; ср. у К. Н. Батюшкова: «Уж скальды пиршество готовят на холмах. Зри: дубы в пламени...» («На развалинах замка в Швеции», 1814). *Дольный* — здесь: земной.

23. Сор. 1820, ч. 10, № 5. Под загл. «Мадригал финским красавицам» было одобрено на заседании ВОЛРС 19 апреля 1820 г. (УР. С. 377). *Сын Фрегеи, может быть, Сильнее будет сына Лады!* Фрегея (Фрейя) — в сканд. миф. богиня любви и красоты; в слав. миф. ей соответствует Лада. Их имена употреблены Баратынским как синонимы Афродиты или Венеры, таким образом «сын Фрегеи» и «сын Лады» — синонимы Эрота или Амура.

24. СО. 1820, № 49, под загл. «К Коншину», с вар. ст. 16, 21—23, 25, 27—29 и 31, с пометой: Фридрихсгам. - - Изд. 1827, под загл. «К — ну». - - Изд. 1835, без загл. Обращено к Николаю Михайловичу Коншину (1793—1859) — поэту, ротному командиру и товарищу Баратынского, о котором Коншин оставил небольшие воспоминания (см.: Бейсов П. С. Воспоминания Н. Коншина о Баратынском // «Рус. литература». 1959, № 3. С. 126—132). По-видимому, ст-ние Баратынского является откликом на ст-ние Коншина «Боратынскому» («Куда девался мой поэт?..», 1820).

***25.** ПЗ-25, под загл. «Л⟨утковск⟩ой», с вар. ст. 1—4, подпись: Б. - - Изд. 1827. - - Изд. 1835, без загл. Автограф ранней ред.— ЦГАЛИ, в альбоме С. Д. Пономаревой, к которой первоначально было обращено ст-ние (см. о ней примеч. 65). Анна Васильевна Лутковская, в замужестве Морозова (ум. 1879),— племянница Г. А. Лутковского (см. о нем примеч. 67). *Геликон* — гора в Греции, на которой, согласно греч. миф., обитали Аполлон и музы.

***26.** СО. 1821, № 3, под загл. «Уныние», с вар. ст. 3—4 и 14. - - Изд. 1827, с тем же загл., с вар. ст. 3—4, 7 и 14 по отношению к тексту СО. - - Изд. 1835, без загл. - - Изд. 1869, где опубликовано по копии А. Л. Баратынской, в которой учтена позднейшая авторская правка.

***27.** СО. 1821, № 6, с подзаг. «Сельская элегия», с вар. ст. 6—7, 20, 22, 24, 28, 38, 49 и 59—60. - - Изд. 1827, под загл. «Родина». - - Изд. 1835. *Поля моих отцов* — имение Мара Тамбовской губ., родина поэта. *Оратай* — пахарь. *А ты, мой старый друг.* Баратынский вспоминает своего домашнего учителя и воспитателя итальянца Джачинто (т. е. Гиацинта) Боргезе, которого в первой публикации он называет по-русски Яковом (см. посвященное его памяти ст-ние «Дядьке-итальянцу», № 197). *Богиня пажитей* — Деметра (греч. миф.), богиня земледелия и плодородия; в римск. миф. ей соответствует Церера.

28. Б. 1821, № 15, под загл. «Эпиграмма», с вар. ст. 1—2, подпись: Б. - - Изд. 1827, с другим вар. ст. 2. - - Изд. 1835. Направлено против Д. И. Хвостова (см. о нем примеч. 14), который мучил знакомых чтением своих стихов.

29. Сор. 1821, ч. 16, № 1, под загл. «К Делию. Ода (с латинского)», с вар. ст. 1, 10 и 22. - - Изд. 1827, под загл. «Дельвигу». - - Изд. 1835, без загл. Автограф ст. 9—12, с вар. ст. 9 — ПД (в альбоме П. Л. Яковлева). *Прометей* (греч. миф.) упоминается здесь как создатель и покровитель человеческого рода. *Тантал* (греч. миф.) — любимец богов, оскорбивший их и выдавший людям их тайны, за что был навечно осужден на голод и жажду в подземном царстве.

30. Сор. 1821, ч. 16, № 2, вместе со ст-нием «Разуверение» (№ 31), под общим загл. «Элегии», вм. подписи: **.

***31.** Сор. 1821, ч. 16, № 2, с вар. ст. 10—11, вместе с предыдущим, под общим загл. «Элегии», вм. подписи: **. - - НЛ. 1822, кн. 1, № 3, с подзаг. «Элегия». - - Изд. 1827, с другим вар. ст. 11. - - Изд. 1835. Автограф — ЦГАЛИ. Положено на музыку М. И. Глинкой.

32. СО. 1821, № 8.

***33.** СО. 1821. № 10, под загл. «Лиде», другая ред. - - Изд. 1827, с вар. ст. 13. - - Изд. 1835. По сообщению С. А. Рачинского, обращено к одной из знакомых Баратынского по Финляндии — Елизавете Куприяновой (Материалы. С. VI). *Дриады* (греч. миф.) — нимфы, покровительницы деревьев. *Фавны* (римск. миф.) — боги лесов и полей, покровители пастухов и стад; постоянные спутники Вакха.

34. СО. 1821, № 10, под загл. «Русская песня», с вар. ст. 3—5, 7, 9, 11, 22 и 26. - - Изд. 1827, с вар. тех же ст., кроме 5 и 22. - - Изд. 1835.

***35.** СО. 1821, № 24, под загл. «Булгарину», с вар. - - Изд. 1827, под загл. «К ...», с другими вар. - - Изд. 1835. Адресат ст-ния — Фаддей Венедиктович Булгарин (1777—1859), писатель и журналист, имевший в начале 1820-х гг. дружеские связи с передовыми писателями и будущими декабристами. Исключение имени Булгарина из текста ст-ния в Изд. 1827 несомненно обусловлено фактом перехода его в лагерь реакционеров после восстания декабристов и откровенной беспринципностью его новой литературной позиции, в то время как Баратынский поддерживал писателей пушкинского круга в борьбе против официозных литераторов и журналистов. В рецензии на Изд. 1827 Булгарин писал: «Из посланий лучшие к Н. И. Гнедичу, к Дельвигу и *ко мне*. Послание ко мне было напечатано в «Сыне отечества» и перепечатано в «Образцовых сочинениях» с моим именем: «К Булгарину»; имя мое было даже в стихе. По переселении поэта в Москву он стал писать ко мне послания другого рода, а в прежнем имя мое заменено точками в заглавии, а в стихе я пожалован в *менторы*. Пользуясь этим почетным званием, я советую поэту более следовать внушению своего гения, нежели внушениям журнальных сыщиков. Это будет лучше и для него и для публики». («Северная пчела». 1827, 8 декабря). «Журнальный сыщик» — псевдоним П. А. Вяземского-критика в МТ 1825—1826 гг. Булгарин, очевидно, намекал на то, что Баратынский переменил к нему отношение под влиянием Вяземского. *Киприда* (греч. миф.) — Афродита, получившая это прозвище от названия острова Кипр, где особенно процветал ее культ.

***36.** СО. 1821, № 29, под загл. «К — ну», с вар. ст. 4, 10—11, 14—15, 17 и 22, подпись: Б — ий. - - Изд. 1827, под загл. «Добрый совет (К⟨онши⟩ну)». - - Изд. 1835, без загл. Об адресате см. примеч. 24. Ответное послание Коншина — «Е. А. Баратынскому» («Поэт, твой дружественный глас...»). *Молдаванка* — молдавская женская куртка. *Анахорет* — отшельник.

***37.** Сор. 1821, ч. 14, № 1, под загл. «Бдение», с вар. ст. 1—3, 13, 19, 23 и 27, подпись: Е. Б. - - «Рецензент». 1821, № 23, под загл. «Тоска», с вар. ст. 1 и 22, другим вар. ст. 3 и с новой строфой между ст. 16 и 17. - - РИ. 1822, 21 января, под загл. «Тоска», с теми же и другими вар., подпись: Б — ий. - - Изд. 1827, снова под загл. «Бдение», без указанной строфы, с вар. ст. 2 и 8. - - Изд. 1835. Одобрено на заседании ВОЛРС 7 марта 1821 г. (УР. С. 394). *Петел* — петух.

38. Сор. 1821, ч. 14, № 1, с вар. ст. 2—3, 6—7 и 9—10, подпись: Е. Б. - - Изд. 1827. Автограф — ПД, в альбоме А. В. Лутковской, которой было переадресовано ст-ние, посвященное вначале С. Д. Пономаревой (см. о ней примеч. 65), с другими вар. ст. 2—3, 7 и 10. Было одобрено на заседании ВОЛРС 7 марта 1821 г. (УР. С. 394). *Адрес-календарь* — ежегодно издававшаяся книга, в которой, помимо различных сведений, печатался список учреждений, а также перечень имен государственных чиновников с указанием их чинов и должностей. Имелись в адрес-календаре и чистые страницы, предназначенные для личных записей его владельцев, почему он назывался также месяцесловом.

39. НЛ. 1823, кн. 6, № 40, под загл. «Хлое», с вар. ст. 3, 7 и 10. - - «Урания», под загл. «Климене», с соответствующим изменением ст. 3. - - Изд. 1827, под загл. «К ... о». - - Изд. 1835, без загл. Было одобрено на заседании ВОЛРС 7 марта 1821 г. (УР. С. 394). В Изд. 1869 и 1884 под загл. «С. Д. П⟨ономаревой⟩» (см. о ней примеч. 65).

***40.** Сор. 1821, ч. 15, № 1, под загл. «Водопад», другая ред. - - Изд. 1827. - - Изд. 1835, без загл. Автограф ранней ред.— ЦГАЛИ. Было одобрено на заседании ВОЛРС 16 мая 1821 г. (УР. С. 398). Ст-ние написано до отъезда Баратынского с полком в мае 1821 г. в Петербург, откуда он вернулся в Финляндию только осенью. Нужно также иметь в виду, что, будучи в отпуске, поэт находился в Петербурге с 11 декабря 1820 г. по 1 марта 1821 г. По свидетельству Н. М. Коншина, в ст-нии отразились впечатления от посещения Баратынским водопада Иматра на реке Вуоксе (см.: Коншин Н. М. Воспоминания о Баратынском // «Краеведческие записки Ульяновского областного краеведческого музея им. И. А. Гончарова». Ульяновск, 1958. Вып. 2. С. 393). *Аквилон* (римск. миф.) — бог северного ветра; в поэзии — холодный, сильный ветер.

***41.** Сор. 1821, ч. 15, № 2, вместе со ст-нием «Пора покинуть, милый друг...» (№ 42), под общим загл. «Элегии» и общей подписью: Е. Б., другая ред. - - Изд. 1827, под загл. «Отъезд». - - Изд. 1835, без загл. Было одобрено на заседании ВОЛРС 16 мая 1821 г. (УР. С. 398). Написано по случаю отъезда Баратынского в Петербург в первой половине мая 1821 г.

42. Сор. 1821, ч. 15, № 2, под загл. «Н. М. К.», вместе с предыдущим ст-нием, с вар. ст. 5—6, 11, 16 и 32. - - Изд. 1827, под загл. «К — ну». - - Изд. 1835. Датируется предположительно маем 1821 г. Адресовано Н. М. Коншину (см. о нем примеч. 24). Ст-ние было отмечено вниманием Пушкина, который в своем послании «Алексееву» (1821) цитирует его:

Как мой задумчивый проказник,
Как Баратынский, я твержу:
«Нельзя ль найти подруги нежной?
Нельзя ль найти любви надежной?»
И ничего не нахожу.

Цирцея (греч. миф.) — коварная волшебница в «Одиссее» Гомера, очаровавшая Одиссея и продержавшая его у себя на острове целый год; здесь: обольстительная обманщица.

***43.** Сор. 1821, ч. 15, № 2, с вар. ст. 1—2, 5—8, 18, 20—21 и 25—26. - - Изд. 1827. Было одобрено на заседании ВОЛРС 8 августа 1821 г. (УР. С. 401). Написано предположительно в июне — июле 1821 г.

44. ПЗ-24, под загл. «Рим», с вар. ст. 4, 9 и 13. - - Изд. 1827, с тем же загл. - - Изд. 1835, без загл. Под загл. «К Риму» было одобрено на заседании ВОЛРС 22 августа 1821 г. (УР. С. 401). Датируется предположительно июлем — первой половиной августа 1821 г. В ст-нии философски осмыслена ставшая популярной в поэзии тема величия и падения Древнего Рима. *Семь холмов*, на которых располагался древний Рим: Капитолий, Палатин, Эсквилин, Авентин, Виминал, Целий и Квиринал.

***45.** РИ. 1822, 31 января под загл. «К ***», другая ред., подпись: Б — ий. - - Изд. 1827, под загл. «К — ву (ответ)». - - Изд. 1835, без загл. Обращено к А. А. Крылову (см. о нем примеч. 17) в ответ на его ст-ние «Вакхические поэты» (1821), направленное против Дельвига и Баратынского (подробнее см.: Вацуро В. Э. Из истории литературных полемик 1820-х годов // Вопросы литературы и фольклора. Воронеж, 1972. С. 161—174). *Анакреон* (ок. 570—478 до н. э.) — древнегреческий поэт, воспевавший земные радости. *Амфора* — древнегреческий глиняный сосуд с художественной росписью, предназначавшийся, главным образом, для хранения вина. *Фофанов* — от слова «фофан», т. е. простофиля, глупец. Эварист Дезире де Форж *Парни* (1753—1814) — французский поэт, автор любовных элегий. *Хлоя, Дафна* — условные поэтические имена возлюбленных. Альбий *Тибулл* (ок. 50—19 до н. э.) — римский поэт, воспевавший в жанре элегий простую мирную жизнь. *Омир* — Гомер.

46. Изд. 1827, под загл. «Товарищам». - - Изд. 1835, без загл.

***47.** ПЗ-23, под загл. «К Дельвигу», другая ред. - - Изд. 1827, под загл. «Дельвигу». Существует предположение, что именно это ст-ние под загл. «К другу» рассматривалось на заседании ВОЛРС 16 января 1822 г. (см. Изд. 1957. С. 341; УР. С. 410).

***48.** ПЗ-25, под загл. «Елисейские поля», с вар. ст. 12, 15—16, 18, 23—24, 26—27, 47, 49, подпись: Б. - - Изд. 1827, под загл. «Элизийские поля», с вар. ст. 40. - - Изд. 1835. В апреле 1825 г. Баратынский писал И. И. Козлову: «„Элисейские поля“ писаны назад тому года четыре: это французская шалость, годная только для альманаха» (Изд. 1951. С. 481). *Элизийские поля* (Элизий) (греч. миф.) — загробная страна, где блаженствуют души праведников. *Аид* (греч. миф.) — подземное царство мертвых. *В закоцитной стороне* — в царстве мертвых, за подземной рекой Коцит (греч. миф.). Гай Валерий *Катулл* (ок. 85 — после 54 до н. э.) — римский поэт-лирик. *От темных Орковых полей* — из подземного царства мертвых; Орк (римск. миф.) — божество смерти, доставлявшее умерших в свои владения.

49. Б. 1822, № 11, под загл. «Догадка», с вар. ст. 11—14, вместе с двумя последующими ст-ниями и общей подписью: Б. - - Изд. 1827, с тем же загл. - - Изд. 1835, без загл. Автограф — ПД.

***50.** Б. 1822, № 11, под загл. «Поцелуй (Дориде)», с вар. ст. 5—7, подпись: Б. - - Изд. 1827, с тем же загл., без подзаг. - - Изд. 1835, без загл.

51. Б. 1822, № 11, под загл. «Возвращение», с ошибкой в ст. 6 («случилось» вм. «случится»), подпись: Б. - - Изд. 1827, с подзаг. в оглавлении «Подражание Мильвуа», с той же ошибкой. - - Изд. 1835, с той же ошибкой, исправляемой по копии А. Л. Баратынской (ПД). Перевод элегии французского поэта Шарля Ибера Мильвуа (1782—1816) «Le retour» («Возвращение»). У Мильвуа в оригинале — Амур, которого Баратынский в переводе заменил *Лелем* (слав. миф.) — богом любви, покровителем певцов и пастухов.

***52.** НЛ. 1822, кн. 1, № 8, под загл. «Дориде», другая ред. - - Изд. 1827, под загл. «Делии», с вар. ст. 11—12, 25. - - Изд. 1835. В копии А. Л. Баратынской (ПД) ст-ние имеет загл. «С. Д. П.», что дает возможность предполагать о посвящении его С. Д. Пономаревой (см. о ней примеч. 65). *Дитя крылатое* — Амур.

53. ПЗ-23, под загл. «Весна», с вар. ст. 14, 18, 22, 26, 28. - - Изд. 1827. - - Изд. 1835, без загл. Было одобрено на заседании ВОЛРС 17 апреля 1822 г. (УР. С. 415).

54. «Невский альманах на 1825 год». Спб., 1825, подпись: Е. Б. Адресовано Софье Абрамовне Боратынской (1801—1844), постоянно жившей с матерью в Маре и приезжавшей в июле 1822 г. в Петербург для свидания с братом.

55. Изд. 1827. Эпиграмма написана, по-видимому, в ответ на пародию Бориса Михайловича Федорова (1798—1875) «Союз поэтов» (Б. 1822, № 39. С. 512 и почти одновременно — «Вестник Европы». 1822, № 19. С. 209), в которой высмеивались часто появлявшиеся в печати послания поэтов друг к другу.

56. ПЗ-25, под загл. «К жестокой», с вар. ст. 17, подпись: Б. - - Изд. 1827. - - Изд. 1835, без загл. То обстоятельство, что в Изд. 1869 и 1884 ст-ние имеет загл. «С. Д. П.», т. е. было обращено, по-видимому, к С. Д. Пономаревой (см. о ней примеч. 65), которая умерла в мае 1824 г., позволяет датировать его 1822 или 1823 г.

***57.** НЛ. 1823, кн. 3, № 12, другая ред. - - Изд. 1827, с подзаг. в оглавлении «Подражание Мильвуа». Перевод элегии Мильвуа «Le chute des feuilles» («Листопад»), вызвавшей целый ряд переводов и подражаний в русской поэзии того времени (Г. Р. Державин, К. Н. Батюшков, М. В. Милонов и др.). *Эрев* (Эреб) (греч. миф.) — олицетворение вечного мрака, часть подземного царства мертвых. *На берегах Стигийских вод* — в царстве мертвых, где протекает река Стикс (греч. миф.).

58. НЛ. 1823, кн. 4, № 18, под загл. «К ***», с вар. ст. 3—8, 10. - - Изд. 1827, под загл. «Эпилог», как заключительное ст-ние раздела «Элегии». - - Изд. 1835, без загл. Автограф ранней ред.— ЦГАЛИ. Было переведено Баратынским на французский язык. *Пени* — жалобы.

59. НЛ. 1823, кн. 4, № 19, под загл. «К Лете». - - Изд. 1827, под загл. «Лета», с подзаг. в оглавлении «Подражание Мильвуа». - - Изд. 1835, без подзаг. Перевод ст-ния Мильвуа «Le fleuve d'oubli» («Река забвения»). *Лета* (греч. миф.) — река в царстве мертвых, испив воды из которой души умерших забывали свою земную жизнь.

60. НЛ. 1823, кн. 4, № 22, под загл. «Стансы», с вар. ст. 6, 28. - - Изд. 1827, под загл. «Две доли», с другим вар. ст. 6 - - Изд. 1835. Автограф — ПД.

***61.** НЛ. 1823, кн. 5, № 38, другая ред. - - Изд. 1827.

***62.** НЛ. 1823, кн. 5, № 38, под загл. «Безнадежность», с вар. ст. 4—5, 7. - - Изд. 1827. - - Изд. 1835, без загл. Автограф — ПД.

***63.** НЛ. 1823, кн. 6, № 41, другая ред. - - Изд. 1827, с разночтением ст. 76. - - Печ. по Изд. 1835, с учетом поправок, внесенных Баратынским в экземпляр книги, подаренной им В. А. Жуковскому (ПД). Обращено к Николаю Ивановичу *Гнедичу* (1784—1833) — поэту, переводчику, члену ВОЛРС и одному из наиболее авторитетных наставников молодых поэтов. К судьбе Баратынского Гнедич относился с большим участием. Называя Гнедича именем древнегреческого философа *Аристиппа* (435—360 до н. э.), Баратынский имел в виду богатую эрудицию адресата в области античной культуры и его многолетнюю работу над переводом «Одиссеи» Гомера. *Русские Афины* — Петербург. *Фрина* (IV в. до н. э.) — знаменитая в свое время греческая куртизанка. *Кастальский ручей* — источник на Парнасе, посвященный Аполлону и музам; иносказательно — источник поэтического вдохновения. *Апелла, Фидия желал бы навещать*, т. е. хотел бы быть приобщенным к высокому искусству мастеров прошлого. Апелл (Апеллес) (356—308 до н. э.) — древнегреческий живописец, чьи произведения не сохранились; Фидий (500—430 до н. э.) — древнегреческий скульптор, от произведений которого до нас дошли только фрагменты.

64. ПЗ-24, под загл. «Истина. Ода», с вар. ст. 3—4, 7, 18, 41. - - Изд. 1827, под загл. «Истина». - - Изд. 1835, без загл. Отсутствие автографа не позволяет принять вар. ст. 10, 15—16, 18, 35, 38, имеющиеся в копии А. Л. Баратынской (ПД), за окончательные и ввести их в основной текст, как это сделано в Изд. 1869 и 1884. Ст-ние перекликается с ранее написанной статьей Баратынского «О заблуждении

и истине» (1820). А. А. Бестужев, выделяя ст-ние из числа напечатанных в ПЗ-24, 28 января 1824 г. писал П. А. Вяземскому: «Однако ж ода Баратынского, на счастье, право, стоит взгляда» (ЛН. 1956. Т. 60, кн. 1. С. 212). В статье, написанной после смерти поэта, П. А. Плетнев назвал это ст-ние «в некотором смысле драмою, где действует сам поэт, его жизнь и наставница их — Истина» (Плетнев П. А. Е. А. Баратынский // Сов. 1844, № 9. С. 302).

65. ПЗ-24, под загл. «Аглае», другая ред., с ценз. искажениями здесь и в след. прижизненных изд. -- Изд. 1827, с вар. ст. 8, 13, 16, 32. -- Изд. 1835, без загл. -- Изд. АН (1). -- Печ. по автографу в альбоме С. Д. Пономаревой (ПД). Обращено к Софии Дмитриевне Пономаревой, урожд. Позняк (1794—1824),— хозяйке петербургского литературного салона, где бывали многие известные писатели и поэты пушкинской поры. Баратынский был знаком с Пономаревой с конца 1820 г., испытав неглубокое увлечение ею.

***66.** ПЗ-24, под загл. «К ...», с вар., подпись: Б. -- Изд. 1827, под загл. «Л — му». -- Изд. 1835. Георгий Алексеевич *Лутковский* (ум. 1831) — командир Нейшлотского пехотного полка, в котором служил Баратынский в Финляндии. Доброжелательно относился к поэту. «Я живу в доме полкового командира и имею особую комнату»,— писал Баратынский в марте 1825 г. Н. В. Путяте (Изд. 1951. С. 479). *Епендорфские трофеи* упомянуты в связи с одним из рассказов Лутковского, участника Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов русской армии; Эпендорф — местечко в Саксонии. *С веселым сыном Цитереи* — Эротом. Цитерея (греч. миф.) — Афродита, называемая так потому, что остров Цитера был центром ее культа.

***67.** ПЗ-24, под загл. «Признание», другая ред. -- Изд. 1835. Черновой автограф — ПД. Адресат неизвестен. К. Ф. Рылеев в письме к Баратынскому от 6 сентября 1823 г. сообщал, что цензурой «не пропущено слово „небесного огня“. Дельвиг поставил „прекрасного“» (Рылеев К. Ф. Соч. Л., 1987. С. 300; здесь и в других изданиях Рылеева письмо ошибочно отнесено к 1822 г.). Ст-ние было высоко оценено Пушкиным. 12 января 1824 г. он писал А. А. Бестужеву: «Баратынский — прелесть и чудо; „Признание“ — совершенство. После него не стану печатать своих элегий...» (Пушкин-13. С. 84).

***68.** Изд. 1827, под загл. «Гнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры», другая ред. -- Изд. 1835. Первоначальная ред. ст-ния была создана не позднее августа 1823 г. Именно о ней говорится в письме К. Ф. Рылеева к Баратынскому от 6 сентября 1823 г.: «Сатиры твоей не пропускает Бируков. На днях я пришлю ее к тебе с замечаниями, которые, впрочем, легко выправить» (Рылеев К. Ф. Соч. Л., 1987. С. 300. Как было указано в предыдущем примеч., письмо Рылеева в этом и других его изданиях ошибочно датировано 1822 г.). Ранняя ред. была впервые опубликована В. Я. Брюсовым по списку, до нас не дошедшему («Весы». 1908, № 5). Она явилась откликом на литературную борьбу, которая разгорелась в ВОЛРС в 1821—1822 гг. Гнедич в программной речи, произнесенной им на заседании Общества 13 июня 1821 г., призвал его членов к гражданственному служению литературе, к тому, чтобы «владеть с честию пером» и «сражаться... с невежеством наглым, с пороком могущим» (Сор. 1821, ч. 15, № 2. С. 138). Баратынский, обличая поэ-

тов и журналистов, принадлежавших к правому крылу Общества, дал сатирические характеристики В. И. Панаева, А. Е. Измайлова, Н. А. Цертелева, Б. М. Федорова, О. М. Сомова и др. 16 ноября 1823 г. Пушкин писал Дельвигу: «Сатира к Гнед.⟨ичу⟩ мне не нравится, даром, что стихи прекрасные; в них мало перца; „Сомов безмундирный“ непростительно. Просвещенному ли человеку, русскому ли сатирику пристало смеяться над независимостию писателя?» (Пушкин-13. С. 75). Были, вероятно, и другие критические замечания в адрес Баратынского, который, переделывая ст-ние для Изд. 1827, значительно сократил его и устранил прямые полемические выпады. В результате оно превратилось в довольно отвлеченное рассуждение о бесполезности всякой сатиры. (Подробнее об этом см.: Вацуро В. Э. Списки послания Е. А. Баратынского «Гнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры» // «Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома». 1972. Л., 1974. С. 55—62.) *Редкий муж, вельможа-гражданин* — Николай Семенович Мордвинов (1754—1845), адмирал, член Гос. совета, председатель Вольного экономического общества; обладал большим влиянием на Александра I в первые годы его царствования, а позднее не скрывал своего оппозиционного отношения к реакционной политике царя. Его либерализм был широко известен в общественных кругах, благодаря чему Мордвинов намечался деятелями тайных обществ, в случае успеха их восстания, в члены временного правительства. Будучи в составе Следственной комиссии по делу декабристов, был единственным, кто проголосовал против вынесения им смертного приговора.

69. СЦ-25, под загл. «Сонет», с вар. ст. 14, подпись: Е. Б — ий. - - Изд. 1827, под загл. «Любовь». - - Изд. 1835, без загл. Автограф ранней ред.— ПД.

***70.** ПЗ-25, под загл. «Девушке, которой имя было Аврора», с вар. ст. 1—4, подпись: Б. - - Изд. 1827, с тем же загл. - - Изд. 1835. Автограф ранней ред.— ПД. Высказывалось предположение о том, что «это стихотворение было первоначально написано по-французски; впоследствии переведено автором на русский язык» (Изд. 1884. С. 94). Французский текст ст-ния см. под № 249. Адресовано Авроре Карловне *Шернваль* (1808—1902) — дочери выборгского губернатора, известной светской красавице.

71. ПЗ-25, под загл. «Д — у», с вар. ст. 30, 47, подпись: Б. - - Изд. 1827, под загл. «Д — гу», с разночтением ст. 51 и вар. ст. 55. - - Изд. 1835. Обращено к А. А. Дельвигу (см. о нем примеч. 9).

***72.** ПЗ-25, под загл. «Стансы», подпись: Б. - - Изд. 1827, без начальных 24 ст., имеющихся в ПЗ. - - Изд. 1835, без загл. Существует убедительное предположение, что отброшенные при переработке «Стансов» для Изд. 1827 начальные 24 ст. должны были стать частью самостоятельного ст-ния, которое не было завершено (см. его под № 214 и примеч. к нему). *Эпикур* (341—270 до н. э.) — древнегреческий философ-материалист, учение которого об истинных наслаждениях, приносящих знания и развивающих умственные способности, позднее было переосмыслено, в результате чего эпикурейцами стали называть людей, предающихся чувственным удовольствиям. *Эпиктет* (ок. 50 — ок. 138) — древнегреческий философ-стоик.

***73.** СЦ-25, под загл. «Череп», с вар. ст. 10, 20—24, 29—30 и без ст. 25—28, подпись: Е. Б. - - Изд. 1827, под загл. «Могила», с другими вар. - - Изд. 1835. Сохранилось три автографа: ЦГАЛИ, ПД и ГИМ. П. А. Плетнев, по всей вероятности имея в виду ст-ние Байрона «Надпись на кубке из черепа», писал, что «подобный предмет есть в стихотворениях знаменитого Байрона. ... Русский стихотворец в этом случае гораздо выше английского. Байрон, сильный, глубокий и мрачный, почти шутя говорил о черепе умершего человека. Наш поэт извлек из этого предмета поразительные истины» (Сор. 1825, ч. 29, № 1. С. 107). А. А. Бестужев в статье «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 года», давая краткую характеристику произведений, напечатанных в СЦ-25, отмечал, что «из стихотворений прелестны наиболее: Пушкина дума „Олег" и „Демон", „Русские песни" Дельвига и „Череп" Баратынского» (Бестужев А. А. Соч. М., 1981. Т. 2. С. 410). Позднее Бестужев, вступив в скрытую полемику с Баратынским, по-своему интерпретировал тему его элегии в одноименном ст-нии (1828). Подробнее об этом см.: Мордовченко Н. И. А. А. Бестужев-Марлинский // Полн. собр. ст-ний. Л., 1961. С. 31—32 (Б-ка поэта, БС). О Баратынском как авторе «Черепа» вспомнил Пушкин в «Послании Дельвигу» (1827), одновременно указав на родоначальника этой темы — Шекспира («Гамлет», акт 5, сцена 1):

Или как Гамлет-Баратынский
Над ним задумчиво мечтай...

***74.** СЦ-25, под загл. «Оправдание», другая ред., подпись: Е. Б—ий. -- Изд. 1827, с вар. ст. 3, 30—31. -- Изд. 1835, без загл. *Пафосские пилигримки* — жрицы любви, собиравшиеся на острове Пафос, где находился храм Афродиты; здесь — женщины легкого поведения.

***75.** СЦ-27, с вар. - - Изд. 1827, с другими вар. - - Изд. 1835. Ранняя, не дошедшая до нас ред. ст-ния была создана в первой половине 1824 г. О ней в письме от 17 июня 1824 г. П. А. Вяземскому А. И. Тургенев сообщал: «Баратынский читал прекрасное послание к Богдановичу» (ОА. Т. 3. С. 55). 10 сентября того же года в письме к Пушкину Дельвиг заметил: «Послание к Богдановичу исполнено красотами, но ты угадал: оно в несчастном роде дидактическом. Холод и суеверие французское пробиваются кой-где. Что делать? Это пройдет! Баратынский недавно познакомился с романтиками, а правила французской школы всосал с материнским молоком» (Пушкин-13. С. 108). Следуя известной литературной традиции, Баратынский адресует свое послание давно покойному поэту Ипполиту Федоровичу *Богдановичу* (1743—1803), автору поэмы «*Душенька*» (1778). *В садах Элизия, у вод счастливой Леты* — см. примеч. 48 и 59. *Она любила муз, и ты ли позабыл* и т. д. Н. М. Карамзин в статье «О Богдановиче и его сочинениях» (1803) писал, что Екатерина II «читала „Душеньку" с удовольствием и сказала о том сочинителю: что могло быть для него лестнее? Знатные и придворные, всегда ревностные подражатели государей, старались изъявить ему знаки своего уважения и твердили наизусть места, замеченные монархинею» (Карамзин Н. М. Избр. соч. М.; Л., 1984. Т. 2. С. 150). *О, добрый наш народ имеет для того* и т. д. Ср. это место со словами Баратынского из его письма к И. И. Козлову от

7 января 1825 г.: «Наши журналисты стали настоящими литературными монополистами; они создают общественное мнение, они ставят себя нашими судьями при помощи своих ростовщических средств, и ничем нельзя помочь! Они все одной партии и составили будто бы союз противу всего прекрасного и честного. Какой-нибудь Греч, Булгарин, Каченовский составляют триумвират, который управляет Парнасом» (Изд. 1951. С. 474). *Избрать в советники кота и петуха.* К. Н. Батюшков в статье «Нечто о поэте и поэзии» (1815) писал: «Богданович жил в совершенном уединении. У него были два товарища, достойные добродушного Лафонтена: кот и петух. Об них он говорил, как о друзьях своих, рассказывал чудеса, беспокоился об их здоровье и долго оплакивал их кончину» (Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977. С. 25). *Товарищ твой Назон Посланье получил.* Речь идет о ст-нии Пушкина «К Овидию» (1821), впервые опубликованном в ПЗ-23. *Орфей* (греч. миф.) — легендарный фракийский певец, искусство которого укрощало диких зверей.

***76.** НЛ. 1824, кн. 9, июль, под загл. «К...», другая ред., подпись: Б—ский. - - Изд. 1827, с вар. ст. 32—34, 38—40. - - Изд. 1835, без загл., с вар. ст. 33—34, 38—40. - - Изд. 1869, под загл. «Г. З.», текст, отразивший позднюю правку поэта. Традиционная расшифровка загл. — «Графине Закревской» — сомнительна: с А. Ф. Закревской (см. о ней примеч. 83) Баратынский познакомился лишь осенью 1824 г. *Меж мудрецами был чудак.* Имеется в виду французский философ Рене Декарт (1596—1650), которому принадлежит ставшее знаменитым изречение: «Я мыслю, следовательно, я существую» («Cogito, ergo sum» — лат.). *Япетов сын* — Прометей (греч. миф.) — сын титана Япета, похитивший с Олимпа огонь и научивший им пользоваться людей. *И сердце вран ему клевал.* Согласно основной версии мифа, по воле Зевса, орел выклевывал у прикованного Прометея печень (см. также примеч. 29).

77. СЦ-25, под загл. «Звездочка», с вар. ст. 13—15, 17, 21—22, дата: 24 сентября 1824, подпись: Е. Б—ий. - - Изд. 1827, под загл. «Звезда», с другим вар. ст. 17. - - Изд. 1835. Автограф ранней ред.— ПД. Дата, выставленная в СЦ, не является точной датой написания ст-ния, так как его цитирует А. И. Тургенев в письме к П. А. Вяземскому от 5 августа 1824 г. (ОА. Т. 3. С. 69).

78. ЦС, подпись: Е. Б—ий, помета: Роченсальм, 1824. Адресовано Авдотье Яковлевне *Васильевой*, бывшей в то время невестой Н. М. Коншина (см. о нем примеч. 24), который ответил Баратынскому ст-нием «Спасибо за восемь стихов...» *Гимен* (греч. миф.) — бог брака.

79. М, под загл. «Буря», с вар. ст. 3, 6, 19—21, 32, 38, вм. подписи: ****. - - Изд. 1827, с вар. ст. 21. - - Печ. по Изд. 1835 с восстановлением ценз. пропуска ст. 11—20, замененного точками, по Изд. 1827. Автограф — ПД. Уже при первой публикации ст-ния возникли трудности, связанные с прохождением его через цензуру. В письме от 29 марта 1825 г. Баратынский сообщал Н. В. Путяте: «...буре шуметь не позволено» (Изд. 1951. С. 480). Однако В. К. Кюхельбекеру путем некоторых уступок цензуре удалось напечатать ст-ние в М. О вторичном вмешательстве цензуры (в Изд. 1835) см.: ЛМ. С. 15. Ст-ние было написано, по всей вероятности, в ноябре 1824 г., так как,

по свидетельству Н. В. Путяты (Изд. 1884. С. 518), в нем отразились впечатления поэта от морских бурь, вызвавших знаменитое петербургское наводнение 7 ноября 1824 г.

80. М, вм. подписи: ****. Вольный перевод ст-ния Парни «Leda», в основу которого положен древнегреческий миф о любовной страсти Зевса, обернувшегося лебедем, к *Леде*, дочери царя Фестия. Баратынский, переводя ст-ние, значительно сократил оригинал, исключив 14 начальных и 25 заключительных ст., и усилил эротическую окраску ст-ния. Появление «Леды» в печати удивило поэта. 29 марта 1825 г. он писал Н. В. Путяте: «Московская цензура либо невинна, как пятилетняя девочка, либо весела, как пьяная сводня; можно ли позволить напечатать такую непристойную поэму, как «Леда»? Неужели Одоевский вытиснул под ней мое имя? Сохрани боже! мне нельзя будет показать глаз читающим дамам. Пиши после этого! Леда моя публично целуется со своим Лебедем...» (Изд. 1951. С. 480). В русской поэзии этот сюжет был использован ранее Пушкиным в кантате «Леда» (1814). *Евротейский древний ток.* Еврот — река в южной части Греции, в Спарте.

81. Слав. 1827, № 3, под загл. «В альбом Софии», со сноской к слову «король» (ст. 7): «В опере „Сандрильона" король влюбляется и женится на Сандрильоне» (имеется в виду опера немецкого композитора Даниила Штейбельта (1769—1823), которая ставилась в русских театрах с 1814 г.). - - Изд. 1835. Автограф — ПД, в альбоме А. В. Лутковской. Датируется по положению автографа в альбоме. Вероятно, первоначально ст-ние было обращено к С. Д. Пономаревой (см. о ней примеч. 65). *Сандрильона* — Золушка, персонаж французских сказок.

82. Изд. 1827. Направлена, по-видимому, против Александра Ардалионовича Шишкова (1799—1832), чей сборник ст-ний «Восточная лютня» (Спб., 1824) был отмечен, по выражению Н. А. Полевого, «неслыханным подражанием Пушкину» (МТ. 1825, № 1. С. 86). Датируется годом выхода книги Шишкова.

83. Изд. 1827, под загл. «К...», с ценз. заменой ст. 8—9: «Как покаянье, плачешь ты, И, как безумье, ты хохочешь!» - - Изд. 1835, без загл., с ценз. пропуском ст. 8. - - Изд. 1869. - - Печ. по Изд. 1835 с восстановлением ст. 8 по Изд. 1869. По-видимому, ст-ние вначале предназначалось для альм. «Литературный музеум на 1827 год» (М., 1827), издателем которого был В. В. Измайлов. Осенью 1826 г. Баратынский писал ему: «Что же касается до имени Магдалина, которое пугает цензуру, я решил заменить его словом богомолка, хотя эта перемена портит всю пьесу» (Изд. 1936 (2). С. 236). Но и с этой заменой ст-ние в альм. не появилось. При подготовке Изд. 1835 ст. 8 снова вызвал недовольство Петербургского ценз. комитета, который на заседании 14 марта 1833 г., «признав сравнение развратной женщины со святою Магдалиною вовсе неприличным, запретил сии стихи к напечатанию» (ЛМ. С. 17). Датируется концом 1824 — началом 1825 г. Обращено к Аграфене Федоровне Закревской, урожд. Толстой (1799—1879), жене финляндского генерал-губернатора А. А. Закревского. Увлечение Закревской, известной своей красотой и независимым отношением к условностям света, испытали многие поэты, включая Баратынского. В их числе были П. А. Вяземский и Пушкин, посвя-

тивший ей ст-ние «Портрет» (1828). Мария *Магдалина* — по евангельским легендам, женщина, исцеленная Иисусом Христом от одержимости семью бесами и ставшая его последовательницей.

84. СЦ-27, под загл. «А. А. Воейковой». - - Изд. 1835. Черновой автограф — ПД, в альбоме «Сочинения Евгения Баратынского 1824 и 1825 года». Автограф ранней ред.— ЦГАЛИ. Датируется по положению в альбоме. Обращено к Александре Андреевне Воейковой, урожд. Протасовой (1795—1829),— жене поэта и журналиста А. Ф. Воейкова, племяннице В. А. Жуковского, посвятившего ей балладу «Светлана» (1808—1812). В письме к И. И. Козлову от 7 января 1825 г. Баратынский, имея в виду Воейкову, писал: «Скажите нашей небесной Пери, что я настолько тронут ее воспоминанием обо мне, насколько может быть тронут земной посланец, что я целую полу ее платья, переливающегося тысячами оттенков, и умею ценить ее сердце, одаренное тысячью добродетелей» (Изд. 1951. С. 473).

85. СЦ-27, под загл. «Песня». - - Изд. 1835. Автограф — ПД, в альбоме «Сочинения Евгения Баратынского 1824 и 1825 года». Датируется по положению в альбоме.

86. Изд. 1827, под загл. «Эпиграмма». - - Изд. 1835. Автограф — ПД, в альбоме «Сочинения Евгения Баратынского 1824 и 1825 года». Датируется по положению в альбоме. По всей вероятности, направлено против Владимира Ивановича Панаева (1792—1859), автора сентиментальных идиллий.

87. МТ. 1825, № 4, под загл. «Веселье и горе», с вар. ст. 4—5, подпись: Бар—ский. - - Изд. 1827, с тем же загл. - - Изд. 1835, без загл. Автограф ранней ред.— ПД. Тематически связано со ст-нием Мильвуа «Plaisir et peine» («Удовольствие и печаль»).

88. МТ. 1825, № 9, вм. подписи: ***. На принадлежность ст-ния Баратынскому указал П. П. Филиппович в заметке «Два неизвестные стихотворения Е. А. Баратынского» («Чтения в историческом обществе Нестора-Летописца». Киев, 1914. Вып. 1. С. 3—11). Обращено к адъютанту А. А. Закревского Александру Алексеевичу *Муханову* (1800—1834), влюбленному в А. К. Шернваль (см. о ней примеч. 70).

89. «Невский альманах на 1826 год». Спб., 1825, под загл. «Дорога жизни», с вар. ст. 3—8, 10. - - Изд. 1835. Автограф — ПД. Было переведено Баратынским на французский язык.

90.** «Урания», под загл. «К. Посылая тетрадь стихов», с вар. ст. 3—8. - - Альм. «Зимцерла». М., 1829, под загл. «К... при посылке тетради стихов». - -Изд. 1869, под загл. «Г. З.». - -Печ. по Изд. 1835. Автограф ранней ред.— ПД. Загл. «Г. З.» без достаточных оснований связывалось с именем А. Ф. Закревской (см. о ней примеч. 83).

91. «Урания», под загл. «Ожидание», с вар. ст. 3, 8. - - Изд. 1827, с подзаг. в оглавлении «Подражание Парни». - - Изд. 1835, без загл. Перевод элегии Парни «Reflexion amoureuse» («Любовное размышление»).

92. СЦ-26, под загл. «Надпись». - - Изд. 1835. Датируется предположительно январем 1825 г., так как сохранилась копия ст-ния, сделанная Н. В. Путятой до его отъезда в Петербург в начале февраля 1825 г. В копии А. Л. Баратынской (ПД) озаглавлено «А. С. Г.», а в Изд. 1869 и 1884 — «Надпись на портрет Грибоедова». Однако каких-либо данных, которые говорили бы о личном знакомстве Баратынского с Грибоедовым, нет. В Изд. 1957 и 1982 без особой аргументации отнесено к А. Ф. Закревской. Наиболее достоверным остается предположение И. Н. Медведевой: «В классической литературе XVIII в. «надписи» составляли своеобразный жанр. «Надпись к портрету» почти никогда не имела в виду реального портрета, а являлась афористической характеристикой определенного лица, обыкновенно известного и с известными всем отличительными признаками. ...Жанр этот сохранился в литературе 1-й четверти XIX в. ...Распространенным видом были надписи к собственному портрету. Подходя с этой точки зрения к «Надписи» Баратынского, мы легче всего угадываем в ней лицо элегика, скорее всего — самого автора» (Изд. 1936 (2). С. 242).

93. Альм. «Сириус на 1826 год». Спб., 1826, под загл. «В альбом NN на другой день его свадьбы». - - Слав., 1827, № 15. Свадьба Дельвига, женившегося на Софье Михайловне Салтыковой (1806—1888), состоялась 30 октября 1825 г.

94. МТ. 1826, № 14, под загл. «Д. В. Давыдову», с вар. ст. 1—3, 5, 7—9, 11—12, 19 и без ст. 18. - - Изд. 1827, с вар. ст. 1—3, 9, 11—12, 19 и также без ст. 18. - - Изд. 1835, под загл. «Д. Давыдову», с теми же вар. и также без ст. 18. - - Изд. 1936 (1). - - Печ. по Изд. 1835 с восполнением ст. 18 по автографу ГБЛ. Датируется по письму Н. А. Муханова брату А. А. Муханову от 16 ноября 1825 г., где, в частности, говорится: «4-го дня вечером приехал ко мне Денис Вас⟨ильевич⟩ и Баратынский, которые просидели весь вечер; ты не можешь себе представить, как первый был хорош. На другой день Барат⟨ынский⟩ прислал мне к нему послание: когда оно будет исправлено от погрешностей, вкравшихся от поспешности, я тебе перешлю его» (Письма братьев Мухановых//«Щукинский сборник». М., 1912. Вып. 10. С. 347). Адресовано Денису Васильевичу *Давыдову* (1784—1839) — поэту, герою-партизану Отечественной войны 1812 г. Давыдов в 1823—1824 гг. принимал личное участие в хлопотах о производстве Баратынского в офицеры. Однако впервые Баратынский встретился и познакомился с Давыдовым лишь летом 1825 г. После женитьбы Баратынского в 1826 г. на А. Л. Энгельгардт, приходившейся Давыдову дальней родственницей, их знакомство перешло в дружбу. *В народе славной бородой!* Возглавляя партизанское движение в 1812 г., Давыдов, по старинному русскому обычаю, отпустил бороду.

95. СЦ-26.

***96.** СЦ-26, под загл. «Л. С. П—ну», с вар. ст. 4, 13—15, 17—18. - - Изд. 1827, под загл. «Л. П—ну», с тем же вар. ст. 4. - - Изд. 1835. Адресовано Льву Сергеевичу *Пушкину* (1805—1852), младшему брату поэта. Написано в период увлечения Баратынского и Л. С. Пушкина А. А. Воейковой (см. о ней примеч. 84). По предположению А. С. Полякова, «ревность Л. С. Пушкина принудила Баратынского написать

к нему послание „Поверь, мой милый, твой поэт...“» («Литературно-библиологический сборник». Пг., 1918. С. 61). О привязанности Баратынского к Л. С. Пушкину можно судить по письму поэта к А. С. Пушкину от первой половины декабря 1825 г. (см.: Пушкин-13. С. 253).

97. МТ. 1826, № 2, с вар. ст. 1, 9 и ценз. искажением ст. 5 («Я знаю свет: не всё держусь я беса...»). - - Печ. по автографу ПД. Направлено против Ф. В. Булгарина (см. о нем примеч. 35). *Был воином.* Участник наполеоновских войн (1805—1814), Булгарин начал службу в русской армии, а в 1810 г. перешел на сторону французов. *Судебную бумагу Вам начерню, перебелю.* Намек на то, что Булгарин вел судебный процесс своего дяди П. Булгарина.

98. Альм. «Северная лира на 1827 год». М., 1827, под загл. «Амуру». - - Изд. 1827, под загл. «К Амуру». - - Изд. 1835.

99. Альм. «Литературный музеум на 1827 год». М., 1827, под загл. «Эпиграмма», с вар. ст. 1—2. - - Изд. 1827. - - Изд. 1835, без загл. Наиболее вероятный адресат эпиграммы — Михаил Трофимович Каченовский (1775—1842), журналист, издатель «Вестника Европы», упорный противник новых течений в русской литературе.

100. СЦ-27, подпись: Е. Б—ий. Автограф ранней ред.— ПД.

***101.** МВ. 1830, № 1, под загл. «Подражателям», с вар. ст. 1—4, 8, 14, 20, 22—24. - - Изд. 1835. Автограф ранней ред. — ГПБ. Датируется по письму Баратынского к Пушкину от 5—20 января 1826 г., в котором, говоря об эпиграмме Пушкина «Соловей и кукушка» (1825), Баратынский цитирует (неточно) ст. 9 своего ст-ния: «...как ты отделал элегиков в своей эпиграмме! Тут и мне достается, да и поделом; я прежде тебя спохватился и в одной ненапечатанной пьесе говорю, что стало очень приторно: „Вытье жеманное поэтов наших лет “» (Пушкин-13. С. 254).

102. МТ. 1826, № 3, под загл. «Совет», с вар. ст. 2. - - Изд. 1827, под загл. «Эпиграмма». - - Изд. 1835, без загл. Автограф — ЦГАЛИ, в письме Баратынского к Н. В. Путяте от января 1826 г., в котором, в частности, говорится: «Вот тебе покуда эпиграмма на поэтов прекрасного пола...» (Изд. 1936 (2). С. 241).

103. СЦ-27 и одновременно альм. «Северная лира на 1827 год». М., 1827, под загл. «Наяда». - - Изд. 1827, с подзаг. в оглавлении «Подражание Шенье». - - Изд. 1835, без загл. и подзаг. Датируется по письму П. А. Вяземского к В. А. Жуковскому от 6 января 1827 г., в котором это ст-ние упоминается как литературная новинка («Архив братьев Тургеневых». Пг., 1921. Т. 1, вып. 6. С. 57). Сокращенный перевод «Fragment d'idilles», № 6 («Je sais, quand le midi leur fait désirer l'ombre...») А. Шенье (1762—1794).

104. Слав. 1827, № 20.

105. МТ. 1827, № 3, под загл. «К***». - - Изд. 1835, без загл. Автограф — ГПБ. В Изд. 1869 и 1884 озаглавлено «А. Н. М.», что дало повод исследователям связывать ст-ние с именем А. Н. Му-

равьева (см. о нем примеч. 219). В качестве возможных адресатов назывались также имена Пушкина и Мицкевича (подробнее об этом см.: Изд. 1936 (2). С. 241). Однако все эти предположения неубедительны. Скорее всего, ст-ние не имеет определенного адресата, как нет его, к примеру, в пушкинских ст-ниях «Пророк», «Поэт» («Пока не требует поэта...»), «Поэту» («Поэт! не дорожи любовию народной...») и др. *Камена* — см. примеч. 9. *Пегас* (греч. миф.) — крылатый конь, выбивший своим копытом на горе Геликон источник поэтического вдохновения — Иппокрену.

106. МВ. 1827, № 4, под загл. «Эпиграмма», с вар. ст. 2, подпись: 2. - -Изд. 1835.

107. МВ. 1827, № 5, под загл. «Эпиграмма», с вар. ст. 2, подпись: Б. - - Изд. 1827, под загл. «В альбом». - - Изд. 1835, без загл. Автограф — ПД. По свидетельству С. А. Рачинского, адресовано Е. Куприяновой (Материалы. С. VI). *Коринна* — героиня романа Жермены де Сталь «Коринна, или Италия» (1807); здесь: женщина с разносторонними талантами.

108. Изд. 1827, под загл. «Эпиграмма». - - Изд. 1835.

109. Изд. 1827, под загл. «В альбом», с вар. ст. 2, 6, 8.- -Изд. 1835. Адресат неизвестен.

110. СЦ-28, с вар. ст. 9, 33, 74, 77, 86, 93. - - Изд. 1835. Некоторые из современных поэту критиков считали «Последнюю смерть» отрывком. Так, Н. А. Полевой в своей рецензии назвал ст-ние «отрывком из поэмы» (МТ. 1828, № 1. С. 125), а рецензент МВ писал: «„Последняя смерть“ неясна; но надо знать, что это отрывок. Неясная в нем мысль может объясниться в целом» (МВ. 1828, № 2. С. 192). *Весь* — селение. *Водометы* — фонтаны. *Эмпирей* (греч. миф.) — небесная высь, обитель богов. *Хаос* (греч. миф.) — мрачное, туманное пространство, из которого был сотворен мир.

111. МТ. 1828, № 2, под загл. «Стансы», с вар. ст. 1, 17, 31, 38—40 и ценз. пропуском ст. 21—24. - - Изд. 1835, с ценз. искажением ст. 23 («Далече странствуют иные»). - - Изд. 1869, под загл. «Родина». - - Печ. по Изд. 1835, с восстановлением ст. 23 по Изд. 1884. В основе ст-ния лежат впечатления от посещения Баратынским родового имения Мара Кирсановского уезда Тамбовской губ., куда он приехал весной 1827 г. вместе с женой и новорожденной дочерью Александрой. *Судьбой наложенные цепи*, т. е. вынужденная служба в звании унтер-офицера в Финляндии. *Ко благу пылкое стремленье* и т. д.— намек на близость поэта к вольнолюбивым стремлениям декабристов. *Я братьев знал.* Речь идет о казненном К. Ф. Рылееве и сосланных в Сибирь В. К. Кюхельбекере, А. А. Бестужеве и др. *Далече бедствуют иные И в мире нет уже других.* Здесь в первую очередь имеются в виду казненные и сосланные дакабристы. Баратынский перефразирует слова Саади, использованные Пушкиным ранее в качестве эпиграфа к «Бахчисарайскому фонтану»: «Многие, так же, как и я, посещали сей фонтан; но иных уже нет, другие странствуют далече». П. А. Вяземский во вставке в статью Н. А. Полевого «Взгляд на русскую литературу 1825 и 1826 годов» писал: «Смотрю на круг друзей наших, прежде оживленный, веселый, и часто... с грустью повторяю

слова Сади (или Пушкина, который нам передал слова Сади): „одних уж нет, другие странствуют далеко"» (МТ. 1827, № 1. С. 9). В доносе Ф. В. Булгарина, написанном в III Отделение по поводу статьи Полевого, сообщалось: «Сожаление о погибших друзьях... было всем понятно и доставило большой ход журналу. В статье все жалуются на два последние года, т. е. 1825—1826 — время отлучки ⟨Н. И.⟩ Тургенева и ссылки бунтовщиков. Все так ясно изъяснено, что не требуется пояснений» (Лемке М. Николаевские жандармы и литература. Спб., 1909. С. 258).

***112.** МВ. 1829, № 1, под загл. «Смерть», другая ред. - - Изд. 1835, без загл., с вар. ст. 1—6, 22. - - Изд. 1869, где ст-ние напечатано по несохранившемуся источнику, отразившему, по всей вероятности, последнюю авторскую правку текста. Автограф ранней ред.— ГПБ, с примеч.: «Ежели цензура не пропустит первого четверостишия, я охотно переменю его». О ранней ред. ст-ния см. письмо П. А. Вяземского к В. Ф. Вяземской от 19 декабря 1828 г. (ЛН. 1952. Т. 58. С. 85). *Пря* — распря, спор.

113. СЦ-29, под загл. «Смерть. Подражание А. Шенье», с вар. ст. 6. - - Изд. 1835. Сокращенный перевод элегии А. Шенье «O nécessité dure! O pesant esclavage!..»

114. СЦ-29, под загл. «Деревня». - - Изд. 1835.

115. СЦ-29, без подписи.

116. СЦ-29, вместе с последующими четырьмя ст-ниями под общим загл. «Антологические стихотворения», с вар. ст. 5—7. - - Изд. 1835. *Эпитимья* — церковное покаяние.

117. СЦ-29. Автограф — ПД. Было переведено Баратынским на французский язык.

118. СЦ-29, с вар. ст. 4—5. - - Изд. 1835.

119. СЦ-29.

120. СЦ-29. Обращено к польскому поэту Адаму *Мицкевичу* (1798—1855) в связи с выходом в свет в феврале 1828 г. его поэмы «Конрад Валленрод», написанной под сильным влиянием Байрона. *Доратов ли, Шекспиров ли двойник.* Жан Дорат (1508—1588) — французский поэт, очень популярный в свое время. *Да не творит себе кумира он!* Одна из библейских заповедей гласит: «Не сотвори себе кумира...» (Исход, 20, 4).

121. СЦ-29, под загл. «Бесенок», с вар. ст. 3, 5—8, 16, 31. - - Изд. 1835. Датируется по письму Баратынского к Дельвигу от конца октября — начала ноября 1828 г., в котором Баратынский, обещая прислать «на будущей неделе новое стихотворение под названием „Бесенок"», добавлял: «...ежели незатейливо творение, то заглавие задорно» (ЛН. 1952. Т. 58. С. 83). Замысел ст-ния мог у Баратынского возникнуть еще в начале года. К этому предположению приводят его слова в письме к Пушкину от конца февраля: «Василий Львович ⟨Пушкин⟩ пишет романтическую поэму ... Это совершенно баллади-

ческое произведение. Василий Львович представляется мне парнасским Громобоем, отдавшим душу свою романтическому бесу» (Пушкин-14. С. 6). *Громобой* — персонаж первой части баллады В. А. Жуковского «Двенадцать спящих дев», продавший душу дьяволу.

122. Альм. «Сев. звезда на 1829 год». Спб., 1829, под загл. «Уверение», с вар. ст. 7, с датой: 1824. - - Изд. 1835. По заключению М. Л. Гофмана, ст-ние относится к А. Ф. Закревской (см. о ней примеч. 83), а дата в альм. — «преднамеренное скрывание истинного времени написания» его (Изд. АН (1). С. 256). Датируется предположительно 1828 г.

123. Изд. 1835. Автограф — на экземпляре печатного текста поэмы «Бал» (1828) из собрания К. В. Пигарева (Музей-усадьба Мураново им. Ф. И. Тютчева). Датируется временем выхода в свет книги. *Энгельгардт* Софья Львовна (1811—1884) — свояченица Баратынского и с 1837 г. жена его друга Н. В. Путяты.

124. МТ. 1829, № 7, под загл. «Vсторіческая Епіграмма», с вар. ст. 3, 6, вм. подписи: *. - - Изд. 1835. Автограф — ГБЛ. Направлена против М. Т. Каченовского (см. о нем примеч. 99), в журнале которого «Вестник Европы» в словах греческого происхождения вм. «и» печатались буквы «V» и «і». Избрав Каченовского в качестве мишени для своей эпиграммы, Баратынский одновременно высмеял нелепость орфографии журнала. *Зоил* (IV в. до н. э.) — древнегреческий философ и ритор, чье имя стало нарицательным для обозначения недоброжелательного, придирчивого критика. Иван Иванович *Дмитриев* (1760—1837) — поэт, баснописец.

125. Альм. «Радуга на 1830 год». М., 1829, под загл. «Чудный град», с вар. ст. 2. - -Изд. 1835.

126. «Галатея». 1829, № 2, под загл. «В альбом», с вар. ст. 1—2, 7—8. - - Изд. 1835, без загл., с вар. ст. 1—3. - - Изд. 1869, где ст-ние опубликовано по не дошедшему до нас автографу с позднейшей авторской правкой. Автограф ранней ред.— в альбоме К. К. Павловой (Национальная библиотека в Берлине, ГДР. См.: Фридкин В. Альбомы Каролины Павловой // «Наука и жизнь». 1987, № 12. С. 140—148). Обращено к Каролине Карловне Павловой, урожд. Яниш (1807—1893), поэтессе и переводчице, которая перевела на немецкий язык и несколько произведений Баратынского. В апреле или мае 1832 г. он писал И. В. Киреевскому: «Поблагодари за меня милую Каролину за перевод «Переселения душ». Никогда мне не было так досадно, что я не знаю по-немецки. Я уверен, что она перевела меня прекрасно, и мне бы веселее было читать себя в ее переводе, нежели в своем оригинале: так в несколько флатированном 〈лестном〉 портрете охотнее узнаешь себя, нежели в зеркале» (Изд. 1951. С. 517).

127. Изд. 1835, с ценз. искажением ст. 7 (исправляется по выписке из журнала заседаний С.-Петербургского ценз. комитета от 14 марта 1833 г. // ЛМ. С. 16). Датируется на основании дневника А. Н. Вульфа, который в записи от 11 ноября 1829 г. цитирует ст. 7—8 (с перестановкой слов в ст. 8) этого ст-ния («Пушкин и его современники». 1915, вып. 21/22. С. 88).

128. Альм. «Подснежник». Спб., 1829, под загл. «Княгине З. А. Волконской на отъезд ее в Италию», с вар. ст. 12, 22, 31. - - Изд. 1835. Датируется по времени отъезда Волконской. Зинаида Александровна *Волконская*, урожд. Белосельская-Белозерская (1789—1862),— поэтесса, композитор, певица, хозяйка литературного салона. Ее разносторонние дарования и красота вызывали восхищение многих современников. Поэтический образ Волконской нарисовал Пушкин в ст-нии «Княгине З. А. Волконской при посылке ей поэмы „Цыганы"» (1827):

Ты любишь игры Аполлона.
Царица муз и красоты,
Рукою нежной держишь ты
Волшебный скипетр вдохновений,
И над задумчивым челом,
Двойным увенчанным венком,
И вьется и пылает гений.

В конце марта 1829 г. Дельвиг писал Баратынскому: «„Подснежник" выйдет на днях. Я напечатал твои стихи к Зенеиде. Она согласна была...» (Дельвиг А. А. Соч. Л., 1986. С. 335). *Октавы Тассовы.* Имеется в виду поэма итальянского поэта Торквато Тассо (1544—1595) «Освобожденный Иерусалим» (1580), написанная октавами.

129. Д-31, вместе с эпиграммой Пушкина «Не то беда, Авдей Флюгарин...», под общим загл. «Эпиграммы», без подписи. Направлена против Ф. В. Булгарина (см. о нем примеч. 35 и 97), который в начале 1829 г. выпустил бездарный нравоописательный роман «Иван Выжигин». В письме к С. П. Шевыреву от 28 апреля 1829 г. М. П. Погодин, говоря о Булгарине, писал: «Баратынский написал презлую эпиграмму на него: „Б⟨улгарин⟩ уверяет нас, что красть грешно, лгать стыдно"» (РА. 1882, № 5. С. 80). Сам же Баратынский по поводу романа Булгарина в мае 1829 г. поделился своими соображениями с П. А. Вяземским: «Я, право, уже не знаю, чего надобно нашей публике? Кажется, «Выжигиных»! Знаете ли вы, что разошлось 2000 экз⟨емпляров⟩ этой глупости? Публика либо вовсе одуреет, либо решительно очнется и спросит с благородным негодованием: за кого меня принимают?» (Изд. 1951. С. 492). Об этом романе Булгарина Баратынский позднее писал в предисловии к Н (см. с. 329).

130. СЦ-30. Направлена против Николая Алексеевича *Полевого* (1796—1846) — писателя, критика, журналиста, издателя «Московского телеграфа», который в «Философической статье о русской истории» (МТ. 1829, № 12) и в первом томе своей «Истории русского народа» (1829) выступил с резкими нападками на «Историю Государства Российского» Н. М. Карамзина. *На свой аршин он славу нашу мерит.* Прозрачный намек на купеческое происхождение Полевого, осмелившегося посягнуть на литературную славу Карамзина, сама память о которой, по словам Пушкина (из посвящения «Бориса Годунова»), была «драгоценной для россиян». Эта эпиграмма положила начало литературной вражде Баратынского и Полевого.

***131.** СЦ-30, под загл. «Муза», с вар. ст. 10—12. - - Изд. 1835.

132. ЦС, под загл. «В альбом отъезжающей», с вар. ст. 9—12. - - Изд. 1835. Автограф — ЦГАЛИ. Рукописный текст ранней ред. (ст.

1—11) написан рукой Баратынского, далее — рукой А. Л. Баратынской) — ПД. Адресовано Екатерине Александровне *Свербеевой*, урожд. Щербатовой (1808—1892), жене литератора Д. Н. Свербеева, в доме которого в то время был литературный салон.

133. ЦС, под загл. «Эпиграмма». - - Изд. 1835. Написано в 1829 г. в связи с журнальной полемикой между издателем «Московского телеграфа» Н. А. Полевым (см. о нем примеч. 130) и издателем «Галатеи» С. Е. Раичем. Эта полемика носила характер непристойной перебранки, возникшей по весьма незначительному поводу. В письме от 14 апреля 1830 г. Д. В. Давыдов писал А. Н. Бахметьеву: «Вы также пишете о журнальной нашей брани. Я совершенно согласен с Вяземским, точно надо перчатки надевать для чтения сих листов. Баратынский сделал на эту брань прекрасную эпиграмму, вот она: „Что пользы вам от шумных ваших прений?..“ *и т. д.*» (Трофимов И. Т. Поиски и находки в московских архивах. М., 1987. С. 156).

134. ЦС, под загл. «Фея», с датой: 1824-го года. - - Изд. 1835. Посылая ст-ние Н. М. Коншину, который вместе с Е. Ф. Розеном был издателем альм., Баратынский наказывал: «Под стихотворением моим „Фея“ выставлен год: не забудь его напечатать в твоем альманахе — это мне нужно» (РС. 1908, № 12. С. 762). Фиктивная дата в альм., вероятно, вызвана той же причиной, что и при публикации ст-ния № 122: опасением поэта, что содержание ст-ния может бросить тень на его семейные отношения. Датируется предположительно 1829 г., так как по поэтическому строю «Фея» ближе к лирике Баратынского конца 1820-х гг., чем к 1824 г. Было переведено Баратынским на французский язык.

135. СЦ-30, под загл. «Сцена из поэмы „Вера и неверие“». - - Изд. 1835. Помещение «Отрывка» в Изд. 1835 среди ст-ний дает основание предполагать, что работа над поэмой была прекращена.

136. Альм. «Сиротка на 1831 год». М., 1831, под загл. «Лазурные очи». - - Изд. 1835.

137. ЛГ. 1830, 5 июня. Написано в ответ на антидворянский памфлет Н. А. Полевого «Утро в кабинете знатного барина» («Новый живописец общества и литературы». 1830, май, № 10), в котором пародировалось ст-ние Пушкина «К вельможе» (1830). Датируется по времени публикации памфлета и дате ЛГ.

138. ЛГ. 1830, 10 июня. Адресат эпиграммы — Н. А. Полевой (см. о нем примеч. 130), который в ответ на эпиграммы Баратынского (№№ 130 и 137) написал эпиграмму «Пришел поэт, и пущен на Парнас...» («Новый живописец общества и литературы». 1830, № 13, июнь). Пушкин об этом обмене эпиграммами в «Опровержении на критики» (1830) писал: «Является колкое стихотворение, в коем сказано, что Феб, усадив было такого-то, велел его после вывести лакею за дурной тон и заносчивость, нестерпимую в хорошем обществе,— и тотчас в ответ явилась эпиграмма, где то же самое пересказано немного похуже, с надписью: „сам съешь“» (Пушкин-11. С. 151). Датируется на том же основании, что и предыдущая эпиграмма. *Надоумко* — псевдоним Николая Ивановича Надеждина (1804—1856), критика, журналиста, издателя, литературного противника Полевого.

139. ЛГ. 1830, 19 августа, под загл. «Эпиграмма», с вар. ст. 12, подпись: Е. Б—ский. - - Изд. 1835. Адресат неизвестен.

140. Изд. 1835. Автограф — ПД. Датируется по письму Баратынского к Н. М. Языкову (конец сентября 1831 г.), в котором имеется текст ст-ния и сообщается: «Вот единственная пьеса, которую написал я с тех пор, как с тобой расстался ⟨с июля 1831 г.⟩, стараясь в ней выразить мое горе» (Изд. 1951. С. 503). Ст-ние было послано Пушкину для СЦ-32, но по неизвестным причинам в альм. не появилось. В феврале 1832 г. Баратынский обратился к И. В. Киреевскому: «...напечатай в „Европейце“ мое „Бывало, отрок“ etc. Я не знаю, отчего Пушкин отказал ей место в „Северных цветах“» (ТС. С. 38—39). Запрещение «Европейца» на третьем номере помешало Киреевскому исполнить просьбу Баратынского. Было переведено Баратынским на французский язык.

141. СЦ-32, под загл. «Мой Элизий». - - Изд. 1835. Автограф — ЦГАЛИ. Ст-ние навеяно скорбными воспоминаниями о Дельвиге, скончавшемся 14 января 1831 г. «Баратынский болен с огорчения»,— писал Пушкин П. А. Плетневу 21 января 1831 г. (Пушкин-14. С. 147). Сам же Баратынский в июле того же года писал Плетневу: «Потеря Дельвига для нас незаменяема ... потеря Дельвига нам показала, что такое невозвратное прошедшее, которое мы угадывали печальным вдохновением, что такое опустелый мир, про который мы говорили, не зная полного значения наших выражений. Я еще не принимался за жизнь Дельвига. Смерть его еще слишком свежа в моем сердце. Нужны не одни сетования, нужны мысли; а я еще не в силах привести их в порядок» (Изд. 1951. С. 496). Датируется предположительно октябрем 1831 г., так как в ноябре Баратынский сообщил И. В. Киреевскому, что уже послал это ст-ние Пушкину.

142. Е. 1832, № 1, под загл. «Элегия», с вар. ст. 14. - - Изд. 1835. Автограф — ЦГАЛИ. Именно об этом ст-нии Баратынский писал И. В. Киреевскому 29 ноября 1831 г.: «...элегия, которую ты называешь европейской, принадлежит „Европейцу“» (Изд. 1951. С. 508). На основании этого письма датируется осенью 1831 г. Было переведено Баратынским на французский язык. *Алкал безумец молодой.* Автоцитата из поэмы «Цыганка» (гл. 2, ст. 106).

143. Изд. 1835. Автограф — ПД, на одном листе со ст-нием «Бывало, отрок, звонким кликом...» (№ 140), на основании чего датируется октябрем — декабрем 1831 г. Было переведено Баратынским на французский язык.

144. Е. 1832, № 2. Посылая ст-ние Н. М. Языкову с письмом, имеющим помету адресата: «Получено 1831, ноября 23-го», Баратынский писал: «Вот тебе, милый Языков, несколько нескладных рифм, которые, однако ж, показывают, что я ⟨о⟩ тебе думал» («Историко-литературный сборник. Посв. В. И. Срезневскому». Л., 1924. С. 13—14). 29 ноября Баратынский писал И. В. Киреевскому: «...послание к Языкову ... принадлежит „Европейцу“» (Изд. 1951. С. 508), однако в письме от 18 января 1832 г. к нему же Баратынский, говоря, что это послание «довольно слабо», просил его не печатать (Изд. 1951. С. 513). Николай Михайлович *Языков* (1803—1846) — поэт, творчество которого высоко ценилось Баратынским. Языков позна-

комился с Баратынским 12 июня 1824 г. (см.: Языковский архив: Письма Н. М. Языкова за дерптский период его жизни (1822—1829). Спб., 1913. Вып. 1. С. 138). 16 февраля 1834 г. Д. В. Давыдов в письме к А. М. и Н. М. Языковым передавал им слова, сказанные Баратынским о Языкове: «Дай бог здоровья ему и его музе. Он поэт в душе. У нас не умеют его ценить; но, когда гнилая наша поэзия будет еще гнилее и будет пахнуть мертвечиной, мы почувствуем все достоинства его бессмертной свежести» (РС. 1884, № 3. С. 145).

145. Изд. 1835. Автограф ранней ред.— Центр. гос. архив ТАССР. Датируется на основании пометы Н. М. Языкова: «Получено 1832 г., января 13» на письме Баратынского к нему, где говорится: «Вот что мне внушило твое послание, исполненное и свежести, и красоты, и грусти, и восторга. ... Твои студенческие элегии дойдут до потомства, но ты прав, что хочешь избрать другую дорогу. С возмужалостью поэта должна мужать и его поэзия, без того не будет истины и настоящего вдохновения» («Литературно-библиологический сборник». Пг., 1918. С. 70). Баратынский имел в виду послание Языкова И. В. Киреевскому «Поэт, вхожу я горделиво...» (1831), в котором есть такие строки:

Близка пора: мечты похмелья
Моей камены удалой
Пройдут; на новую дорогу
Она свой глас перенесет
И гимн отеческому богу
Благоговейно запоет,
И древность русскую, быть может,
Начнет она провозглашать...

В начале января 1832 г. Баратынский писал И. В. Киреевскому: «Языков расшевелил меня своим посланием. Оно — прелесть. Такая ясная грусть, такое грациозное добродушие! Такая свежая чувствительность! Как цветущая его муза превосходит все наши бледные и хилые! У наших — истерика, а у ней настоящее вдохновение» (Изд. 1951. С. 512). Чуть позднее, в письме от 18 января 1832 г., Баратынский обратился к Киреевскому с просьбой: «...если не напечатано мое первое послание к Языкову, не печатай его: оно мне кажется довольно слабо 〈см. предыдущее примеч.〉. Напечатай лучше второе, которым я более доволен» (Изд. 1951. С. 513). В связи с запрещением журнала Киреевского «Европеец», ст-ние в нем опубликовано не было. *Менада* (греч. миф.) — вакханка; спутница Диониса. *Диадима* (диадема) — корона. *Злословный судья ... хулитель* — по всей вероятности, Ксенофонт Алексеевич Полевой (1801—1867) — критик и журналист, брат Н. А. Полевого, выступавший в МТ с резкими нападками на поэзию Языкова.

146. Изд. 1835. Два автографа ранней ред.— ПД и ГИМ. Датируется по положению автографа в альбоме А. Л. Баратынской (ПД).

147. Альм. «Новоселье». Спб., 1833. Ч. 1, под загл. «Кольцо. (С. Э〈нгельгард〉т)», с вар. ст. 26, 36. - - Изд. 1835. Два автографа ранней ред.— ЦГАЛИ и Музей-усадьба Мураново им. Ф. И. Тютчева (ст. 1—8). Основанием для датировки этого и одиннадцати последующих ст-ний, впервые напечатанных в Изд. 1835, служит экземпляр этого изд., хранящийся в ГЛМ, на титульном листе которого

обозначен не 1835, а 1833 г. Подробно об этом см.: Светлов А. П. Об уникальном экземпляре «Стихотворений» Е. А. Баратынского 1833 г. // Книга. Исследования и материалы. Сборник XLIX. М., 1984. С. 121—129. Светлов убедительно доказывает, что в Изд. 1835, не имеющем текстуальных отличий от экземпляра ГЛМ, нет ни одного ст-ния, написанного позднее 1832 г. Кроме того, известно, что рукопись будущей книги подготовлена Баратынским к концу 1832 г. «Я продал Смирдину полное собрание моих стихотворений,— писал он в декабре того года П. А. Вяземскому.— Кажется, оно в самом деле будет последним и я к нему ничего не прибавлю» (Изд. 1951. С. 521). 14 марта 1833 г. рукопись уже рассматривалась на заседании С.-Петербургского ценз. комитета (ЛМ. С. 15—17). Позднее Баратынский передал права по изданию книги московскому книгоиздателю А. С. Ширяеву, и, разделенная на две части, она вышла в Москве в 1835 г. Ст-ние написано по поводу кольца, подаренного А. Л. Баратынской своей сестре С. Л. Энгельгардт (см. о ней примеч. 123).

148. Изд. 1835, с ценз. пропусками слов в ст. 15—16, восстанавливаемых по выписке из журнала заседаний С.-Петербургского ценз. комитета от 14 марта 1833 г. (ЛМ. С. 16). Было переведено Баратынским на французский язык.

149. Изд. 1835.

150. Изд. 1835. - - Изд. 1869, под загл. «Монастырке». - - Печ. по Изд. 1835. Обращено к неизвестной воспитаннице Смольного института — привилегированного учебного заведения закрытого типа в Петербурге, которое было преобразовано из женского Смольного монастыря.

151—152. Изд. 1835.

153. Изд. 1835. Сходные мысли Баратынский высказал в июле 1831 г. в письме к П. А. Плетневу: «... искусство... лучше всякой философии утешает нас в печалях жизни. Выразить чувство — значит разрешить его, значит овладеть им. Вот почему самые мрачные поэты могут сохранить бодрость духа» (Изд. 1951. С. 496).

154. Изд. 1835.

155. Изд. 1835. Автограф — ПД. Обращено к Анастасии Львовне Баратынской, урожд. Энгельгардт (1804—1860), жене поэта (с 9 июля 1826 г.). Было переведено Баратынским на французский язык.

156. Изд. 1835. Автограф ранней ред.— архив Академии наук СССР (ст. 1—25). В ст-нии нашло отражение впечатление Баратынского от посещения им Муранова, подмосковной усадьбы его тестя Л. Н. Энгельгардта. *В садах Армидиных.* Армида — героиня поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим» (1580), волшебница, околдовавшая в своих садах ее возлюбленного Ринальдо. *Она, которой нет.* Речь идет о Наталье Львовне Энгельгардт (1806—1826), свояченице Баратынского, умершей от чахотки.

157. Изд. 1835. Адресовано Екатерине Александровне *Тимашевой*, урожд. Загряжской (1798—1881), московской красавице и поэтессе, которой Пушкин также посвятил ст-ние «К. А. Тимашевой» («Я видел вас, Я их читал...») (1826).

158. Изд. 1835. Обращено к А. Л. Баратынской (см. примеч. 155), жене поэта. Было переведено Баратынским на французский язык.

159. Е. 1832, № 3, вм. подписи: ***. Печатание журнала было прервано на с. 402 (ст-ние Баратынского помещено на с. 397), а дальнейшее его издание запрещено. Автограф — ЦГАЛИ, в письме Баратынского к И. В. Киреевскому, посланном в начале 1832 г., в котором сказано: «Вот тебе в заключение эпиграмма, которую должно напечатать без имени» (ТС. С. 35). Адресат эпиграммы — Н. А. Полевой (см. о нем примеч. 130, 138), чей отрицательный отзыв о «Наложнице» (МТ. 1831, № 6. С. 238—239) совпал с критическими замечаниями Н. И. Надеждина, посвятившего уничтожающему разбору «Наложницы» целую статью («Телескоп». 1831, № 10. С. 228—239). Называя Полевого «родным», Баратынский напоминает ему их прежние литературные связи и добрые отношения, сменившиеся на враждебные.

160. Изд. 1835. Датируется по письму Баратынского к И. В. Киреевскому от 18 января 1832 г., в котором, в частности, говорится: «Я получил баллады Жуковского. В некоторых необыкновенное совершенство слова и простота, которую не имел Жуковский в прежних его произведениях. Он мне даже дает охоту рифмовать легенды» (Изд. 1951. С. 513). Видимо, «Мадона» и была для Баратынского опытом создания стихотворной легенды, которую он написал под впечатлением от «Баллад и повестей» В. А. Жуковского (Спб., 1831. Ч. 1—2). *Мадона.* Слово «мадонна» Баратынский произносил и писал не на итальянский (с двумя «н»), а на французский манер. *Корреджий* — Корреджо Антонио (1494—1534), итальянский живописец.

161. Изд. 1835. По-видимому, написано весной 1832 г. в Казани.

162. Альм. «Новоселье». Спб., 1833. Ч. 1. Автограф — ПД. И.-В. Гёте умер 22 марта 1832 г. 30 мая того же года Баратынский сообщил И. В. Киреевскому: «Это время я писал всё мелкие пьесы. Теперь у меня их пять, в том числе одна на смерть Гёте, которою я более доволен, чем другими» (Изд. 1951. С. 518). Было переведено Баратынским на французский язык. *Зане* — потому что.

163. Изд. 1835. Баратынский писал 16 мая 1832 г. из Казани И. В. Киреевскому: «Прошу... пожалеть обо мне: одна из здешних дам, женщина степенных лет, не потерявшая еще притязания на красоту, написала мне послание в стихах без меры, на которое я должен отвечать» (ТС. С. 46). Так как 19 июня Баратынский из Казани выехал в Мару, ст-ние следует датировать второй половиной мая — первой половиной июня 1832 г. Обращено к Александре Андреевне *Фукс*, урожд. Апехтиной (ок. 1805—1853), казанской писательнице, хозяйке литературного салона, жене ректора Казанского университета К. Ф. Фукса. О неумеренно восторженном тоне ст-ния Баратынского Пушкин писал 12 сентября 1833 г. жене: «Баратынский написал ей ⟨Фукс⟩ стихи и с удивительным бесстыдством

расхвалил ее красоту и гений» (Пушкин-14. С. 80). *Блестящими стихами Вы обольстительно приветили меня.* Это ст-ние неизвестно. В сборнике ст-ний Фукс было напечатано только одно ст-ние, связанное с Баратынским: «После отъезда Е. А. Баратынского из Казани» (Фукс А. А. Стихотворения. Казань, 1834. С. 42—47). *Харита, камены* — см. примеч. 9.

164. «Библиотека для чтения». 1835, № 1, под загл. «Запустение. Элегия», с вар. ст. 11, 16, 50, 51, 53, 65, 67. - - Изд. 1835, без загл., с теми же вар., кроме ст. 11, 16. - - Изд. 1869. В ст-нии отразились впечатления от поездки Баратынского осенью 1832 г. в Мару, родовое имение Боратынских. *Тот не был мыслию, тот не был сердцем хладен.* Речь идет об отце поэта Абраме Андреевиче Боратынском (1770—1810), который после выхода в отставку много сил и труда отдавал садово-парковому устройству имения. Позднее, описывая быт тамбовских помещиков, Б. Н. Чичерин писал о Маре: «Абрам Андреевич поселился в той части Вяжли, которая носит название Мары, и здесь зажил на широкую ногу. Недалеко от дома лежит овраг, покрытый лесом, с бьющим на дне его ключом. Здесь были пруды, каскады, каменный грот с ведущим к нему из дому потаенным ходом, беседки, мостики, искусно проведенные дорожки. Поэт Баратынский в своем стихотворении «Запустение» в трогательных чертах описывает эту местность, где протекли первые дни его детства, но которая была более или менее заброшена после смерти его отца, случившейся в 1810 году. Вдова не думала уже о поддержании красоты усадьбы, о старых барских затеях; она вся предалась воспитанию детей, и надобно сказать, что эта цель была достигнута ею вполне» (Чичерин Б. Н. Из моих воспоминаний: По поводу дневника Н. И. Кривцова // РА. 1890, № 4. С. 508). *Прияла прах его далекая могила.* Отец поэта умер в Москве и был похоронен в Спасо-Андрониковом монастыре.

165. Сов. 1836, т. 4, под загл. «К князю П. А. Вяземскому». - - С, с загл., вынесенным на шмуцтитул, и текстом ст-ния, набранного курсивом. Датируется предположительно сентябрем — октябрем 1834 г., так как в письме Баратынского к С. Л. Энгельгардт от начала ноября 1834 г. сказано: «По будущей почте пришлю тебе послание к Вяземскому...» (Изд. 1951. С. 525). Самому же Вяземскому ст-ние было послано вместе с Изд. 1835, в которое оно не попало, видимо, потому, что книга уже версталась. В 1842 г., после выхода «Сумерек», Баратынский писал Вяземскому: «Это небольшое собрание стихотворений предано тиснению почти, едва не единственно для того, чтобы воспользоваться позволением вашим напечатать посвящение. Примите и то и другое с обычным вашим благоволением к автору» (СН. 1902, кн. 5. С. 55). Петр Андреевич *Вяземский* (1792—1878) — поэт, критик, острый полемист. Один из самых радикальных и деятельных участников литературного общества «Арзамас» (1815—1818). Он занимал виднейшее место в кругу писателей пушкинской поры, но, будучи, по выражению Н. Кутанова (С. Н. Дурылина), «декабристом без декабря», Вяземский постепенно утратил свою оппозиционность и перешел во второй половине своей жизни на позиции т. н. «литературного аристократизма». Своим посланием Баратынский хотел указать на выдающуюся роль Вяземского как хранителя традиций дворянской поэтической культуры 1810—1820-х гг. *Звезда разрозненной плеяды!* Это определение в одинаковой степени можно отнести как к Вяземскому, так и к самому Баратынскому; «плеяда» —

писатели и поэты пушкинского круга. *Судьбы суровой Удары грозные.* Вероятно, имеется в виду тяжелая болезнь дочери Вяземского Прасковьи Петровны, которая умерла 11 марта 1835 г.

166. МН. 1835, ч. 1, март, кн. 1, с вар. ст. 6, 14, 23, 52, 54, 66, 77. - - С, с вар. ст. 14, 43, 44, 68, 78. - - Изд. 1869, с вар. ст. 40, 43, 68. - - Печ. по С, с учетом авторских исправлений, сделанных на экземпляре сборника из собрания К. В. Пигарева (Музей-усадьба Мураново им. Ф. И. Тютчева). Автограф ранней ред.— ЦГАЛИ. Об этом программном ст-нии см. вступ. статью, с. 41—42. Говоря об упадке искусства в эпоху «железного века», Баратынский поддерживает и развивает положения статьи И. В. Киреевского «Девятнадцатый век» (1832), в которой, в частности, при перечислении «отличительных качеств» современных писателей говорилось: «Без сомнения, качества сии предполагают холодность, прозаизм, положительность и вообще исключительное стремление к практической деятельности. То же можно сказать и о большинстве публики в самых просвещенных государствах Европы. Вот отчего многие думают, что время поэзии прошло и что ее место заступила жизнь действительная» (Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 85). Последние 8 строк ст-ния были процитированы С. П. Шевыревым в статье о «Чаттертоне» А. де Виньи. Отталкиваясь от них, Шевырев писал: «Среди этого всеобщего позлащения скелета человечества, которым превосходно выражено промышленное стремление эпохи, и лучшая возвышенность на его черепе, где сияла обыкновенно звезда поэтического гения, покрылась самою твердою пластинкою благородного металла. К нам возвратился золотой век уже в настоящем смысле, без метафоры, и поэт, вместо рубища Омиров, облекся в злато» (МН. 1835, ч. 4, октябрь, кн. 2. С. 617). *Век шествует путем своим железным.* Выражение «железный век» восходит к поэме древнегреческого поэта Гесиода (VIII—VII в. до н. э.) «Труды и дни»; символизирует падение нравов и культуры. Ср. с употреблением этого выражения К. Н. Батюшковым: «Таков железный век: Кто прежде был в пыли, тот в знати очутился!» («Перевод 1-й сатиры Боало») (1804 или 1805). *Для ликующей свободы Вновь Эллада ожила.* Греция в результате многолетней национально-освободительной войны в 1830 г. избавилась от турецкого ига и стала независимым государством. *Понт* (греч.) море. *Омир* — Гомер. *Урания* (греч. миф.) — муза астрономии; здесь: наука, противопоставленная поэзии. *Эол* (греч. миф.) — бог ветров. *Оно шумит перед скалой Левкада.* По преданию, знаменитая древнегреческая поэтесса Сафо (перв. пол. VI в. до н. э.) из-за неразделенной любви к юноше Фаону покончила с собой, бросившись в море с Левкадской скалы. Было переведено Баратынским на французский язык.

***167.** МН. 1835, ч. 1, апрель, кн. 1, с ценз. пропусками ст. 34—37, 55—56, с вар. ст. 3—4, с опущенными впоследствии 8-ю ст. между ст. 8 и 9. - - С, с ценз. искажением ст. 56, без указанных 8-ми ст. - - Печ. по С с восстановлением ст. 56 по ценз. экземпляру С (ПД). В своем ст-нии Баратынский использовал отдельные мотивы ст-ния А. А. Дельвига «Разговор с гением» (1817). По толкованию современного исследователя «Недоносок» — стихотворение об ограниченности человеческой духовности и «трагической промежуточности человека „меж землей и небесами“» (Бочаров С. Г. Поэзия таинственных скорбей // Баратынский Е. Стихотворения М., 1976. С. 274).

168. МН. 1835, ч. 5, ноябрь, кн. 1, с вар. ст. 35, 39, 45. - - С. *Аи* — марка французского шампанского.

169. МН. 1835, ч. 5, ноябрь, кн. 1, с вар. ст. 1, 3, 6. - - С. *Алкивиад* (451—404 до н. э.) — выдающийся полководец Древней Греции.

170. МН. 1835, ч. 4, октябрь, кн. 2, Приложение (ценз. разр. 26 января 1836 г.), в составе анонимной корреспонденции «Брюллов в Москве» и почти одновременно — «Московские ведомости». 1836, 5 февраля, в тексте корреспонденции «Письмо к С. П. Г.» от 28 января 1836 г., подпись: В. Г., с разночтениями и вар. ст. 16 по отношению к публикации в МН. Обе эти публикации ст-ния Баратынского, появившиеся без участия поэта и указания на его авторство, в равной степени могут считаться основными источниками текста. В настоящем издании ст-ние печ. по «Московским ведомостям», где тексту ст-ния предшествует описание торжественного обеда, устроенного 28 января 1836 г. в Московском художественном классе в честь приехавшего в Москву К. П. Брюллова. Там, в частности, сказано о том, что в числе тостов был провозглашен тост «за здоровье знаменитого художника; куплеты, петые г⟨осподино⟩м ⟨Н. В.⟩ Лавровым, сопровождали этот необыкновенный тост. Не знаю творца стихов, но они прекрасны по звучным выражениям сильного чувства! Никто из присутствовавших поэтов не взял их на себя — не для того ли, чтоб тем выразить общность ощущений? При каждой строфе раздавалось продолжительное рукоплескание и общий звук наших восторгов «ура!» оглашало залу собрания. Вот сии куплеты...» К тексту ст-ния издатель газеты П. И. Шаликов сделал примеч.: «Мы получили их ⟨куплеты⟩ от г-на директора и присовокупили к письму — как пиитический цветок, за который читатели, верно, поблагодарят нас» («Московские ведомости». 1836, 5 февраля). Распорядителем обеда был тогдашний директор Московского художественного класса М. Ф. Орлов (1788—1842), бывший командир 16-й пехотной дивизии, член Южного общества декабристов, литератор. Музыку к куплетам написал А. Н. Верстовский. Впервые на авторство Баратынского было указано в «Материалах для биографии Е. А. Баратынского»: «Ему ⟨поэту⟩ случалось импровизировать. Вот четверостишие из стихотворения, набросанного им у себя на вечере, в Москве, по случаю посещения его живописцем Брюлловым:

Принес ты мирные трофеи
С собой, в отеческую сень,
И был последний день Помпеи
Для русской кисти первый день»

(Изд. 1869. С. 397). Подробнее о принадлежности ст-ния Баратынскому см.: Медведева И. Н. «Последний день Помпеи» (Картина К. Брюллова в восприятии русских поэтов 1830-х годов) // Annali dell' Instituto Universitario Orientale: Sezione Slava, XI, Napoli, 1968. P. 117—124. Саму же картину К. П. Брюллова Баратынский увидел лишь зимой 1840 г. в Петербурге. В письме к А. Л. Баратынской поэт сообщал: «В субботу был в Академии художеств и видел «Последний день Помпеи» Брюл⟨л⟩ова. Все прежнее искусство блед-

неет перед этим произведением; но одно искусство, а не сущность живописи. Колорит, перспектива, округлость тел, фигуры, выходящие как будто вон из полотна,— все это выше всякого описания; но думаю, что изучающий Рафаеля, Михель Анжела, Тициана найдет в них больше мысли, больше красоты. На лицах Брюл⟨л⟩ова однообразное выражение ужаса и нет ни одной фигуры идеально прекрасной» (Изд. 1869. С. 424).

***171.** Сов. 1837, т. 5, другая ред. - - С. Датируется по письму Баратынского к П. А. Вяземскому от февраля 1837 г., в котором он писал: «Препровождаю вам дань мою „Современнику". Известие о смерти Пушкина застало меня на последних строфах этого стихотворения. ... Брошенную на бумагу, но далеко не написанную, я надолго оставил мою элегию. Многим в ней я теперь недоволен, но решаюсь быть к самому себе снисходительным, тем более, что небрежности, мною оставленные, кажется, угодны судьбе» (Изд. 1951. С. 527). О своем восприятии гибели Пушкина Баратынский писал Вяземскому еще раньше — 5 февраля 1837 г.: «Пишу вам под громовым впечатлением, произведенным во мне, и не во мне одном, ужасною вестью о погибели Пушкина. Как русский, как товарищ и семьянин, скорблю и негодую: мы лишились таланта первостепенного, может быть, еще не достигшего своего полного развития, который совершил бы непредвиденное, если б разрешились сети, расставленные ему обстоятельствами, если б в последней, отчаянной его схватке с ними судьба преклонила весы в его пользу. Не могу выразить, что я чувствую; знаю только, что я потрясен глубоко и со слезами, ропотом, недоумением беспрестанно себя спрашиваю: зачем это так, а не иначе?.. В какой внезапной неблагосклонности к возникающему голосу России провидение отвело око свое от поэта, давно составлявшего ее славу и еще бывшего (что бы ни говорили злоба и зависть) ее великою надеждой?» (СН. 1900, кн. 3. С. 341—342). *Брашна* — кушанья. *Клас* — колос.

172. Сов. 1838, т. 9, № 1, под загл. «Мысль». - - С. Автограф — ПД.

173. С. Датируется по году выхода третьего романа Ивана Ивановича Лажечникова (1792—1869) «Басурман» (1838), необычная орфография которого и вызвала эпиграмму Баратынского. В не дошедшем до нас автографе ст. 2: «На двух романах утомил» (Изд. 1869. С. 213). Подробнее об этом см.: Бухштаб Б. Я. Адресат эпиграммы Баратынского // «Труды Ленингр. гос. библиотечного ин-та им. Н. К. Крупской». 1956. Т. 1. С. 233—235. *Неаполь возмутил рыбарь.* 7 июля 1647 г. в Неаполе произошло народное восстание, которое возглавил рыбак Томмазо Аньелло (сокр. от Мазаньелло) (1620—1647). После того как восставшие добились некоторых уступок от вице-короля, Аньелло беспечно водворился в своей хижине и 16 июля был убит наемниками вице-короля. Эти события легли в основу популярной (в то время) оперы Д.-Ф. Обера «Немая из Портичи» (1828).

174. С. В ст-нии, по всей вероятности, речь идет об Елизавете Михайловне Хитрово (1783—1839), дочери М. И. Кутузова, хозяйке петербургского салона, близкого друга Пушкина. По воспоминаниям В. А. Соллогуба, «у Елисаветы Михайловны были знаменитые

своей красотой плечи; она по моде того времени часто их показывала, и даже сильно их показывала» (Соллогуб В. А. Воспоминания. М.; Л., 1931. С. 299). Эта привычка Хитрово к концу ее жизни стала предметом многих шуток и эпиграмм; ст-ние же Баратынского написано в противоположном ключе.

175. УЗ, с вар. ст. 9, 11—12, 18, 20. - - С.

176. УЗ, с ошибкой в ст. 9—10: «Не менее камен своим числом, Числа харит у вас не превышали». - - Печ. по УЗ с устранением искажения по черновому автографу ПД. *Не менее харит своим числом, Числа камен у вас не превышали*, т. е. не менее трех (по числу харит — трех сестер) и не более девяти (по числу камен — девяти муз).

177. УЗ, под загл. «Звезды», с вар. ст. 5. - - Печ. по ценз. экземпляру С (ПД). Причины, по которым Баратынский исключил ст-ние из сборника, неизвестны. *Моэт* — марка французского шампанского.

178. ОЗ. 1839, № 2, с вар. ст. 1, 3, 6, 12, 15—16, 18, 20. - - С. Датируется по письму Баратынского к П. А. Плетневу, написанному в начале 1839 г., в котором говорится: «Пьеса, напечатанная в „Отечественных записках", была у меня вырвана из-под пера братом моим Сергеем ...— оттого-то она и несколько слаба слогом» (Изд. 1951. С. 527). Было переведено Баратынским на французский язык. *Юдольные* — здесь: мирские.

179. Сов. 1839, т. 15, № 3, вместе с двумя последующими ст-ниями под общим загл. «Антологические стихотворения», с вар. ст. 10. - - С. Два автографа: черновой — ПД, беловой — ЦГАЛИ. Датируется так же, как и два последующих ст-ния, по письму Баратынского к П. А. Плетневу (начало 1839 г.), где сообщается: «Посылаю тебе несколько небольших пьес, набросанных мною на прошедшей неделе» (Изд. 1951. С. 528). *Плод яблони со древа упадает.* Существует легенда о том, что упавшее с дерева яблоко навело И. Ньютона на мысль о законе всемирного тяготения.

180. Сов. 1839, т. 15, № 3 (см. примеч. 179), с вар. ст. 9. - - С, с ценз. искажением ст. 5. - - Печ. по С, с устранением искажения по ценз. экземпляру С (ПД).

181. Сов. 1839, т. 15, № 3 (см. примеч. 179), с вар. ст. 6. - - С. Автограф — ПД. В копии А. Л. Баратынской (ПД) озаглавлено: «К. Г.». Адресат неизвестен.

182. ОЗ. 1840, № 3, с вар. ст. 1, 3, 9. - - С. Было переведено Баратынским на французский язык.

183. ОЗ. 1840, № 3, с вар. ст. 6. - - С. В копии А. Л. Баратынской (ПД) под загл. «С. Ф. Т.». Адресат неизвестен. Было переведено Баратынским на французский язык.

184. Сов. 1840, т. 18, № 2, без загл., вместе со ст-нием № 185 под общим загл. «Антологические стихотворения». - - С, с ценз. искажением ст. 3. - - Печ. по С, с устранением искажения по ценз, экземпляру С (ПД).

185. Сов. 1840, т. 18, № 2, с вар. ст. 4—5 (см. примеч. 184). - - С. Было переведено Баратынским на французский язык.

186. Сов. 1841, т. 21, № 1, с вар. ст. 12, с ценз. пропуском ст. 14—23. - - С, с тем же пропуском. - - Изд. 1869, с вар. ст. 24—27, 29, 31, 33, с устранением ценз. пропуска. - - Печ. по С, с восстановлением ценз. пропуска по Изд. 1869. Было переведено Баратынским на французский язык. *Когда на играх Олимпийских.* Баратынский цитирует ст. 1 ст-ния К. Н. Батюшкова «К творцу „Истории Государства Российского"» (1818). В основе послания Батюшкова лежит эпизод из «Эмилиевых писем» М. Н. Муравьева, начинающийся словами: «Когда Геродот читал историю свою на Олимпийских играх...» (Муравьев М. Н. Соч. Спб., 1819. Т. 1. С. 171). *Мусикийские* (греч. миф.) — музыкальные. *Горний* — небесный, возвышенный. *Подобно голубю ковчега.* По библейской легенде, Ной, находившийся в ковчеге во время всемирного потопа, желая узнать о близости земли, выпустил взятого им с собой голубя. Когда голубь вернулся к нему с масличным листом в клюве, Ной понял, что земля недалеко.

***187.** С. В ранней ред., автограф которой не сохранился (список — в архиве Музея-усадьбы Мураново им. Ф. И. Тютчева), ст-ние было вписано в альбом двоюродной сестры поэта Натальи. Оно связано с приездом Пушкина из Михайловского в Москву в сентябре 1826 г. *Новинское* — подмосковное село, место гуляний и отдыха, позднее — Новинский бульвар (ныне — ул. Чайковского). О впечатлении, произведенном появлением Пушкина во время одного из гуляний в Новинском, сохранилось свидетельство литератора М. П. Розберга в письме к А. П. Авдеевой от 28 марта 1830 г. (см.: Лернер Н. О. Одесса в 1840 году // «Одесские новости». 1913, 26 февраля). Свою встречу с Пушкиным в Новинском 8 апреля 1827 г. описала в ст-нии «Две встречи» (1838) Е. П. Ростопчина.

188. ОЗ. 1841, № 3, под загл. «Предрассудок», с вар. ст. 3—4, 6, 10. - - С. Было переведено Баратынским на французский язык.

189. ОЗ. 1841, № 5, под загл. «Vanitas vanitatum» («Суета сует» — *лат.*). - - С. *Горний клир* — небесный хор.

190. ОЗ. 1841, № 7, без загл., с вар. ст. 3. - - С. Написано в период обозначившегося разрыва Баратынского с группой славянофилов.

191. Сов. 1841, т. 23, № 3, без загл., с вар. ст. 2, 4. - - С. *Ахилл* (греч. миф.) — один из героев Троянской войны, которой посвящена «Илиада» Гомера. Мать Ахилла Фетида, стремясь сделать сына неуязвимым, выкупала его в водах подземной реки Стикс, держа младенца за пятку, оставшуюся сухой. Отсюда выражение «ахиллесова пята», т. е. уязвимое место.

192. Сов. 1841, т. 23, № 3, с вар. ст. 10, 14, 17—18. - - С. В основе ст-ния — легенда о кипрском царе Пигмалионе (греч. миф.), который влюбился в изваянную им статую *Галатеи* (греч. миф.). Тронутая его любовью, Афродита оживила статую, и Галатея стала женой Пигмалиона.

193. С. Обращено к сыну поэта Льву Евгеньевичу Баратынскому (1829—1906) «по поводу первой его стихотворной сюиты» (Изд. 1884. С. 255).

194. Сов. 1842, т. 27, № 7. Адресовано Софье Николаевне *Карамзиной* (1802—1856), старшей дочери Н. М. Карамзина, с которой Баратынский познакомился осенью 1840 г. в Петербурге. Датируется на основании ответного письма С. Н. Карамзиной от 26 июня 1842 г., в котором она благодарила поэта за сборник «Сумерки» и ст-ние, к ней обращенное (Изд. АН (1). С. 305).

195. Сов. 1843, т. 32, № 10. Адресат ст-ния неизвестен. Высказывалось предположение, что оно является откликом на смерть М. Ю. Лермонтова. Существует также предположение, что в ст-нии заключен косвенный ответ на статью В. Г. Белинского о «Сумерках». (ОЗ. 1842. № 12. С. 49—70). Однако высокая обобщенность содержания ст-ния, его философская тема судьбы поэта вообще не позволяют связать ст-ние ни с каким конкретным именем.

196. Сов. 1844, т. 35, № 8, помета: Средиземное море, 1844. Ст-ние написано во время морского переезда Баратынского из Франции в Италию. Было послано вместе со ст-нием «Дядьке-итальянцу» Н. В. Путяте во второй половине июня 1844 г. в сопровождении письма, в котором говорилось: «Посылаю вам два стихотворения. Отдайте их Плетневу для его журнала» (Изд. 1951. С. 539). Номер журнала, где были напечатаны эти ст-ния, вышел уже после смерти поэта. *Пироскаф* (греч.) — пароход. *Влажный бог* — бог морей Нептун (римск. миф.) или Посейдон (греч. миф.). *Фетида* (греч. миф.) — морская богиня, одна из нереид, мать Ахилла. *Ливурна* — античное название города Ливорно, расположенного на берегу Лигурийского моря.

197. Сов. 1844, т. 35, № 8, с опечатками в ст. 27—28, 58, 73, помета: Неаполь, 1844. - - Печ. по Сов., с исправлением опечаток по Изд. АН (1). Посвящено памяти воспитателя поэта *Жьячинто* (Джачинто) Боргезе (см. о нем также примеч. 27). *Беглец Италии.* Боргезе оставил Италию и переселился в Россию после падения республики (1799 г.). *Почтенный... генерал* — отец поэта (см. о нем примеч. 164). *Москва нас приняла.* В 1808 г. Баратынские переехали из Мары в Москву. *Макаронщики* — шутливое прозвище итальянцев. *Ментор* (греч. миф.) — в «Одиссее» Гомера друг Одиссея, воспитатель его сына Телемаха; здесь нарицательно: наставник. *Оставив там могилу дорогую.* В 1810 г., после смерти А. А. Боратынского, его семья вернулась в Мару. *Храм Петра,* т. е. храм Святого Петра в Риме. *Где зрел, дивясь, суворовских солдатов* и т. д. В сентябре 1799 г. Суворов во главе русской армии вступил в Италию. *Год спустя тебе предстал и он* и т. д. Имеется в виду второй Итальянский поход Наполеона, завершившийся победой французов над австрийскими войсками при Маренго 14 июня 1800 г. *Дивный кондотьери* — здесь: гениальный полководец; кондотьер (ит.) — предводитель наемных отрядов. *Ты не забыл серебряные ложки.* По приказу Наполеона, все население Италии обязано было сдать наличное серебро французам. *Узнику печальному британца* и т. д. Корсиканец по происхождению, Наполеон после поражения при Ватерлоо и второго отречения от престола (1815 г.) вынужден был сдаться англичанам и до конца своих дней

(1821 г.) оставался пленником Англии, живя на о. Святой Елены, расположенном в южной части Атлантического океана. *Приемлемый опалой, Свой ратоборный дух... Суворов испустил.* После своего героического Итальянского похода Суворов был враждебно встречен Павлом I, оказался в опале и вскоре умер (1800 г.). *Цицеронов дом.* Вилла римского государственного деятеля, писателя и оратора Марка Туллия Цицерона (106—43 до н. э.) находилась в Формии, между Римом и Неаполем. *Злачную пещеру... Где спит великий прах властителя стихов*, т. е. римского поэта Публия Вергилия Марона (70—19 до н. э.), автора поэмы «Энеида», похороненного в пещере близ Неаполя. *В мраки Тенара открыл он путь Энею.* В шестой книге «Энеиды» описано посещение Энеем подземного царства, вход в которое, по преданию, находился на мысе Тенар в Древней Греции. Гай *Марий* (155—86 до н. э.) и *Силла* — Луций Корнелий Сулла (138—78 до н. э.) — римские полководцы и государственные деятели. *Мелезы* — мелиссы, многолетние травянистые растения, из которых получают эфирное масло. *Сумрачный поэт, Дитя Британии* — Байрон, в 1817—1823 гг. живший в Италии.

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ПЕЧАТАВШИЕСЯ ПРИ ЖИЗНИ БАРАТЫНСКОГО

198. ТС, с примеч. С. А. Рачинского: «Вот самое раннее из сохранившихся его ⟨Баратынского⟩ русских стихотворений (1817 года), поражающее своей неумелостью в сравнении со стихами французскими... Заслуживают внимания эти стихи лишь как свидетельство той усиленной обработки, коей, вслед за тем, поэт подверг свою стихотворную речь» (ТС. С. 62). Богдан Андреевич *Боратынский* (1769—1820) — дядя поэта. *Племянницы Панчулидзевы* — Анна, Елизавета и Екатерина — дочери М. А. Панчулидзевой, тетки поэта (см. о ней примеч. 1).

199—203. Изд. 1936 (1). Автографы — ПД, в альбоме П. Л. Яковлева.

204. Изд. АН (1). Ст-ние в копии (рукою Л. С. Пушкина) на одном листе с близкой к нему по теме эпиграммой А. С. Пушкина «Как брань тебе не надоела?..» (1820) — ПД. Обе эпиграммы, вероятно, направлены против Николая Андреевича Цертелева (1790—1869) — поэта и критика, члена ВОЛРС, выступавшего с нападками на поэтов романтического направления.

205. ОЗ. 1863, № 8. Есть предположение, что Баратынский написал свою эпиграмму в ответ на эпиграмму, приписывавшуюся О. М. Сомову, а в действительности принадлежащую Н. Ф. Остолопову (см.: Вацуро В. Э. Мнимое четверостишие Баратынского//«Русская литература». 1975, № 4. С. 155—156):

Он щедро награжден судьбой!
Рифмач безграмотный, но Дельвигом прославлен!
Он унтер-офицер, но от побой
Дворянской грамотой избавлен.

Возможно, что Баратынский ответил также на другую эпиграмму неизвестного автора:

Долги на память о поэте
Заимодавцам я дарю,
Мундир мой унтерский — царю,
Стихотворенья — доброй Лете.

(РА. 1901, № 2. С. 358). *Тесак* — холодное оружие с обоюдоострым и плоским клинком.

206. «Вестник Европы». 1894, № 3, с опечаткой в ст. 2 («Москвы» вм. «молвы»), исправляемой по автографу ЦГАЛИ. Обращено к С. Д. Пономаревой (см. о ней примеч. 65).

207. «Известия имп. Академии наук». 1911, № 7. - - Печ. по автографу ПД в альбоме А. В. Лутковской.

208. «Известия имп. Академии наук». 1911, № 7, с опечаткой в ст. 14, исправляемой по автографу ПД. *Варвара Аргунова* — по-видимому, одна из знакомых Баратынского по Финляндии. *Анеточка* — А. В. Лутковская (см. о ней примеч. 25).

209. «Звенья». М., 1935. Т. 5. Датируется по местоположению в списке ст-ний Баратынского, сделанных рукой Н. В. Путяты, который в начале февраля 1825 г. уехал из Финляндии в Петербург. Нет сомнения, что эту эпиграмму Баратынский не предназначал для печати: она направлена против Алексея Андреевича Аракчеева (1769—1834), всесильного временщика в последние годы царствования Александра I. *Скрываясь от очей* и т. д. Несмотря на то что Аракчеев уединенно жил в своем поместье Грузино Новгородской губ., он крепко держал в руках нити государственного правления.

210. ОА. Т. 3, в письме А. И. Тургенева к П. А. Вяземскому от 2 мая 1825 г. - - Печ. по автографу в собрании К. В. Пигарева (Музей-усадьба Мураново им. Ф. И. Тютчева). В письме А. И. Тургенева, в частности, говорится: «Вот что пишет о тебе Баратынский в письме к ---...» (ОА. Т. 3. С. 119), и далее Тургенев приводит отрывок из письма Баратынского к И. И. Козлову от апреля 1825 г.: «Всего досаднее Вяземский. Он образовался в беспокойные времена междуусобий Карамзина с Шишковым, и военный дух не покидает его и поныне 〈следует текст эпиграммы〉. Это экспромт, и я думаю, по стихам оно заметно» (Изд. 1951. С. 482). Дружеская эпиграмма Баратынского была вызвана статьей Вяземского «Жуковский.— Пушкин.— О новой пиитике басен» (МТ. 1825, № 3), направленной против Ф. В. Булгарина, стремившегося в то время внести раскол в лагерь поэтов и писателей пушкинского круга. Пушкину статья Вяземского понравилась. 25 мая 1825 г. он писал ему: «...доволен ли я тем, что ты сказал обо мне в „Тел〈еграфе〉“. Что за вопрос? Европейские статьи так редки в наших журналах! а твоим пером водят и вкус, и пристрастие дружбы» (Пушкин-13. С. 183). Много лет спустя в ст-нии «Литературная исповедь» (1854?) Вяземский вспоминал об эпиграмме Баратынского: «Любил я — как сказал певец финляндки Эды — Кулачные бои, как их любили деды». Позднее, в «Автобиографическом введении», Вяземский писал: «Баратынский говаривал о мне, что в полемических стычках напоминаю я ему старых наших бар, например гр〈афа〉 Алексея Григ〈орье-

вича⟩ Орлова, который любил выходить с чернью на кулачный бой» (Вяземский П. А. Соч. М., 1982. Т. 2. С. 268). Сравните с Пушкиным: «Мне столь же нравится кн. В⟨яземский⟩ в схватке с каким-нибудь журнальным буяном, как и гр⟨аф⟩ Орлов в бою с ямщиком. Это черты народности» (Пушкин-11. С. 90). Об этом же сравнении см. также письмо А. А. Дельвига к Вяземскому от 30 августа 1829 г. (Дельвиг А. А. Соч. Л., 1986. С. 336). Алексей Григорьевич *Орлов* (1737—1807) — граф, генерал-аншеф, военный и гос. деятель, принимавший активное участие в дворцовом перевороте 1762 г., возведшем на престол Екатерину II.

211. Изд. АН (1). Автограф — ЦГАЛИ. На списке ст-ния, хранящемся в архиве Музея-усадьбы Мураново им. Ф. И. Тютчева, дата: 31 ноября (sic!) 1825 г.

212. СН. 1902, кн. 5, в тексте письма Баратынского к П. А. Вяземскому. Датируется на основании письма.

213. РА. 1867, т. 5, вып. 2, в тексте письма Баратынского к Н. В. Путяте (ок. 19 января 1826 г.). Автограф — ЦГАЛИ. Эпиграмма, по признанию Баратынского в указанном письме, направлена против Ф. В. Булгарина (Изд. 1951. С. 487). О Булгарине см. примеч. 35.

214. ЖМНП. 1915, № 3. Автограф — ЦГАЛИ. О попытке переработать ст-ние в самостоятельное произведение при подготовке Изд. 1827 см. подробнее: Филиппович П. П. Об академическом издании стихотворений Е. А. Баратынского//ЖМНП. 1915, № 3. С. 197.

215. Изд. АН (1). Автограф — ЦГАЛИ. Эпиграмма была послана П. А. Вяземским в письме к А. И. Тургеневу 6 января 1827 г. в качестве литературной новинки («Архив братьев Тургеневых». Спб., 1921. Т. 1, вып. 6. С. 56). *Василий непотешный* — Василий Львович Пушкин (1766—1830), поэт, дядя А. С. Пушкина. *Буянов* — герой комической поэмы В. Л. Пушкина «Опасный сосед» (1811), которая, не будучи изданной ввиду своего фривольного содержания, распространялась в многочисленных списках, создавая широкую известность ее автору.

216. Изд. АН (1). Автограф — ЦГАЛИ. Было послано П. А. Вяземским А. И. Тургеневу вместе с предыдущим ст-нием 6 января 1827 г.

217. Сов. 1854, № 10. Автограф — ЦГАЛИ, без загл. Датируется временем женитьбы Баратынского на А. Л. Энгельгардт.

218. Сов. 1854, № 1, искаженный текст в передаче М. Д. Деларю. -- «Вопросы литературы». 1969, № 2, по автографу Баратынского в его письме к В. А. Баратынской — ЦГАЛИ. -- Печ. по автографу. Датируется по содержанию письма.

219. Изд. 1936 (1). Автограф — ГИМ. Эпиграмма направлена против поэта Андрея Николаевича Муравьева (1806—1874), который на вечере у З. Н. Волконской в начале 1827 г. повредил гипсовую статую Аполлона, на пьедестале которой он тут же в свое извинение написал довольно посредственные стихи: «О Аполлон! Поклонник твой Хотел померяться с тобой...» (РА. 1885, № 1. С. 132). Этот эпизод стал предметом для эпиграммы Пушкина «Лук звенит, стрела трепещет...»,

напечатанной под загл. «Эпиграмма (Из антологии)» (МВ. 1827, № 3 — вышел 19 марта). Подробнее об этом эпизоде см.: «Поэты 1820—1830-х годов». Л., 1972. Т. 2. С. 691—692. (Б-ка поэта. БС). Приблизительно в то же время Баратынский написал статью (МТ. 1827, № 4), в которой он скептически отозвался о книге Муравьева «Таврида» (М., 1827), что, по словам самого Муравьева, было для него «жестоким ударом при самом начале литературного поприща» (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985. Т. 2. С. 55).

220. PC. 1871, № 10, как эпиграмма, принадлежащая Д. В. Давыдову, другая ред. - - ЛН. 1952. Т. 58, по автографу Баратынского в тексте письма П. А. Вяземского к В. А. Жуковскому и А. И. Тургеневу от 25 февраля — 12 марта 1827 г. - - Печ. по автографу. В письме говорится: «Баратынский прервал мое письмо. Вот история эпиграммы его: князь Шаликов назвал где-то и как-то Дениса Давыдова трусом, а Денис воюет теперь с персиянами» (ЛН. 1952. Т. 58. С. 62). *Грузинский князь* — П. И. Шаликов (см. о нем примеч. 5) был по национальности грузином. *Героя трусом называл.* В издававшемся Шаликовым «Дамском журнале» (1827, № 17) была напечатана такая эпиграмма:

ГЕРОЙ

Когда кипит с врагами бой
И росс вновь лавры пожинает,
Усатый грозный наш герой
В Москве на дрожках разъезжает.

На глас войны летит он к Куру и т. д. Русско-персидская война (1826—1828), в которой участвовал Давыдов, проходила частью на территории Грузии, в районе реки Куры, где родился Шаликов. *Князь наш держит корректуру* и т. д. Шаликов был редактором «Московских ведомостей», регулярно помещавших реляции (сообщения) о ходе военных действий.

221. РА. 1867, т. 5, вып. 2, по автографу Баратынского в тексте его письма к Н. В. Путяте — ЦГАЛИ. - - Печ. по автографу. Датируется по содержанию письма.

222. Изд. АН (1). - - Печ. по автографу ПД на бумаге с водяным знаком: 1832, среди черновиков второй ред. ст-ния «Притворной нежности не требуй от меня...».

223. Сов. 1854, № 10. В Изд. 1869 и 1884 отнесено к 1832 г. Адресат и основания датировки неизвестны.

224. Изд. 1936 (1). Автограф — ЦГАЛИ. Датируется по письму Баратынского к И. В. Киреевскому (весна 1834 г.), в котором поэт писал: «Посылаю тебе... предисловие в стихах к новому изданию...» (Изд. 1951. С. 525). Ст-ние должно было открывать Изд. 1835. Причины, по которым оно там не было напечатано, не установлены.

225. Сов. 1854, № 10. Эпиграмма направлена против В. Г. Белинского, ставшего в конце 1839 г. сотрудником ОЗ, которые в то время издавал А. А. Краевский. Ср. с отзывом об этом же Н. Ф. Павлова который 20 января 1840 г. писал В. Ф. Одоевскому: «Вы выписали Бе-

линского... Этот мортус ⟨служитель, занимавшийся трупами во время чумы (лат.)⟩ отправил похороны „Телескопа“ и „Наблюдателя“» (РС. 1904, № 4. С. 198). Можно предполагать, что переезд Белинского в Петербург широко обсуждался в литературных кругах Москвы именно с позиций неприязненного отношения к острым и категорическим выступлениям Белинского в печати, несмотря на то, что «Телескоп» и «Московский наблюдатель» прекратили существование отнюдь не по вине критика. *Журнальный негоциант* — Андрей Александрович Краевский (1810—1889), издатель и журналист.

226. Изд. АН (1). По всей вероятности, в ст-нии нашли отражения впечатления от пребывания поэта в Петербурге зимой 1840 г.

227. РА. 1890, № 1, под загл. «Е. Баратынский. Об одном литературном кружке», с вар. ст. 3, 5, 7. - - Изд. АН (1). По свидетельству П. И. Бартенева, не было пропущено в сборник «Сумерки» из-за двух последних ст. (РА. 1911, № 8. С. 512). Обращено к ранее близкому Баратынскому кругу московских литераторов, объединившихся и образовавших славянофильский орган — журнал «Москвитянин». В мае 1842 г. в письме к Н. В. Путяте Баратынский назвал их «организованной коттерией» (Изд. 1957. С. 370). Позднее к этому письму А. Л. Баратынская сделала приписку: «Баратынский упоминает в этом письме о коттерии московских литераторов, которая вредно действовала на его нежную, раздражительную душу. Какое влияние развивало в нем подозрения, и были ли они болезненными снами воображения или не вовсе снами, как он сам выразился,— здесь не место это разбирать: «Сумерки», изданные в 1842 г., носят многие следы мрачных впечатлений, полученных им в то время» (Изд. 1982. С. 646—647). Было переведено Баратынским на французский язык. *Коттерия* (фр.) — общество заговорщиков. *Аминь, аминь,— вещал он вам* и т. д. Ироническое перефразирование с обратным смыслом евангельского изречения: «Истинно, истинно, говорю вам, где двое или трое соберутся во имя мое, там я среди них» (Матф., 18, 20).

228. «Русская беседа». 1859, кн. 2, без ст. 5—8, 13—16, с вар. ст. 2, 4. - - Изд. 1869, с вар. ст. 9. - - Изд. АН (1). Публикация в «Русской беседе» сопровождалась редакционной заметкой, в которой говорилось: «Стихи эти посланы нам П. И. Бартеневым из Дрездена, при следующем замечании: „Живя в Москве, Баратынский несколько месяцев сряду не мог ничего писать и все жаловался на скуку. Вдруг журнальные рецензии, в которых почти никогда не отдавалось должной цены его произведениям, или какие-то другие неприятности пробудили его из этого усыпления. Он снова и деятельно принялся за работу, и когда его раз спросили, отчего в нем произошла такая быстрая перемена, он отвечал прилагаемым осьмистишием, случайно уцелевшим в памяти одной дамы, которая была коротко знакома с Баратынским. С ее позволения я не преминул записать эти восемь строк...“» *Как богоизбранный еврей* и т. д. Имеется в виду Иисус Навин; по библейской легенде, войско его одержало победу над филистимлянами; причем солнце тогда не заходило до той поры, пока все враги не были уничтожены. *Флакк* — Квинт Гораций Флакк (см. о нем примеч. 9).

229. Сов. 1844, т. 36, № 12. Датируется по Изд. 1869.

***230.** «Вчера и сегодня: Лит. сборник, составленный В. А. Соллогубом». Спб., 1846, кн. 2, под загл., не принадлежащим Баратынскому: «Опять весна», с вар. ст. 20, 29—30. - - Изд. 1869, с иным вар. ст. 20. - - Печ. по Изд. 1869, с исправлением ст. 20 по черновому автографу ПД. Второй автограф (также ПД) содержит ряд черновых набросков. Несмотря на незавершенность, ст-ние является одним из наиболее характерных для поздней лирики Баратынского. В его основе лежат конкретные факты биографии поэта, сажавшего в Муранове лес осенью 1842 г. В 1846 г., объясняя смысл ст-ния Я. К. Гроту, П. А. Плетнев писал: «У Баратынского «сокрытый ров» означает намек на разные пакости, которые в Москве делали ему юные литераторы, злобствуя, что он не делит их дурачеств... «Свои рога» есть живописное изображение глупца в виде рогатой скотины. Все последние четыре стиха оттого непонятны, что я не припечатал объяснения, бывшего в подлиннике. Баратынский это писал, насадивши в деревне рощу дубов и елей, которую и называет здесь дитятею поэзии «таинственных скорбей», выражая последними словами мрачное расположение души своей, в каком он занимался и до которого довели его враги литературные» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Спб., 1896. Т. 2. С. 728—729). Объяснение Плетнева полного доверия не заслуживает, так как не «юных литераторов» кружка Н. В. Станкевича, который к этому времени уже распался, Баратынский, несомненно, имел в виду, а тех писателей, которые сгруппировались вокруг «Москвитянина». *Праг* — порог. *Хрящ* — здесь: почва, поприще.

***231.** Сов. 1844, т. 36, № 12. Черновой автограф ранней ред.— ПД. Датируется предположительно 1843 г., так как автограф находится на одном листе с черновым автографом ст-ния «На посев леса».

232. Сов. 1854, № 10. В «Материалах для биографии Е. А. Баратынского» об этом ст-нии говорится: «Италия, более прочих стран, привлекала поэта. Живые рассказы о ней дядьки-италианца... еще с детства глубоко запечатлелись в его воображении и навсегда сохранились в памяти его. Исторические воспоминания, роскошная природа и памятники искусств этой страны всегда манили его к себе. Однажды, еще в Москве, он воскликнул экспромтом: „Небо Италии, небо Торквата...“ и т. д.» (Изд. 1869. С. 399).

233. Сов. 1844, т. 36, № 10. Обращено к жене поэта А. Л. Баратынской (см. о ней примеч. 155). В «Материалах для биографии Е. А. Баратынского» указано, что ст-ние было написано «в Париже в 1844 году» (Изд. 1869. С. 395). Было переведено Баратынским на французский язык.

ПОЭМЫ

***234.** Сор. 1821, ч. 13, № 3, другая ред. - - ЭП, с эпиграфом: «Воображение раскрасило тусклые окна тюрьмы Серванта. Стерн» и предисловием: «Сия небольшая поэма писана в Финляндии. Это своеобразная шутка, которая, подобно музыкальным фантазиям, не подлежит строгому критическому разбору. Сочинитель писал ее в веселом расположении духа; мы надеемся, что не будут судить его сердито», с вар. ст. 2—8, 14—15, 23—24, 32, 36—40, 79, 114—119, 180—184.

- - Изд. 1835, с ценз. искажениями ст. 118—119, исправляемыми по экземпляру ЭП, принадлежавшему П. А. Вяземскому,— ЦГАЛИ. В этом экземпляре, подаренном Вяземскому Баратынским, поэт в числе других исправлений восстановил и подлинное чтение ст. 118—119 (см.: Нечаева В. С. Из архива Баратынского//«Утренники». Пг., 1922. Кн. 1. С. 66—71). Фрагмент чернового автографа промежуточной ред.— ПД. После восстания декабристов издание ЭП (ценз. разр. 26 ноября 1825 г.) вновь подверглось ценз. рассмотрению. В марте 1826 г. Дельвиг писал Баратынскому: «Цензура совсем готовую книжку остановила и принудила нас перепечатать по ее воле листок «Пиров». Напрасно мы хотели поставить точки или сказать: «Оно и блещет, и кипит, Как д е р з к и й ум не терпит плена». Нет! На все наши просьбы суровый отказ был ответом. Взгляни на свой экземпляр, потряси его, листок этот выпадет» (Дельвиг А. А. Соч. Л., 1986. С. 314). О том же осенью 1826 г. В. А. Жуковский писал П. А. Вяземскому: «Что говорить мне о новых надеждах, когда цензура глупее старого, когда Баратынскому не позволяют сравнивать шампанского с пылким умом, не терпящим плена?» (ОА. Т. 5, кн. 2. С. 160). В этих письмах речь идет о ст. 118—119, которые в ЭП были заменены следующими: «Она отрадою кипит, Как дикий конь, не терпит плена». «Пиры» были одобрены на заседании ВОЛРС 13 декабря 1820 г. (УР. С. 390). Будучи изданной, поэма, благожелательно встреченная критикой, надолго закрепила за Баратынским прозвание «певца „Пиров“» (см.: Пушкин «Послание к цензору», 1821; «Евгений Онегин», гл. 3, строфа XXX; Дельвиг «Н. М. Языкову», 1822 и др.). *Соломон* — иудейский царь (ок. 965—928 до н. э.), автор библейской книги «Песнь песней»; нарицательно — мудрец. *Ком* (греч. миф.) — бог пиршеств. *В углу безвестном Петрограда* и т. д. В поэме рассказывается о действительно имевших место дружеских пирушках молодых поэтов в 1818—1820 гг., которые следовали литературным традициям веселых эпикурейских застолий.

***235.** М, под загл. «Отрывки из поэмы „Эда“», ст. 190—244, 458—522, 571—599, с вар., с пропуском ст. 223—229, замененных точками, и примеч.: «Точки поставлены самим сочинителем». - - ПЗ-25, под загл. «Зима (Отрывок из повести «Эда»)», ст. 571—599, с вар. - - МТ. 1825, № 22, под загл. «Финляндия», ст. 30—46, с вар., с примеч.: «Из повести„Эда“». - - ЭП, с эпиграфом: «On broutte là ou l'on est attaché. Proverbe» («Где привязан, там и пасется. Поговорка».— фр.), с предисловием (см. «Приложения», с. 326), другая ред., с ценз. пропуском ст. 431—434. - - Изд. 1835. Автограф ранней ред. начала поэмы— ПД. Экземпляр ЭП, принадлежавший П. А. Вяземскому, с авторскими исправлениями и вставкой ст. 431—434 — ЦГАЛИ. «Эда» создавалась в 1824—1825 гг. 31 октября 1824 г. Баратынский писал А. И. Тургеневу: «...может быть, я поступлю нескромно, ежели скажу вам, что я написал небольшую поэму, и ежели попрошу у вас позволения доставить вам с нее список» (Изд. 1951. С. 472). А в письме к И. И. Козлову от 7 января 1825 г. поэт сообщал: «...худо ли, хорошо ли, а все же я окончил мое писанье. Мне кажется, что я увлекся немного тщеславием: мне не хотелось идти избитой дорогой, я не хотел подражать ни Байрону, ни Пушкину; вот почему я и вдался в разные прозаические подробности, усиливаясь их излагать стихами, и вышла у меня лишь рифмованная проза. Я желал быть оригинальным, а оказался только странным!» (Изд. 1951. С. 473). Несмотря на то, что 25 января 1825 г. Баратынский послал список поэмы А. И. Тургеневу (Изд. 1951.

с. 475), работа над нею продолжалась, о чем можно судить, во-первых, по отрывку конца поэмы, посланному 26 февраля 1825 г. А. И. Тургеневым П. А. Вяземскому и дающему его раннюю ред. (ОА. Т. 3. С. 100), а во-вторых, по тому, что отрывок, напечатанный в МТ, как это видно из письма Баратынского к Н. В. Путяте от января 1826 г. (Изд. 1951. С. 487), был написан во второй половине 1825 г. В ранней ред. поэмы имелся «Эпилог», который вместе с другими отрывками из «Эды» был предназначен для публикации в «Мнемозине». Однако цензурой он не был пропущен, и тогда Н. В. Путята послал его в Петербург А. А. Муханову (см. письмо Путяты к А. А. Муханову от 9 марта 1825 г.//РС. 1905, № 3. С. 524), по всей вероятности, для передачи К. Ф. Рылееву и А. А. Бестужеву, готовившим к печати альм. «Звездочка». В связи с восстанием декабристов альм. в свет не вышел; «Эпилог» был впервые опубликован много лет спустя в кн.: Давыдов Д. Соч. М., 1860. Ч. 3. С. 196, среди произведений, посвященных Давыдову. К копии эпилога, сделанной Н. В. Путятой, его же рукой позднее было вписано примеч.: «„Эпилог“ этот написан в 1824 году в Гельсингфорсе, в то время, когда была кончена вся повесть Эды; но Баратынский не хотел напечатать его в том виде, как он вылился из-под пера в первую минуту вдохновенья. Он находил, что некоторые выражения могут показаться обидными и неверными для покоренного народа. По беспечности или по другим причинам он не исправил его, и „Эда“ вышла в свет без „Эпилога“» (Изд. 1936 (2). С. 306). Не включил поэт «Эпилог» и в Изд. 1835. Нет его и в Изд. 1869 и 1884. В настоящем изд. «Эпилог», в соответствии с общими принципами подготовки текста, помещается в разделе «Другие редакции и варианты». После выхода ЭП, в марте 1826 г., Дельвиг писал Баратынскому: «Во всей „Эде“ значительная ошибка: „когда смятешь ты, вьюга“ ⟨ст. 595, вм.: сметешь⟩. Четыре стиха, которые тебе кажутся очень нужными для смысла, выкинула цензура ⟨ст. 431—434⟩. Мы советовались с Жуковским и прочими братьями, и нам до сих пор кажется, что без них смысл не теряется, напротив, видно намерение автора дать читателю самому вообразить соблазнительную сцену всей поэмы» (Дельвиг А. А. Соч. Л., 1986. С. 314). Суждения современников о поэме не совпадали. Так, А. А. Бестужев, не увидевший в ней гражданских мотивов, 9 марта 1825 г. писал Пушкину, что он «перестал веровать в его ⟨Баратынского⟩ талант. Он исфранцузился вовсе. Его «Эда» есть отпечаток ничтожности и по предмету и по исполнению» (Пушкин-13. С. 150). Однако сам Пушкин, который из письма к нему Дельвига (Пушкин-13. С. 108) узнал о работе Баратынского над поэмой еще в сентябре 1824 г., сохранял к ней неизменный интерес и неоднократно просил прислать к нему в Михайловское список поэмы. Об известной оценке «Эды», данной им в письме к Дельвигу от 20 февраля 1826 г., см. вступ. статью, с. 29. В противовес Ф. В. Булгарину, заявившему, что в поэме Баратынского «скудость предмета имела действие и на образ изложения: стихи, язык в этой поэме не отличные» («Северная пчела». 1826, 16 февраля), Н. А. Полевой в рецензии на «Эду» писал о ней как о «новом мастерском доказательстве таланта Баратынского», утверждая, что в поэме «сцены занимательные», «положения поразительные», и обращал внимание на «искусство Баратынского переносить смысл из стиха в стих» (МТ. 1826, № 5. С. 62—75). Два года спустя Пушкин вспоминал: «...появление „Эды“, произведения столь замечательного оригинальной своею простотою, прелестью рассказа, живостью красок и очерком характеров, слегка, но мастерски означенных,— появление „Эды“ подало только повод к неприличной статейке

в „Северной пчеле“ и слабому возражению, кажется, в „Московском телеграфе“» (Пушкин-11. С. 74). А еще через два года Пушкин в своей незавершенной статье о Баратынском, обращаясь к читателям, писал: «...перечтите сию простую, восхитительную повесть: вы увидите, с какою глубиною чувства развита в ней женская любовь» (Пушкин-11. С. 186—187). Самому же Баратынскому Пушкин еще в 1826 г., по прочтении «Эды», написал:

Стих каждый повести твоей
Звучит и блещет, как червонец,
Твоя чухоночка, ей-ей,
Гречанок Байрона милей,
А твой зоил прямой чухонец.

Кникс — книксен (нем.) — поклон с приседанием, реверанс. *Буйный швед опять* и т. д. Формальным поводом к войне России со Швецией послужило нежелание Швеции в то время присоединиться к заключенному в результате Тильзитского мира (1807) союзу Франции и России против Англии.

236. СЦ-27, с подзаг.: «С французского», с вар. ст. 1—2, 29, 50, 58, 83—86. - - Слав. 1827, № 8, с ред. примеч. к загл.: «Телема — значит Желание, Макар — Счастие. Оба сии слова греческие», с вар. ст. 3, 4, 6, 24, 27—30, 40—41, 43—44, 49—50, 52—54, 58, 77, 83—86, 116. - - Изд. 1835, с ценз. искажениями ст. 29 («Приходит ко двору она»), 55 («Приют от бурь житейских нам»), 83—86 («Вот Магистрат. Она пред ним Глаза зажмурила и дале; О нет, с возлюбленным моим Не встречусь я в судебной зале»), устраняемыми по автографу ПД. О ценз. искажениях прижизненных изд. поэмы см.: Изд. 1957. С. 384, а также: Заборов П. Р. Русская литература и Вольтер: XVIII — первая треть XIX века. Л., 1978. С. 205. Вольный перевод сказки Вольтера «Télèma et Macare» (1764), сюжет которой был более приближен поэтом к русскому быту и в которой он опустил при переводе нравоучительное заключение. До Баратынского данное произведение Вольтера переводили Н. П. Николев, М. М. Херасков и А. Х. Востоков.

***237.** МТ. 1827, № 1, под. загл. «Отрывок из поэмы», ст. 1—56, с вар. ст. 5, 7—13, 18, 31—32, 42, 44, 52—54. - - СЦ-28, под загл. «Отрывок из поэмы „Бальный вечер“», ст. 471—518, с вар. ст. 483, 488. - - ДП, с вар. ст. 5, 7—13, 271, 285, 293, 327—332, 336, 527, 539, 551, 578, 582, 598, 615. - - Изд. 1835. Имеются три автографа: начало поэмы (ст. 1—167) — ПД; промежуточная ред. начала поэмы (ст. 1—43) — ПД; фрагмент начала поэмы в ранней ред. (ст. 5—32) в письме к Н. В. Путяте от марта 1825 г.— ЦГАЛИ. Начата поэма была в 1825 г. Первое упоминание о ней Баратынского находим в указанном письме: «Пишу новую поэму. Вот тебе отрывок описания бала в Москве» (Изд. 1951. С. 479). В следующем письме к Путяте (от 29 марта 1825 г.) Баратынский сообщил: «Стихов 200 у меня уже написано» (Изд. 1951. С. 480). В апреле 1825 г. он доверительно известил И. И. Козлова: «Я до половины написал новую небольшую поэму. Что-то из нее выйдет!» (Изд. 1951. С. 480). Начало поэмы (ст. 5—42), под загл. «Отрывок из поэмы „Бальный вечер“», с подписью: Е. Б. и датой: Декабрь 1825 г., предполагалось опубликовать в альм. «Звездочка», печатание которого остановилось после восстания декабристов (см. об этом: РС. 1883, № 7. С. 43—100). Работа же над поэмой продолжалась до осени 1828 г., и только 7 октября 1828 г., по свидетельству А. Н. Вульфа, Дельвиг при-

вез из Москвы в Петербург законченную поэму Баратынского «Бал» (Пушкин и его современники. Спб., 1915. Вып. 21/22. С. 14). Издание «Бала» вызвало разноречивые отзывы критики. Противники романтического направления, Н. И. Надеждин («Вестник Европы». 1829, № 2 и № 3), П. И. Шаликов («Дамский журнал». 1829, № 4) и др., обвиняли поэта в «безнравственности» и подражательности. Однако большинство критиков благожелательно встретило новое произведение Баратынского, в числе которых были Ф. В. Булгарин («Северная пчела». 1828, 15 декабря), Н. А. Полевой (МТ. 1828, № 24), О. М. Сомов (СЦ-29) и др. Последний, в частности, отмечал «заманчивый ход поэмы, движение, быстроту рассказа, верность описаний, свежесть красок и неожиданную, поразительную развязку» (СЦ-29. С. 107). И. В. Киреевский в «Обозрении русской словесности 1829 года» (Д-30) говорил, что «эта поэма превосходит все прежние сочинения Баратынского изящностью частей, наружною связью целого и совершенством отделки» (Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 70). Пушкин в незавершенной статье, посвященной «Балу», писал, что «сие блестящее произведение исполнено оригинальных красот и прелести необыкновенной» (Пушкин-11. С. 75). По признанию Баратынского в письме к Н. В. Путяте от 29 марта 1825 г. (Изд. 1951. С. 480), прототипом героини поэмы Нины послужила А. Ф. Закревская (см. о ней примеч. 83). *В сюрах шесть.* Карточный термин, означающий, что игрок обязуется, объявив черви козырями, получить не менее шести взяток. *Пенелопа* (греч. миф.) — героиня «Одиссеи» Гомера, жена Одиссея, долгие годы ожидавшая возвращения мужа; образ верной жены. *Людмила* — героиня одноименной баллады В. А. Жуковского (1808). *Медея* (греч. миф.) — царевна Колхиды, волшебница, ставшая женой предводителя аргонавтов Язона; с помощью Гекаты, богини тьмы и чародейства, из чувства мести умертвила нескольких близких, в том числе своих детей. *Лаиса* — древнегреческая гетера; в нарицательном смысле: женщина легкого поведения. *Нинона* — Нинон де Ланкло (1616—1706) — знаменитая своей красотой французская куртизанка. *Адонис* (греч. миф.) — юноша необычайной красоты, возлюбленный Афродиты. *Журнал дамский.* Речь идет о «Дамском журнале», издававшемся П. И. Шаликовым (см. о нем примеч. 5), который на Баратынского и Пушкина (поскольку их поэмы вышли под одной обложкой) написал эпиграмму («Дамский журнал». 1829, № 4):

Два друга, сообщась, две повести издали,
Точили *балы* в них и всё *нули* писали;
Но слава добрая об авторах прошла,
И книжка вдруг раскуплена была.
Ах, часто вздор плетут известные нам лицы!
И часто к их *нулям* мы ставим единицы.

***238.** СЦ-29, с вар. - - Изд. 1835. Отсутствие поэмы в Изд. 1827 и свидетельство А. Н. Вульфа о том, что поэма вместе с «Балом» была привезена Дельвигом из Москвы в Петербург 7 октября 1828 г. (Пушкин и его современники. Спб., 1915. Вып. 21/22. С. 14), позволяют датировать ее 1828 г. *Мемфис* — столица Древнего Египта. *Озирид* — Озирис (егип. миф.) — бог солнца. *Апис* (егип. миф.) — бог плодородия в облике быка. *Изида* (егип. миф.) — жена Озириса, богиня плодородия, воды и ветра; символ женской верности. *Священный кот.* Кошка в Древнем Египте считалась одним из священных живстных.

***239.** Д-30, под загл. «Отрывок из поэмы», ст. 13—60, с вар. - - СЦ-31, под загл. «Новинское (отрывок из II главы романа „Наложница“)», ст. 138—168. - - Там же, под загл. «Сара (отрывок из романа „Наложница“, гл. 5-я)», ст. 387—545, с вар. ст. 388, 406—408, 435, 478—479, 544—545. - - Альм. «Альциона на 1831 год». Спб., 1831, под загл. «Отрывок из романа „Наложница“», ст. 61—92. - -Н, с предисловием (см. «Приложения», с. 326), с посвящением поэмы Алексею Андреевичу Елагину (ум. 1846), отчиму И. В. Киреевского, другая ред. - - Изд. 1835, без предисловия, та же ред., что и в Н, с вар. - - Изд. 1869, по переработанной в 1842 г. ред., с неточно воспроизведенным предисловием к Н. - - Печ. по копии А. Л. Баратынской (ПД), подготовленной в 1842 г. для нового, но не осуществленного издания поэмы. Автограф предисловия к Н — ЦГАЛИ. Начало работы над поэмой относится к 1829 г. 29 ноября этого года Баратынский писал И. В. Киреевскому: «По приложенным стихам ты увидишь, что у меня новая поэма в пяльцах, и поэма ультраромантическая. Пишу ее очертя голову» (Изд. 1951. С. 493). Менее чем через месяц (20 декабря 1829 г.) Баратынский сообщил о поэме и П. А. Вяземскому: «Я пишу поэму. В альманахе Максимовича вы найдете один из нее отрывок. Боюсь, не чересчур ли он романтический» (СН. 1902, кн. 5. С. 47—48). Баратынский, судя по его письмам, придавал большое значение своей поэме и считал ее лучшим своим произведением. Летом 1831 г., после выхода книги, он писал Н. В. Путяте: «Не спорю, что в „Наложнице“ есть несколько стихов небрежных, даже дурных, но поверь мне, что вообще автор „Эды“ сделал большие успехи в своей последней поэме. Не говорю уже о побежденных трудностях, о самом роде поэмы, исполненной движения, как роман в прозе, сравни беспристрастно драматическую часть и описательную: ты увидишь, что разговор в „Наложнице“ непринужденнее, естественнее, описания точнее, проще. Собственно же дурных мест в „Эде“ гораздо больше, чем в „Саре“ ⟨т. е. «Наложнице»⟩. В последней можно критиковать стих, выражение; а в „Эде“ целые тирады, например: весь разговор гусара с Эдой в первой песне. Обыкновенно мне мое сочинение кажется хуже прежних, но, перечитывая „Наложницу“, меня всегда поражает легкость и верность ее слога в сравнении с прежними моими поэмами. Ежели в „Наложнице“ видна некоторая небрежность, зато уж совсем не заметен труд; а это-то и нужно было в поэме, исполненной затруднительных подробностей, из которых должно было выйти совершенным победителем или не браться за дело» (Изд. 1951. С. 495). Однако успеха поэма не имела. Суждения критиков были, в основном, отрицательными. Доброжелательный отклик на появление поэмы был напечатан в ЛГ. В нем говорилось, что «красоты в целом и в частях романа дают ему полное право на одно из лучших мест в числе произведений литературы европейской» (ЛГ. 1831, 11 мая). Об этой рецензии в июле 1831 г. Баратынский писал И. В. Киреевскому: «Я прочел в „Литературной газете“ разбор „Наложницы“ весьма лестный и весьма неподробный. Это — дружеский отзыв. Что-то говорят недруги? ...Я намерен отвечать на критики» (Изд. 1951. С. 497). Среди тех, кого имел в виду Баратынский, были Н. А. Полевой, который писал, что в поэме «ни основная мысль, ни подробности, н и д а ж е с т и х и не удовлетворяют самого снисходительного критика» (МТ. 1831, № 6, С. 238), и Н. И. Надеждин, по словам которого «Наложница» была произведением «ничтожным» и «составлена кое-как из произвольного сцепления случаев» («Телескоп». 1831, № 10. С. 237). Баратынский, живя в то время в Каймарах (казанском имении Энгельгардтов), в письме от 21 сентября 1831 г. призна-

вался И. В. Киреевскому: «Критик на „Наложницу" я не читал: я не получаю журналов. Ежели б ты мог мне прислать № „Телескопа", в котором напечатано возражение на мое предисловие, я бы непременно отвечал, и отвечал дельно и обширно. Я еще более обдумал мой предмет со времени выхода в свет „Наложницы", обдумал со всеми вопросами, к нему прикосновенными, и надеюсь разрешить их, ни в чем не противореча первым моим положениям» (Изд. 1951. С. 501). В ноябре 1831 г., получив присланный Киреевским журнал, Баратынский писал ему: «Я прочел критику Надеждина. Он во всем со мной согласен, только укоряет меня в том, что я будто полагаю, что изящество не нужно изящной литературе; между тем как я очень ясно сказал, что не говорю о прекрасном, потому что буду понят не многими. Критика эта меня порадовала; она мне показала, что я вполне достигнул своей цели: опроверг убедительно для всех общий предрассудок и что всякий несколько мыслящий читатель, видя, что нельзя искать нравственности литературных произведений ни в выборе предмета, ни в поучениях, ни в том, ни в этом, заключит вместе со мною, что должно искать ее только в истине или прекрасном, которое не что иное, как высочайшая истина» (Изд. 1951. С. 507). В этих письмах поэт говорил о цитированной выше статье Н. И. Надеждина, посвященной, в основном, разбору предисловия к поэме. «Вся беда,— писал критик,— произошла от того, что в мыслях исследователя понятие изящной литературы не отличается от понятия литературы в общем значении» («Телескоп». 1831, № 10. С. 231). Баратынский ответил Надеждину «Антикритикой» (Е. 1832, № 2), в которой были развиты основные положения его предисловия о нравственности литературных произведений. И. В. Киреевский в «Обозрении русской литературы за 1831 год» (Е. 1832, № 1) уделил «Наложнице» особое внимание. Отметив, что она «отличается от других поэм Баратынского большею зрелостью в художественном отношении», он дал анализ «общего характера его поэзии», способного переносить «в атмосферу музыкальную и мечтательно просторную». «Это направление,— по мнению критика,— яснее, чем в других поэмах, выразилось в его „Наложнице"» (Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 109, 111). Ознакомившись со статьей Киреевского, Баратынский 22 февраля 1832 г. написал ему: «Разбор „Наложницы" для меня — истинная услуга. ... Ты меня понял совершенно, вошел в душу поэта, схватил поэзию, которая мне мечтается, когда я пишу. Твоя фраза: „переносит нас в атмосферу музыкальную и мечтательно просторную" заставила меня встрепенуться от радости, ибо это-то самое достоинство я подозревал в себе в минуты авторского самолюбия, но выражал его хуже» (Изд. 1951. С. 515). Пушкин, по прочтении отрывков поэмы в СЦ-31, 7 января 1831 г. писал П. А. Плетневу, что «поэма Баратынского — чудо» (Пушкин-14. С. 142). Иначе расценил эти же отрывки С. А. Соболевский, писавший из-за границы С. П. Шевыреву: «„Наложница" Баратынского мне не нравится» (РА. 1909, № 7. С. 498). Е. М. Хитрово в письме к П. А. Вяземскому от 21 мая 1831 г. высказалась гораздо пространнее и резче: «Нет, я не могу восхищаться „Наложницей", и я в этом покаялась Пушкину. Я даже вовсе не нашла в ней автора „Бала". Всё это бесцветно, холодно, без энергии и особенно без всякого воображения. Герой — дурак, никогда не покидавший Москвы. Я не могу его себе иначе представить, как в дрянном экипаже или в грязной передней» (Письма Пушкина к Елизавете Михайловне Хитрово. 1827—1832. Л., 1927. С. 113 и 167).

Глава 2. *Своим пенатам возвращенный* — цитата из «Евгения Онегина» (гл. 2, строфа XXXVII). *Новинское.* См. примеч. 187. *Кле-*

пер — немецкая порода лошадей, которые после дрессировки могли выбирать по заказу нужные цифры.

Глава 5. *Примите исповедь мою* — цитата из «Евгения Онегина» (гл. 4, строфа XII). *Свою запутанную совесть Он перед Верой обнажил.* Перекличка со ст. Пушкина: «Свою доверчивую повесть Он простодушно обнажал» («Евгений Онегин», гл. 2, строфа XIX).

Глава 6. *Кокетка записная.* Ср. с Пушкиным: «Как рано мог уж он тревожить Сердца кокеток записных!..» («Евгений Онегин», гл. 1, строфа XII). Об этом выражении, имевшем почти идиоматическое значение, см.: Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. Л., 1983. С. 136.

Глава 8. *Египетское племя.* Родиной цыган долгое время считался Египет, тогда как на самом деле они являются выходцами из Индии.

ПРИЛОЖЕНИЯ

I. СТИХОТВОРЕНИЯ, НАПИСАННЫЕ В СОАВТОРСТВЕ С ДРУГИМИ ПОЭТАМИ

240. «Исторический вестник». 1883, № 2, как ст-ние, принадлежащее Пушкину. Написано Баратынским и Дельвигом в 1819 г. во время их совместного проживания в Петербурге на улице, где располагались казармы 5-й роты Семеновского полка (ныне — Рузовская ул.). Позднее К. А. Полевой писал, что весной 1827 г. на одном из вечеров у Н. А. Полевого Пушкин «...вспоминал шутливые стихи Дельвига, Баратынского и заставил последнего припомнить написанные им с Дельвигом когда-то рассказы о житье-бытье в Петербурге. Его особенно смешило то место, где в наших гекзаметрах изображалось столько же вольное, сколько невольное убожество обоих поэтов, которые „в лавочку были должны, руки держали в карманах (перчаток они не имели!)“» (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985. Т. 2. С. 69—70). Об этом же ст-нии, сложенном «когда-то вместе с Баратынским» Дельвигом, писала и А. П. Керн (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985. Т. 1. С. 431). Можно предположить, что основная доля участия в написании ст-ния принадлежала Дельвигу, в творчестве которого «гекзаметра священные напевы» (Пушкин) занимают значительное место. *«Какое в россиянах чувство!»* — реминисценция ст. Г. Р. Державина: «Какое чувство в россиянах» («Водопад», 1791—1794).

241. Изд. 1936 (1), по списку ПД, в который той же рукою внесены дополнительно «Куплеты, прибавленные посторонним»:

Барон я, баловень Парнаса,
В Лицее я учился, спал
И с Кюхельбекером попал
В певцы 15-го класса.

Я унтер, но я сын Пегаса;
В стихах моих: былое, даль,
Вино, иконы... очень жаль,
Что я 15-го класса.

Остер, как унтерский тесак;
Хоть мыслями я не обилен,
Но в эпитéтах звучен, силен —
И Дельвиг сам не пишет так.

Это прибавление указывает на то, что авторами ст-ния «Певцы 15-го класса» были Баратынский, названный в прибавлении унтером (см. его ст-ние под № 205 и примеч. к нему), и Дельвиг. Датируется предположительно 1823 г., так как упоминаемый перевод «Федры» («Федоры») Расина, сделанный М. Е. Лобановым, был издан в 1823 г.; сведения о других литературных произведениях относятся к 1819—1822 гг. *Певцы 15-го класса,* т. е. находящиеся вне всяких категорий, поскольку в табели о рангах самым низшим был 14-й класс. *Князь Шаховской согнал с Парнаса* и т. д. В «Прологе в стихах и прозе» к водевилю Александра Александровича Шаховского (1777—1846) «Новости на Парнасе, или Торжество муз» (поставлен 10 июля 1822 г.) Водевиль, Журнал и Мелодрама, олицетворяющие бездарных поэтов и вступившие в состязание с музами, с позором изгоняются с Парнаса. *Не мог он оседлать Пегаса* и т. д. Речь идет об Александре Ефимовиче Измайлове (1779—1831), поэте, баснописце, издателе «Благонамеренного», председателе «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств», пользовавшемся большим расположением к нему Д. И. Хвостова. В квартире Измайлова, жившего на Песках (район Лиговской ул.), проходили известные литературному Петербургу собрания писателей. *Я перевел по-русски Тасса* и т. д. Имеется в виду Николай Федорович Остолопов (1783—1833), член того же общества, который перевел «Бдения Тассо» Дж. Компаньоли, выдававшиеся за подлинные сочинения Тассо (2-е изд. под загл. «Тассовы мечтания» вышло в Петербурге в 1819 г.). *Во сне я не видал Парнаса* и т. д. Здесь говорится о В. И. Панаеве (см. о нем примеч. 86). *Поймав в Париже Сен-Томаса* и т. д. Речь идет об Оресте Михайловиче Сомове (1793—1833), посетившем в 1819—1820 гг. Париж. Август де Сен-Тома — французский писатель, которому Сомов оказывал помощь в переводе на французский язык «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина. Кроме того, Сомов перевел из Сен-Тома «Отрывок из нового романа „Разлука на восемь дней, или Гостиница на горе Парнас"» (Б. 1821, №№ 19—20). *Я конюхом был у Пегаса* и т. д. Имеется в виду Михаил Евстафьевич Лобанов (1787—1846), писатель, драматург, переведший «Федру» («Федору») Расина (Спб., 1823). Ср. с отзывом Пушкина об этом переводе в письме к Л. С. Пушкину от начала февраля 1824 г.: «Кстати о гадости — читал я „Федру" Лобанова — хотел писать на нее критику — перо вывалилось из рук. И об этом у вас шумят, и это называют ваши журналисты прекраснейшим переводом известной трагедии г. Расина» (Пушкин-13. С. 86). *Княжевич* Дмитрий Максимович (1783—1844) — писатель, этнограф, археолог, член «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств». *Хотел достигнуть я Парнаса* и т. д. Имеется в виду Д. И. Хвостов (см. о нем примеч. 14), печатавший свои произведения за собственный счет. *Кой-что я русского Парнаса* и т. д. Имеется в виду Александр Степанович Бируков (1772—1844) — цензор (с 1821 г.) Петербургского ценз. комитета. *Сиречь* — то есть.

242. «Русский вестник». 1842, № 1 (где опубликовано явно без ведома автора) ст. 1—7, ст. 1: «Наш приятель Пустяков», без подписи. - - «Полярная звезда на 1858 г.». Лондон; Женева, 1858, под загл. «Льву

Сергеевичу Пушкину», как ст-ние Пушкина. - - «Библиографические записки». 1858, № 12, без загл. и также как принадлежащее Пушкину. В рукописном сборнике М. Н. Лонгинова — С. Д. Полторацкого (ГБЛ) это ст-ние снабжено примеч. С. А. Соболевского: «Дельвига, Баратынского, самого Льва и компании». Он же после публикации ст-ния в «Библиографических записках» писал М. Н. Лонгинову: «Зачем печатают они глупости и приписывают их Пушкину? „Наш приятель, Пушкин Лёв“ — точно так же написано Алекс⟨андром⟩ Пушкиным, как тобой. Этих куплетов целые сотни; они импровизировались у Плетнева по субботам Баратынским, Дельвигом, Эртелем и Львом Пушкиным, именно тогда, когда Алекс⟨андра⟩ не было в Питере» (Пушкин и его современники. Спб., 1915. Вып. 21/22. С. 42). Свидетельство С. А. Соболевского подтверждается и воспоминаниями А. И. Дельвига, который писал, что Л. С. Пушкин «любил много есть и пить вина, вследствие чего Дельвиг одно из своих стихотворений, написанных им вместе с Баратынским, начал следующею строфою:

Наш приятель, Пушкин Лёв *и т. д.*

За этою строфою следовала строфа о поэте Федоре Николаевиче Глинке, известном тогда перелагателе в стихи псалмов царя Давида:

Федор Глинка молодец *и т. д.*»

(Дельвиг А. И. Полвека русской жизни. М.; Л., 1930. Т. 1. С. 73). Первая строфа ст-ния перекликается с эпиграммой К. Н. Батюшкова:

Памфил забавен за столом,
Хоть часто и назло рассудку;
Веселостью обязан он желудку,
А памяти — умом.

О Л. С. *Пушкине* см. примеч. 96. Федор Николаевич *Глинка* (1786—1880) — поэт, писатель, председатель «Вольного общества любителей российской словесности», один из руководителей умеренного крыла Союза Благоденствия, после восстания декабристов высланный в Петрозаводск.

243. «Литературные прибавления к „Русскому инвалиду“». 1831, 21 января, подпись: Сталинский, с ценз. искажением ст. 6 («И услышал бог богов»), исправляемого по сб. «Русская потаенная литература XIX столетия». Отдел первый. Стихотворения. Ч. 1, Лондон, 1861. Долгое время приписывалось Пушкину. Упоминается им в письме к С. А. Соболевскому от 3 ноября 1826 г. В рукописном сборнике М. Н. Лонгинова — С. Д. Полторацкого (ГБЛ) имеет примеч. С. А. Соболевского: «Эти стихи написаны Е. А. Баратынским и мною в 1825 году до приезда Пушкина из деревни». Сергей Александрович Соболевский (1803—1870) — поэт-любитель, «неизвестный сочинитель всем известных эпиграмм» (Е. П. Ростопчина), библиограф и библиофил. На авторство Баратынского указал также П. А. Вяземский (см. его примеч. к письму К. Н. Батюшкова к П. А. Вяземскому от 17 мая 1814 г.//РА. 1866, № 6. Стб. 862). *Петух индейский.* Имеется в виду Матвей Михайлович Сонцов (Солнцев) (1779—1847), богатый помещик, который был женат на тетке Пушкина Елизавете Львовне (1776—1848). *При дворе взял чин лакейский.* 20 марта 1825 г.

Сонцов получил придворное звание камергера. *Саваоф* (библейск.) — одно из имен бога. *Цаплей пара* — дочери Сонцовых: Екатерина (ум. 1864) и Ольга (ум. 1880).

244. Стихотворения А. С. Пушкина, не вошедшие в последнее собрание сочинений его. Берлин, 1861. Датируется по записи в «Журнале» И. М. Снегирева (1793—1868), профессора Московского университета, об обеде у М. П. Погодина 15 мая 1827 г.: «За столом Пушкин с Баратынским написали на Шаликова след⟨ущее⟩, по случаю рассказанного анекдота:

Князь Шаликов, газетчик наш печальный *и т. д.*»

(Пушкин и его современники. Спб., 1913. Вып. 16. С. 50). О *Шаликове* см. примеч. 5.

245. МТ. 1827, № 9, без подписи, с заменой «Зоилов» вм. «Фиглярин». Эпиграмма написана Пушкиным в соавторстве с Баратынским. Датируется 16 мая 1827 г. Об этом подробно см.: Цявловская Т. Г. Новонайденный автограф Пушкина (Эпиграмма на Булгарина)//«Русская литература». 1961, № 1. С. 120—133. В эпиграмме высмеивается виньетка, помещенная в первом томе «Сочинений» Фаддея Булгарина (Спб., 1827), которая является иллюстрацией к следующим строкам предисловия, имеющего загл. «Истина и сочинитель»: «Вдруг кабинет сочинителя озарился приятным светом, наподобие утренней зари; он в изумлении оглянулся и видит — женщину, прекрасную, как идеал Поэзии... „Ты назвал себя моим служителем,— сказала она,— и я пришла навестить тебя“. Сочинитель: „Неужели ты... Истина?“ Истина: „Точно так“» (Булгарин Ф. В. Соч. Спб., 1827. Т. 1. С. III). В рецензии на Изд. 1827 Булгарин, отвечая на эпиграмму, автором которой он считал одного Баратынского, писал: «Честь вам и слава, г. поэт! Вы победили меня звуками своей лиры! Вы сделали пародию в стихах из предисловия к моим сочинениям: Истина и Автор. Теперь вы удостоверитесь, что я точно так поступаю, как сказал: могу как человек ошибаться, но никогда с умыслом не отступаю от истины и не следую внушению страстей — в общем деле...» («Северная пчела». 1827, 3 декабря). О Булгарине см. примеч. 35 и 129.

246. Волконская З. А. Собр. соч. Париж; Карлсруэ, 1865. О Волконской см. примеч. 128. О *Вяземском* см. примеч. 165. *Шевырев* Степан Петрович (1804—1864) — поэт, критик, эстетик, один из главных членов кружка любомудров. *Павлов* Николай Филиппович (1793—1864) — поэт, прозаик 1830-х гг., автор ст-ния «На отъезд в Италию З. А. Волконской» (1829). *Киреевский* Иван Васильевич (1806—1856) — критик и публицист, издатель журнала «Европеец»; философ, один из вождей и теоретиков славянофильства; в конце 1820— начале 1830-х гг. входил в состав ближайшего окружения Баратынского.

II. СТИХОТВОРЕНИЯ, ПРИПИСЫВАЕМЫЕ БАРАТЫНСКОМУ

247. Изд. 1869, с замечанием: «В Петербурге Евгений Абрамович познакомился с некоторыми из декабристов, с Кюхельбекером ближе, чем с прочими; но ни он, ни Дельвиг не были посвящены в тайны существовавшего уже тогда политического общества, хотя Баратынский, в молодых годах, не разделяя их цели, со всем увлечением своих лет

сочувствовал тому, что заключается великодушного в обширном, неопределенном и гибком значении слова «свобода». Вот несколько стихов, дошедших до нас по воспоминанию, на эту тему, внушенных ему на одном из ужинов этой молодежи» (Изд. 1869. С. 394).

248. ТС, в письме Баратынского к И. В. Киреевскому от 4 декабря 1833 г., в котором говорится: «Ты принадлежишь новому поколению, которое жаждет волнений, я — старому, которое молило бога от них избавить. Ты назовешь счастием пламенную деятельность; меня она пугает, и я охотнее вижу счастие в покое. Каждый из нас почерпнул сии мнения в своем веке. Но это — не только мнения, это чувства. Органы наши образовались соответственно понятиям, которыми питался наш ум. Ежели бы теоретически каждый из нас принял систему другого, мы все бы не переменились существенно. Потребности наших душ остались бы те же. Под уединением я не разумею одиночества; я воображаю ⟨следует текст ст-ния⟩. Таковой я себе устрою рано или поздно и надеюсь, что ты меня в нем посетишь» (ТС. С. 52—53). Стихотворные тексты в письмах Баратынского не часты. Иногда в них встречаются цитаты из других авторов. Поэтому, хотя ст-ние «Приют, от светских посещений...» не удалось обнаружить ни у кого из современников Баратынского, полной уверенности в том, что оно принадлежит поэту, тоже нет.

III. СТИХОТВОРЕНИЕ, НАПИСАННОЕ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

249. Изд. 1869. Существует предположение, что первоначально ст-ние, обращенное к А. К. *Шернваль* (см. № 70 и примеч. к нему), было написано на французском языке и переложено на русский позднее.

IV. АВТОПЕРЕВОДЫ СТИХОТВОРЕНИЙ НА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

Автопереводы были сделаны Баратынским в Париже в конце 1843 г. по просьбе французского писателя Адольфа де Сиркура и его жены Марии-Анастасии. Сам Баратынский «несмотря на усиленные просьбы писателей, весьма заинтересовавшихся русским поэтом, решительно воспротивился их напечатанию» (Изд. АН (1). С. LXXXVI). Подробнее см.: Фризман Л. Прозаические автопереводы Баратынского//Мастерство перевода. Сб. шестой. 1969. М., 1970. С. 201—216. Переводы ст-ний под №№ 58, 89, 117, 134, 142, 148, 162, 166, 178, 182, 183, 185, 186 и 188 были впервые опубликованы в Изд. 1869, переводы ст-ний 140, 143, 155, 158, 227, 233 — в Изд. АН (1). Печ. по Изд. АН (1).

V. ПРЕДИСЛОВИЯ К ПОЭМАМ

⟨Предисловие к изданию поэмы «Эда»⟩. См. примеч. 235. *Война в Финляндии.* Имеется в виду русско-шведская война 1808—1809 гг. *Страна сия была воспета Батюшковым.* Баратынский прежде всего, несомненно, напоминает об известном ст-нии Константина Николаевича Батюшкова (1787—1855), участника русско-шведской войны, «На развалинах замка в Швеции» (1814). *Або* — город в Финляндии.

⟨**Предисловие к изданию поэмы «Наложница»**⟩. См. примеч. 239. *Феологи* — теологи. *Панар* Шарль-Франсуа (1674— 1765) — французский поэт. Цитируемые строки взяты из его комедии «L'Imprompttu de acteurs» («Импровизация актеров»). В письме к С. Т. Аксакову (март? 1831 г.) Баратынский говорил: «Я ссылаюсь на стихи Панара, которых не видно в рукописи. Вот они... ⟨приводятся первые шесть строк цитируемого отрывка⟩. Вероятно, вы в них не найдете ничего противного цензурному уставу» (автограф — ЦГАЛИ). *Гектор* (греч. миф.) — один из главных героев «Илиады» Гомера, сын троянского царя Приама, сраженный Ахиллом. *Квинт Курций* Руф (I в. н. э.) — римский историк, автор «Истории Александра Великого Македонского». *Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына!* Ст. 1 «Илиады», цитируемый в переводе Н. И. Гнедича. *«Иван Выжигин»* — см. примеч. 129. *Киприду иногда являл без покрывала* — цитата из пушкинского «Послания к цензору» (1822), в то время известного лишь по спискам и опубликованного впервые в 1837 г. *Подражатель Анакреона* — Г. Р. Державин, перу которого принадлежат, в частности, сборник «Анакреонтические песни» (1804), а также «Ода к Фелице» (1782) и ода «Бог» (1784). *Автор стихотворения «Счет поцелуев»* — И. И. Дмитриев (см. о нем примеч. 124), который написал в 1794 г. ст-ние «Ермак», ставшее сразу популярным, а также сделал стихотворные переложения нескольких псалмов («Преложение 49-го псалма», 1797; «Подражание 136-му псалму», 1822 и др.), приписываемых легендарному царю Израиля *Давиду* (ок. 1010— 975 до н. э.). *«Душенька»* — поэма И. Ф. Богдановича (см. о нем примеч. 72). *Проперций* Секст (ок. 50 — ок. 15 до н. э.) — римский поэт-лирик. *Шолье* Гильом (1639—1720) — французский поэт, писавший в основном в жанре так наз. «легкой», анакреонтической поэзии.

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. *Фронтиспис.* Е. А. Баратынский. Литография А. Мюнстера с рис. А. А. Лебедева. 1860.

Между с. 96 и 97.

2. Портрет поэта в детском возрасте работы К. И. Барду. Масло. Ок. 1810 г. Фотография ПД с оригинала, находящегося в частном собрании в Сан-Франциско.
3. Рис. Ж. Вивьена. 1826 (?). Всесоюзный музей А. С. Пушкина.
4. Литография Ф. Шевалье с рис. неизв. художника. 1840-е гг.
5. А. А. Дельвиг. Литография с рис. В. П. Лангера. 1829. Н. И. Гнедич (внизу). Гравюра Мошарского с рис. Калашникова. 1820-е гг.
6. Литография А. Т. с рис. неизв. художника. 1828.
7. А. Л. Баратынская, жена поэта. Фотография с утраченного акварельного портрета неизв. художника. Музей Института русской литературы АН СССР.
8. Гравюра Е. Скотникова с рис. Ф. Берже. 1832.
9. Дом в имении Баратынских Маре Тамбовской губ. Картон, масло. Неизв. художник. Вторая половина XIX в.
   Северный фасад дома Баратынского в Мурановс Московской губ. С фотографии 1880-х гг. Обе фотографии — в Музее Института русской литературы АН СССР.
10. *С. 109.* Автограф второй редакции ст-ния «Притворной нежности не требуй от меня...». ПД.
11. *С. 131.* Рисунок А. С. Пушкина. Профиль Баратынского. 1824. ПД. Рисунок сделан на листе с черновиком письма Пушкина к А. А. Бестужеву от 12 января 1824 г. Слова, вошедшие в кадр иллюстрации: «не имело бы», «важность», «имеет как», «и любой бы», «сержусь за оп⟨ечатки⟩», «в старину». Они относятся к неудовольствию Пушкина по поводу дефектной публикации в «Полярной звезде» его элегии «Простишь ли мне ревнивые мечты...» (1823).
12. *С. 145.* Автограф ст-ния «Старательно мы наблюдаем свет...». ПД.
13. *С. 173.* Титульный лист книги «Стихотворения Евгения Баратынского». М., 1827.
14. *С. 229.* Автограф начала поэмы «Эда». ПД.
15. *С. 253.* Обложка книги «Две повести в стихах» (в книге напечатаны поэмы «Граф Нулин» Пушкина и «Бал» Баратынского).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ [1]

[1] В алфавитный указатель включены также другие заглавия стихотворений, под которыми они публиковались в различных изданиях Баратынского.

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ПЕЧАТАВШИЕСЯ ПРИ ЖИЗНИ БАРАТЫНСКОГО

ПОЭМЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

I. СТИХОТВОРЕНИЯ, НАПИСАННЫЕ В СОАВТОРСТВЕ С ДРУГИМИ ПОЭТАМИ

II. СТИХОТВОРЕНИЯ, ПРИПИСЫВАЕМЫЕ БАРАТЫНСКОМУ

III. СТИХОТВОРЕНИЕ, НАПИСАННОЕ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

IV. АВТОПЕРЕВОДЫ СТИХОТВОРЕНИЙ НА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

V. ПРЕДИСЛОВИЯ К ПОЭМАМ

Баратынский Е. А.

Б 24 Полное собрание стихотворений / Вступ. ст. И. М. Тойбина; Сост., подгот. текста и примеч. В. М. Сергеева.— Л.: Сов. писатель, 1989.— 464 с., 9 илл. (Б-ка поэта. Большая серия).
ISBN 5—265—00973—6

Стихотворное наследие выдающегося поэта пушкинской эпохи Е. А. Баратынского (1800—1844) представлено в наст. изд. с исчерпывающей полнотой. В книге четыре раздела: 1) Стихотворения; 2) Поэмы; 3) Приложения; 4) Другие редакции и варианты. Материал во всех разделах расположен в хронологической последовательности.

Б $\frac{4702010102-016}{083(02)-89}$ 426—89 **ББК 84. Р.1**

Евгений Абрамович Баратынский

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ

ЛО изд-ва «Советский писатель», 1989 г. 464 стр.
План выпуска 1989 г. № 426

Художник *В. В. Еремин*
Худож. редактор *Б. А. Комаров*
Техн. редактор *Е. Ф. Шараева*
Корректоры *Ф. С. Флейтман* и *Е. Д. Шнитникова*

ИБ № 7262

Сдано в набор 6.06.88. Подписано к печати 28.03.89. Формат 84 × 108[1]/32. Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 24,88. Уч.-изд. л. 25,85. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1610. Цена 2 р. 30 к.

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. 191104, Ленинград, Литейный пр., 36.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

